

Судебный деятель Георгий Николаевич Мотовилов



Памяти первого председателя Петербургского окружного суда Г.Н. Мотовилова

28 октября русское судебное ведомство, недавно лишившееся одного из своих достойнейших деятелей в лице сенатора В.Н. Карамзина, вновь понесло тяжкую и неожиданную утрату. В этот день, в Подольской губернии [[Малороссии](#)], скончался на 46-м году от рождения, сенатор Георгий Николаевич Мотовилов, от сложного страдания сердца и легких. Он умер во цвете лет и сил, когда его многолетняя опытность, его знания и испытанная, неизменная любовь к новым судебным учреждениям делали из него особенно дорогого для них друга, потеря которого болезненно отзывалась в сердце всех, кому близки лучшие надежды и лучшие воспоминания нового судебного дела.

Происходя из старинной дворянской фамилии, владевшей небольшим имением в Симбирской губернии, Мотовилов воспитывался сначала дома, а потом поступил в училище Правоведения. По окончании, в 1853 году, курса он вступил на службу в 4-й департамент сената – и в этой практической школе многих наших цивилистов пробыл, в разных должностях, до 1858 года, когда был назначен чиновником особых поручений при товарище министра. Чрез год, в 1859 г., он сделался товарищем председателя 1-го департамента С.-Петербургской гражданской палаты, в 1862 году временно исправлял должность товарища председателя коммерческого суда, а в 1863 году по выборам дворянства утвержден председателем гражданской палаты. В 1866 году, 17 апреля, были открыты новые судебные учреждения в Петербурге, и председателем окружного суда был назначен Мотовилов. Выбор это был весьма удачен.

Во главе *первого* окружного суда в России ставился человек полный сил и энергии, опытный юрист и, главное, один из участников в составлении судебных уставов, к работам, по которым он нередко призывался в предшествующие годы. Работа, которая предстояла, была трудна и по своей сложности, и по своей новизне. Устройство обширного окружного суда, предназначенного к отправлению правосудия на новых, необычных началах, требовало многих усилий и труда упорного. Нужно было установить главные начала внутренней администрации суда, устроить и регламентировать обширную кассовую часть, составить знающий и способный применять правильно новые порядки служебный персонал и, наконец, дать толчок делам, в рассмотрение которых вносилось множество новых приемов. Все это, главным образом, лежало на обязанности председателя. Мотовилов вышел из этого трудного положения с честью, заложив нравственный и материальный фундамент того здания, которое было потом достроено его ближайшим преемником.

Ему приходилось работать и подавать практические примеры не только в знакомой и близкой ему сфере гражданского суда, но и в сфере совершенно новой для него деятельности по делам уголовным, приходилось учиться самому. Когда открылись первые заседания с присяжными, на них с особою яркостью отразилась новизна дела, своеобразность приемов обвинительно-состязательного процесса, отсутствие практически подготовленных деятелей. Заседания эти были неудачны, тянулись долго и вяло и велись без твердо установленного плана. Это производило неблагоприятное впечатление. Тогда Мотовилов, цивилист по специальности, принял ведение этих дел на себя. Целый месяц председательствовал он с присяжными, в глубоком сознании того, что от первых шагов суда присяжных зависит многое в прочности этого учреждения, и выказал столько умения, понимания существа новых порядков и знания, что поставил дело сразу на правильный путь.

Мотовилов оставался председателем суда около двух лет. В марте 1868 года он был назначен прокурором судебной палаты в Москву. По складу ума и характера, его более привлекала спокойная деятельность гражданского судьи, а привычка жить в Петербурге привязывала его к этому городу, но, несмотря на это, он с особою энергиею принялся за новую деятельность, сознавая как нужны были в это время созидания судебных порядков, во всех отраслях судебной деятельности, стойкие и упорные работники, добрые сердцем и сильные трудом служилые люди.

В июле 1870 г. Мотовилов был переведен прокурором судебной палаты в Петербург, а в ноябре назначен председателем департамента судебной палаты, где он мог снова вернуться к занятиям гражданскими делами, в которые он всегда вносил непререкаемый авторитет глубокого знания. В марте 1872 года, он был назначен сенатором гражданского департамента, а с 1878 г. членом соединенного присутствия 1-го и кассационных департаментов сената. Высокому назначению этого учреждения быть высшею инстанцією, для надзора за правильностью действий судебных учреждений, вполне соответствовало присутствие в нем Г.Н. Мотовилова. Ему на практике, по личному опыту и личному труду, было известно положение наших судов, прокуратуры и следственного института, и, оценивая их деятельность, он мог являться и являлся не применителем закона с формальной его стороны, а лицом, знакомым с живыми условиями деятельности этих учреждений на практике. Горячий сторонник новых судебных учреждений, он ревниво оберегал их прочность и достоинство и от мер, которые могли бы поколебать эту прочность, и от людей, которые своими неправильными служебными действиями могли уронить это достоинство. Приняв участие в зарождении новых учреждений, отдав на служение им много лет своей жизни, он, в последние свои годы, был призван охранять эти, дорогие ему, учреждения от порчи и ошибок и вносил в эту деятельность ту душевную теплоту и ту стойкость взглядов, которые животворят и укрепляют всякое дело.

Смерть похитила его слишком рано, весть о его кончине была встречена общим, неподдельным сожалением. Все, кто знал о его деятельности, почувствовали, что одним благородным деятелем стало меньше, все, кто знал его лично, почувствовали, сверх того, что стало меньше одним истинно добрым, безупречным человеком.

Выражения общего и личного соболезнования сопровождали это известие. 5 ноября в сенате была отслужена по покойном панихида, собравшая множество сослуживцев и друзей умершего; 6 ноября такая же панихида отслужена была в церкви училища правоведения, 7 ноября и окружной суд помянул своего первого председателя, в память деятельности которого еще в 1868 г. судом была учреждена, в С.-Петербургском университете, стипендия Георгия Николаевича Мотовилова. В этой самой зале 2-го отделения суда, где 13 лет назад Мотовилов, в числе прочих, слушал молебен об успехе и процветании нового суда, которому он был призван первым послужить, собрался весь состав окружного суда и судебной палаты, присяжные поверенные и старые сослуживцы Г.Н. Мотовилова из других судебных мест помолиться о том, кто всегда был дорог и близок этому суду. На панихиде присутствовала вдова покойного с сыном. Прибыли также бывший министр юстиции Д.Н. Замятнин, который открывал в 1866 году Петербургский суд, управляющий министерством юстиции сенатор Э.В. Фриш и первый старший председатель Петербургской судебной палаты сенатор Гольтгоер, деливший с Мотовиловым труды по введению и первоначальной организации в Петербурге общих судебных учреждений.

После панихиды, в окружном суде, состоялось общее собрание отделений суда. Оно было открыто речью [нынешнего] председателя [С.-Петербургского окружного суда], А.Ф. Кони, который, обращаясь к воспоминанию о первом председателе здешнего суда, между прочим, сделал несколько указаний для характеристики покойного.

Потеря Мотовилова, – сказал он, – есть наша личная потеря. Он принадлежал, до последних дней жизни, нашему суду не менее чем месту своей окончательной деятельности. Есть люди, для которых учреждение, с коим связана их деятельность, есть не более как станция на пути дальнейшего служебного движения. Оставлено учреждение – покинута эта станция, и его нередко забывают или относятся к нему равнодушно, как к чему-то далекому и чуждому... Но есть и другие люди, для которых учреждение, которому отданы лучшие силы и лучшие годы – является дорогим и незабвенным, является местом родным, с которым невольно делятся его радости и его тревоги, – которое не выходит из памяти, потому что не выходит из раз предавшегося ему сердца. Образуется взаимная связь, – прочная и сознательная, не разрушаемая, а укрепляемая временем. Такую связь, такое участие мы встречаем обыкновенно у профессоров и большинства слушателей, по отношению к месту их высшего образования, к их alma mater. То же должно существовать и между судьей и судом, которому он служил сознательно и честно.

Покойный Мотовилов принадлежал к людям последнего рода. Вот почему, в наше холодное и равнодушное время, нам тяжела и скорбна его утрата. Он никогда не разрывал и не ослаблял своей связи с судом, в который вступил в трудные и серьезные времена. Ему приходилось иметь дело с «мехами новыми и вином новым», – приходилось не только созидать, но и создавать, вырабатывать материал. Он, в деле устройства первого окружного суда в России, был не только строителем, но и чернорабочим.

Эту трудную работу приходилось совершать еще в обстановке недоверия со стороны отживавших форм общественной и судебной жизни. Внешние затруднения возникали постоянно, на каждом шагу. Нужно было много такта, самообладания, веры в свое дело и любви к своему призванию, чтобы не устрашиться осложнений и без того нелегкой задачи, чтобы не поколебаться духом и не поступиться чем-нибудь существенным, при первом приложении к жизни основ новой судебной деятельности.

Это было трудное время. Но это было, вместе с тем, и хорошее время. Хорошее – внутри суда. Многим памятна та вера в будущее судебных учреждений, то сознание высокой общественной задачи нового суда, та любовь к делу и та строгость к самим себе, которыми отличались первые деятели новых учреждений. И этот внутренний склад установился в нашем суде, на первых порах, в значительной степени под влиянием Мотовилова, который поддерживал и развивал его своим словом и своим делом, своим примером и своим горячим участием в новой деятельности.

Очертив затем, в ряде примеров, деятельность Мотовилова по суду и его дальнейшую службу, А.Ф. Кони указал на то, что при всех своих служебных передвижениях он никогда не забывал, что был первым председателем Петербургского окружного суда, никогда не становился далеким суду, – всегда интересовался его внутренней деятельностью и личным составом. Радости и тревоги, труды и желания суда, были всегда близки его сердцу.

Говорить ли об уме, знаниях, трудолюбии Мотовилова? – сказал затем председатель, – Всякий, кто знал его хотя немного, имел случай оценить эти его свойства. Это был человек редкого прямодушия, имевший полное право избрать девизом слова знаменитого германского поэта: «Wahrheit gegen Feind und Freund!» Говорить ли о его добром, сознательно добром сердце? Его подчас суровый вид не обманывал никого из имевших с ним дело. Из-за него сквозили – глубокая любовь к делу и нежное участие к его работникам. И сколько лиц, к которым иногда Георгий Николаевич относился с строгой требовательностью – бывали впоследствии тронуты, вспоминая его участие к их горю, к их житейским скорбям... вспоминая широкую помощь, которую оказывал им в тяжелые минуты этот серьезный человек!*

Нам пели о «вечной памяти» Мотовилу. Память о нем не должна умереть – покуда будет существовать наш суд – и историк нового судебного дела в России, обратясь к истории первого русского окружного суда, неизбежно встретится с привлекательным и чистым нравственным образом его первого председателя. Мы могли бы лишь помочь этому историку, сохранив черты и физического образа Мотовилова.

Окружной суд, выслушав председателя, ввиду деятельности и высоких нравственных качеств усопшего и в воспоминание о нем, постановил: поместить в комнате заседаний общего собрания портрет Георгия Николаевича Мотовилова и выразить семейству его живое и глубокое соболезнование окружного суда, по поводу постигшей их общей утраты. Мы слышали, что одновременно с этим и правительствующий сенат, со своей стороны, почтил память покойного особым журналом и выражением соболезнования его семейству.

***Журнал гражданского и уголовного права
(издание С.-Петербургского юридического общества)
1879, книга шестая (ноябрь-декабрь)***

Георгий Николаевич Мотовилов

Речь А.Ф. Кони в общем собрании С.-Петербургского Окружного Суда 5 ноября 1880 года

Милостивые государи! 28 октября русское судебное ведомство, недавно лишившееся одного из своих достойнейших деятелей в лице сенатора В.Н. Карамзина, вновь понесло тяжкую и неожиданную утрату. В этот день, в Подольской губернии, скончался на 46-м году от рождения, сенатор Георгий Николаевич Мотовилов, от сложного страдания сердца и легких.**

* Из «Оды к радости» Фридриха Шиллера, дословно: «Правда перед врагом и другом».

** Г.Н. Мотовилов родился 29 августа 1832 г. Некролог был опубликован в «Журнале Гражданского и Уголовного Права», книга шестая (ноябрь-декабрь) за 1879 год (приведен выше)! В общем, тут у А.Ф. Кони явная путаница – и в годе произнесения своей яркой речи, и в возрасте усопшего... – *Примеч. М.И. Классона*

Он умер во цвете лет и сил, когда его многолетняя опытность, его знания и испытанная, неизменная любовь к новым судебным учреждениям делали из него особенно дорогого для них друга, потеря которого болезненно отозвалась в сердце всех, кому близки лучшие надежды и лучшие воспоминания нового судебного дела.

Происходя из старинной дворянской фамилии, владевшей небольшим имением в Симбирской губернии, Мотовилов воспитывался сначала дома, а потом поступил в Училище правоведения. По окончании, в 1853 году, курса он вступил на службу в 4-й Департамент Сената – и в этой практической школе многих наших цивилистов пробыл, в разных должностях, до 1858 года, когда был назначен чиновником особых поручений при товарище министра. Чрез год, в 1859 г., он сделался товарищем председателя 1-го Департамента С.-Петербургской Гражданской Палаты, в 1862 году временно исправлял должность товарища председателя Коммерческого Суда, а в 1863 году по выборам дворянства утвержден председателем Гражданской Палаты.

В 1866 году, 17 апреля, были открыты новые судебные учреждения в Петербурге, и председателем Окружного Суда был назначен Мотовилов. Выбор это был весьма удачен. Во главе *первого* Окружного Суда в России ставился человек полный сил и энергии, опытный юрист и, главное, один из участников в составлении судебных уставов – к трудам, по которым он нередко призывался в предшествующие годы.

Работа, которая предстояла, была трудна и по своей сложности, и по своей новизне. Устройство обширного Окружного Суда, предназначенного к отправлению правосудия на новых, необычных началах, требовало многих усилий и труда упорного. Нужно было установить главные начала внутренней администрации суда, устроить и регламентировать обширную кассовую часть, составить знающий и способный применять правильно новые порядки служебный персонал и, наконец, дать толчок делам, в рассмотрение которых вносилось множество новых приемов. Все это, главным образом, лежало на обязанности председателя. Мотовилов вышел из этого трудного положения с честью, заложив нравственный и материальный фундамент того здания, которое было потом достроено его ближайшим преемником.

Ему приходилось работать и подавать практические примеры не только в знакомой и близкой ему сфере гражданского суда, но и в сфере совершенно новой для него деятельности по делам уголовным, приходилось учиться самому. Когда открылись первые заседания с присяжными, на них с особою яркостью отразились – новизна дела, своеобразность приемов обвинительно-состязательного процесса и отсутствие практически подготовленных деятелей. Заседания эти были неудачны, тянулись долго и вяло и велись без твердо установленного плана. Это производило неблагоприятное впечатление. Тогда Мотовилов, цивилист по специальности, принял ведение этих дел на себя. Целый месяц председательствовал он с присяжными, в глубоком сознании того, что от первых шагов суда присяжных зависит многое в прочности этого учреждения, и выказал столько умения, понимания существа новых порядков и знания, что поставил дело сразу на правильный путь.

Мотовилов оставался председателем суда около двух лет. В марте 1868 г. он был назначен прокурором Судебной Палаты в Москву. По складу ума и характера, его более привлекала спокойная деятельность гражданского судьи, а привычка жить в Петербурге привязывала его к этому городу, но, несмотря на это, он с особою энергиею принялся за новую деятельность, сознавая как нужны были в это время созидания судебных порядков, во всех отраслях судебной деятельности стойкие и упорные работники, добрые сердцем и сильные трудом служилые люди.

В июле 1870 г. Мотовилов был переведен прокурором Судебной Палаты в Петербург, а в ноябре назначен председателем Департамента Судебной Палаты, где он мог снова вернуться к занятиям гражданскими делами, в которые он всегда вносил непререкаемый авторитет глубокого знания. В марте 1872 года, он был назначен сенатором гражданского департамента, а с 1878 г. членом соединенного присутствия 1-го и Кассационных Департаментов Сената.

Высокому назначению этого учреждения быть высшею инстанциею для надзора за правильностью действий судебных учреждений вполне соответствовало присутствие в нем Г.Н. Мотовилова. Ему на практике, по личному опыту и личному труду, было известно положение наших судов, прокуратуры и следственного института, и, оценивая их деятельность, он мог являться и являлся не применителем закона с формальной его стороны, а лицом, знакомым с живыми условиями деятельности этих учреждений на практике. Горячий сторонник новых судебных учреждений, он ревниво оберегал их прочность и достоинство и от мер, которые могли бы поколебать эту прочность, и от людей, которые своими неправильными служебными действиями могли уронить это достоинство.

Приняв участие в зарождении новых учреждений, отдав на служение им много лет своей жизни, он, в последние свои годы, был призван охранять эти, дорогие ему, учреждения от порчи и ошибок и вносил в эту деятельность ту душевную теплоту и ту стойкость взглядов, которые животворят и укрепляют всякое дело.

Смерть похитила его слишком рано! Весть о его кончине была встречена общим, неподдельным сожалением. Все, кто знал о его деятельности, почувствовали, что одним благородным деятелем стало меньше, — все, кто знал его лично, почувствовали, сверх того, что стало меньше одним истинно добрым, безупречным человеком. Потеря Мотовилова — есть наша личная потеря. Он принадлежал, до последних дней жизни, нашему суду не менее чем месту своей окончательной деятельности.

Есть люди, для которых учреждение, с коим связана их деятельность, есть не более как станция на пути дальнейшего служебного движения*. Оставлено учреждение — покинута эта станция — и его нередко забывают или относятся к нему равнодушно, как к чему-то далекому и чужому... Но не все таковы. Есть и такие, для которых учреждение, которому отданы лучшие силы и лучшие годы, является дорогим и незабвенным, является местом родным, с которым невольно делятся его радости и его тревоги, — которое не выходит из памяти, потому что не выходит из раз принадлежавшего ему сердца. Образуется взаимная связь, — прочная и сознательная, не разрушаемая, а укрепляемая временем. Такую связь, такое участие мы встречаем обыкновенно у профессоров и большинства слушателей, по отношению к месту их высшего образования, к их *alma mater*. То же должно существовать и между судьей и судом, которому он служил сознательно и честно.

Покойный Мотовилов принадлежал к людям последнего рода. Вот почему, в наше холодное и равнодушное время, нам тяжела и скорбна его утрата. Он никогда не разрывал и не ослаблял своей связи с судом, в который вступил в трудные и серьезные времена.

Ему приходилось иметь дело с «мехами новыми и вином новым», — приходилось не только созидать, но и создавать, вырабатывать материал. Он, в деле устройства первого Окружного Суда в России, был не только строителем, но и чернорабочим. Эту трудную работу приходилось совершать еще в обстановке недоброжелательства со стороны отживавших форм общественной и судебной жизни. Внешние затруднения возникали постоянно, на каждом шагу.

* В советское время таких персонажей стали называть карьеристами.

Нужно было много такта, самообладания, веры в свое дело и любви к своему призванию, чтобы не утратиться осложнений и без того нелегкой задачи, чтобы не поколебаться духом и не поступиться чем-нибудь существенным, при первом приложении к жизни основ новой судебной деятельности. Это было трудное время. Но это было, вместе с тем, и хорошее время. Хорошее – внутри суда. Многим памятна та вера в будущее судебных учреждений, то сознание высокой общественной задачи нового суда, та любовь к делу и та строгость к самим себе, которыми отличались первые деятели новых учреждений.

И этот внутренний склад установился в нашем суде, на первых порах, в значительной степени под влиянием Мотовилова, который поддерживал и развивал его своим словом и своим делом, своим примером и своим горячим участием в новой деятельности.

Говорить ли об уме, знаниях, трудолюбии Мотовилова? Всякий, кто знал его хотя немного, имел случай оценить эти его свойства. Это был человек редкого прямодушия, имевший полное право избрать девизом слова знаменитого германского поэта: «Wahrheit gegen Feind und Freund!» Говорить ли о его добром, сознательно добром сердце? Его подчас суровый вид не обманывал никого из имевших с ним дело.

И сколько людей, к которым иногда Георгий Николаевич относился со строгою требовательностью – бывало впоследствии тронут, вспоминая его участие к их горю, к их житейским скорбям... вспоминая широкую помощь, которую оказывал им в тяжелые минуты этот суровый по внешности человек!

Память о нем не должна умереть – покада будет существовать наш суд. Летописец нового судебного дела в России, обратясь к истории первого русского Окружного Суда, неизбежно встретится с привлекательным и чистым нравственным образом его первого председателя. Мы могли бы лишь помочь этому летописцу, сохранив черты и физического облика Мотовилова, поместив в комнате заседаний общего собрания его портрет...

А.Ф. Кони^{*}. За последние годы. Судебные речи (1888-1896); воспоминания и сообщения; юридические заметки. С.-Петербург, 1896

Речь А.Ф. Кони 26 января 1892 года в СПб. юридическом обществе^{**}

В годовом собрании Петербургского юридического общества А.Ф. Кони произнес обычную речь – обычную в порядке годовых собраний общества, но не обычную по содержанию и по массе собравшейся публики. Оратор начал с исторического очерка судебных зданий в Париже (Palais de justice) – с этих «каменных страниц истории» – и перешел затем к нашему отечеству. Но не история судебных зданий явилась для него здесь центром речи: он говорил о том незабвенном для всякого русского юриста времени, о том великом моменте нашей жизни, когда введены были новые судебные учреждения, когда осуществлялись лучшие мечты лучших людей своего времени. Тогда устроены были в столицах новые здания судебных мест, и в эти *новые меха* влило было *новое вино*.

<...> От допетровских приказов не осталось и следа; ничего достопамятного не представляют и здания присутственных мест старого устройства.

^{*} Анатолий Федорович Кони (1844-1927), в 1877 г. служил вице-директором Министерства юстиции, а перед этим 5 лет – прокурором петербургского Окружного суда. В январе 1878 г. вступил в должность председателя этого суда и в таковой должности участвовал в судебном процессе (с участием присяжных заседателей) над В.И. Засулич, закончившемся оправдательным приговором. Потому А.Ф. Кони и не мог «разбирать справедливость нареканий», последовавших вслед за этим (см. ниже). Тем не менее, он в должности председателя петербургского Окружного суда прослужил 8 лет, а в 1885 г. был даже назначен обер-прокурором уголовного кассационного департамента Сената.

^{**} Полный текст речи напечатан в «Книжках Недели», 1892, №3 (Март). – Примеч. ред.

В Петербурге красивое, хотя и неудобное по внутреннему расположению здание присутственных мест на Адмиралтейской площади с половины [тысяча восемьсот] семидесятых годов отдано под помещение квартиры и управления градоначальника, а в Москве безобразное, тяжелой безвкусной архитектуры такое же здание у Воскресенских ворот, при котором одно время помещалась и долговая тюрьма, называвшаяся в просторечии «ямою», сломано и на его месте красуется оконченное вчерне, великолепное, выдержанное в старом русском стиле, здание [городской] думы. Притом в этих зданиях помещались не одни судебные места. Поэтому история судебных зданий начинается у нас собственно с введением судебной реформы в 1866 году. Многие из нас помнят, как эти здания получили настоящее свое назначение, как зародилась в них внутренняя судебная жизнь, молчаливыми свидетелями которой сделались эти старые стены.

Вопрос о помещении для новых судов (судебной палаты и окружного суда) в Москве разрешился без особых затруднений. Громадное, величественное сенатское здание, возвышающееся в Кремле и смотрящее чрез его зубчатые стены на Красную площадь, заключало в себе 6-й, 7-й и 8-й департаменты сената и давало приют нескольким учреждениям придворно-хозяйственного характера. Но старые судебные департаменты сената были обречены на постепенное и притом довольно скорое упразднение. Их права, в ряду высших государственных учреждений, должны были перейти к кассационным департаментам; их функции, как высшей апелляционной инстанции – к судебным палатам.

Прежнее право ревизии приговоров высших судебных мест умирало, и вместо него являлась неведомая дотоле, чуждая нашему законодательству кассация. Чем шире разливалась судебная реформа по Руси, тем слабее становилось биение самого сердца старого судебного строя – судебных департаментов сената, тем более суживался район, в котором чувствовалось это биение. Поэтому именно в этом здании, как законные и полные жизни наследники, и должны были поместиться новые суды, тем более что придворное ведомство охотно очищало занимаемое им в нем помещения. Московское сенатское здание было выстроено по чертежам архитектора Козакова, человека чрезвычайно талантливого. Оно было заложено 7-го июня 1776 года, именно с целью поместить в нем сенат, который ютился до тех пор в особом отделении Потешного дворца. Постройка обошлась в 760 тыс. руб. серебром, как видно из мраморных досок, поставленных по бокам входных ворот и изготовленных в 1790 году «человеком цесарской нации» Иоганом Лиме. К сожалению, подробных сведений о ходе работ по сооружению этого здания, соединяющего монументальное величие с изяществом, более не существует: документы, заключавшие их, сгорели во время нашествия Наполеона в 1812 году. Достоверно, однако, что для постройки сенатского здания были снесены многие строения, хранившие на себе следы седой старины.

Еще в начале XVIII века на том месте, над которым теперь гордо высится легкий и смелый купол знаменитой круглой залы, или ротонды, находились: конюшенный двор Чудова монастыря, церковь Козьмы и Дамиана, церковь св. Петра митрополита, сооруженная царем Алексеем Михайловичем, дома бояр князей Трубецких и Родиона Стрешнева и, наконец, подворье Симонова монастыря, на котором «ставили» приезжих лиц духовного звания, которым приходилось видеться с царем. <...>

Главным украшением сенатского здания служит, без сомнения, круглая зала, с двойным кольцом окон и величественным, гармонически сведенным, смелым куполом. Предание говорит, что купол этот, при его окончании, возбуждал тревожные сомнения в помощниках Козакова. Но уверенный в себе, преданный делу и знающий его, строитель приказал наложить на вершину купола (где затем была помещена бронзовая статуя Георгия Победоносца, а ныне стоит традиционное изображение закона) особую тяжесть и, став на нее, велел отнять леса, подпиравшие свод...

Внутренность залы, с ее рядом изящных колонн коринфского ордена, с горельефами, изображающими важнейшие события из царствования Екатерины II, с белыми лепными украшениями на светло-голубом фоне производит превосходное впечатление. Чем-то могучим и вместе [с тем] радостным веет от этих строгих линий и тонких закруглений, залитых светом... Круглой зале пришлось, однако, испытать в свое время тяжелую участь. И с нею произошло то же, что произошло с la Sainte Chapelle в Париже*, только в роли конвента и директории здесь выступил граф Аракчеев. По его докладу, красивейшая зала Москвы была отдана под помещение архива инспекторского департамента военного министерства. Архив этот «въехал» в залу в 1819 году и загромоздил ее шкафами и тюками старых дел.

Когда в 1865 году вспомнили о том, что большая зала могла бы иметь другое назначение, она оказалась в самом печальном виде. Сырость пестрила стены, покрытые пылью и плесенью, оконные рамы рассохлись, многие лепные украшения были повреждены, во всех углах валялась затканная паутиною масса всякой дряни и рвани, веревок, поломанной мебели и т.п. – и одни лишь горы слежавшихся и затхлых дел о прохождении неизвестными деятелями их неизвестной службы гордо возвышались среди коринфских колонн, заслоняя собою скульптурные изображения, напоминавшие «Екатерининскую славу»...

Для приведения залы в порядок и для придания ей соответствующего ее назначению вида, пришлось образовать особую комиссию. Когда было решено приспособить сенатское здание для новых судов, товарищ министра юстиции Н.И. Стояновский выехал, 17 февраля 1866 года в Москву, чтобы установить план работ – и ко времени открытия новых судов, в конце апреля, сенатское здание уже представляло ряд прекрасных, светлых и обширных помещений, в которых удобно разместились судебная палата и окружной суд с принадлежащими к ним учреждениями.

Реставрированная большая зала (или – как ее первое время называли – ротонда) не получила особого назначения: она представляет нечто в роде парижской Salle de ras perdus**, но в некоторых, исключительных случаях в ней устраиваются приспособления для открытия заседаний с присяжными по сложным и многолюдным, в смысле свидетелей и подсудимых, делам.

В первый раз она была обращена в залу судебных заседаний в 1868 году, когда в ней разбиралось с 17 по 28 марта обширное дело крестьянина Матова и 28-ми его сообщников, обвинявшихся в устройстве, в Гуслицах, фабрики для подделки ассигнаций, по которому было назначено 19-ть защитников и вызвано очень много свидетелей.

Гораздо труднее было устроить помещение для судебных мест в Петербурге. Министр юстиции Д.Н. Замятнин, на долю которого выпала завидная, но вместе [с тем] и чрезвычайно трудная задача введения и открытия первых судов по уставам 20 февраля 1864 года, был в большом затруднении в этом отношении.

Надо было не только найти подходящее по объему, месту и расположению здание, – но необходимо было преодолеть различные финансовые затруднения. Из всеподданнейшего доклада его 7 апреля 1865 года видно, что при поисках здания для судебных мест одно предположение сменяло другое.

* Конвент назначил ее в продажу; директория устроила в ней мучной склад, а консульство перевело в нее старые судебные архивы. – Примеч. ред. журнала

La Sainte Chapelle – капелла, построенная по заказу Людовика IX для хранения реликвии, Тернового венца, которую он купил в Венеции, куда она была привезена из Константинополя.

** Писатель Генри Миллер нашел эту достопримечательность – «Зал исчезнувших шагов» (дословно – зал ожидания) на вокзале Сен-Лазар. Однако большинство путеводителей указывает на «Зал напрасных шагов» во Дворце правосудия (Palais de Justice), где участники судебных процессов часами прогуливались, ожидая вызова.

Думали воспользоваться зданием святейшего синода, приискав для него другое помещение и поместить новые суды в непосредственном соседстве с сенатом; предполагали занять часть адмиралтейства; было, наконец, предположение войти в соглашение с военным ведомством об уступке Михайловского инженерного замка. Но все эти планы оказывались неудобноисполнимыми по многим причинам.

Наконец, министерство юстиции остановилось на мысли устроить судебные места в здании присутственных мест на Адмиралтейской площади. При ближайшем изучении этого вопроса однако оказалось, что устройство – тесное и неудобное – в этом здании окружного суда в два (!?) отделения и одного департамента судебной палаты потребовало бы, при покупке или долгосрочном найме помещения для прокуратуры, для старых судов и нотариата, – безвозвратного расхода не менее 291 тыс. руб.

Это было бы убыточно, да и кроме того, по-видимому, самая мысль водворить новый суд в здании, с которым у населения соединялась мысль и представление о надворном суде и уголовной палате, – не особенно улыбалась Замятнину, который с горячею настойчивостью стремился ввести новый *во всех отношениях* суд.

Не находя подходящих помещений, он решился на героический, в своем роде, шаг. Он решился пожертвовать зданием министерства юстиции и генерал-прокурорским домом, в котором сам жил. Примерная смета переделок, однако, вскоре убедила его, что для приспособления этих зданий и на наем помещения для министерства юстиции потребуется громадный расход, на который, конечно, не согласится чуждый увлечениям и крепко сидевший на казенном сундуке М.Х. Рейтерн*.

Тогда явилась новая комбинация. Военное министерство уступало здание старого арсенала со всеми к нему пристройками за 375 тыс. руб., но соглашалось, вместе с тем, оставить эти пристройки за собою в сумме 160 тыс., если бы они не понадобились судебному ведомству. По смете архитектора Шмидта, перестройка арсенала под новые суды должна была обойтись в 200 тыс. руб., да от продажи дома присутственных [мест] можно было выручить 300 тыс. Таким образом, безвозвратный расход составлял всего 115 тыс. руб. серебром. Военный министр Д.А. Милютин, относившийся с большим сочувствием к реформе суда, согласился рассрочить платеж этой суммы на десять лет – и со стороны Рейтерна возражений не предвиделось. На этом Замятнин и остановился.

Старый арсенал, – довольно мрачное здание, с толстыми стенами, глубокими амбразурами окон и обширными неприютными, под сводами, комнатами и залами, от которых немного веяло холодом, – выстроен на месте, где при Петре Великом стояли пороховые мельницы, а затем был устроен пушечный двор. Постройки петровского времени к царствованию Екатерины II пришли в разрушение и были разобраны.

Образовавшийся пустырь императрица подарила в 1768 году Григорию Орлову, который выстроил к 1775 году на этом месте арсенал, пожертвованный им государству и получивший современное название Старого. Здание было освящено в 1776 году. Тогда же в главной его зале поставлена изваянная в Риме, по заказу князя Потемкина, мраморная статуя императрицы и вделана в стену на лестнице доска темного мрамора с надписью: «В пользу артиллерии арсенал сей соорудил собственным иждивением генерал-фельдцейхмейстер князь Орлов, лета 1776».

Старый арсенал был содержим в образцовом порядке, а военное ведомство очистило его очень быстро. Но все-таки перестройка потребовалась громадная и притом капитальная. Достаточно заметить, что арсенал не отапливался и не имел печей.

* Михаил Христофорович Рейтерн (1820-1890), министр финансов с 1862 г., главнейшей его заслугой на этом посту было предание гласности государственного бюджета и учреждение системы доходов и расходов с первого же года управления им министерством.



Вид Старого Арсенала на Литейном проспекте, литография С.Ф. Галактионова, 1822

Неустанная работа, однако, закипела, поощряемая министром и руководимая с большою энергиею и любовью к делу архитектором Шмидтом. В нем судебная реформа нашла своего человека. Изучив устройство судебных мест на Западе, он умело и скоро преобразил все внутреннее расположение арсенала, пристроив две залы для заседаний, сделав значительные сбережения против первоначальной сметы и потребовав за планы и за труды скромное вознаграждение в 1 900 руб. серебром.

К весне 1866 года, в конце Литейной улицы, среди группы зданий военного характера, с грозным рядом старинных пушек пред одним из них, оказалось здание мирного, гражданского назначения, готовое принять в свои недра давно возмеченный и жданный новый суд. Старинные пушки грозно уставили на него, с противоположной стороны улицы, свои жерла, но общий сочувственный интерес витал над ним. Первое из ведомств, официально признавшее новое назначение храмины, сооруженной «в пользу артиллерии», было министерство почт и телеграфов.

Управляющий этим министерством уже 16 июля 1865 г. просил Замятина об уступке в здании будущих судебных установлений помещения для устройства станции городского (тогда только что вводимого) телеграфа, что было бы «сообразно с требованиями новой реформы гражданского суда» и за что телеграфное управление принимало на себя устройство, в одном из окон, выходящих на Литейную, изохронических часов с пулковским регулятором, существующих и поныне.

Забываясь об украшении здания, Замятин просил Государя разрешить оставить во владении нового суда статую Екатерины, а 1 декабря 1865 года поднес на Высочайшее утверждение рисунок горельефа над воротами здания судебных установлений, изображающего суд Соломона, с надписью: «Правда и милость да царствуют в судах».

Расширение деятельности суда и палаты, увеличение округа последней, присоединение Витебской и Прибалтийских губерний вызвали многие внутренние переделки в этом здании, но общее расположение помещений осталось почти неизменным; лишь возле и в непосредственном сообщении с ним воздвиглось громадное здание дома предварительного заключения, да на пустынном внутреннем дворе вырос, насаженный по мысли прокурора палаты Э.Я. Фукса, тенистый сад...

Вообще, в внутреннем виде московских и петербургских судебных установлений изменилось за последние 25 лет немного. Лишь в московской круглой зале и в петербургской зале для публики – из глубины полутемных ниш выделился, в своей величавой простоте, образ Создателя нового суда, изваянный из мрамора, на средства тех, кому Он указал новые пути для служения правосудию*. И когда утихает трудовой и суетливый судебный день, здание суда пустеет и замолкает, этот незабвенный образ еще сильнее выделяется своею белизною в надвигающемся мраке, подобно молчаливому стражу учреждений, созданных по его Великодушному почину...

Таковы были, со своей внешней стороны, те *новые меха*, в которые должно было быть влито *вино новое*. С тех пор прошло четверть века. Новое оказалось ныне испытанным и приспособленным к условиям жизни; теоретические положения воплотились в практические приемы, невольные ошибки и промахи – это брожение молодого вина – подверглись строгой и беспощадной критике. Для новых поколений суд перестал быть *новым*, и с представлением о нем не соединяется живого, пережитого воспоминания о других формах и способах отправления правосудия.

Настает уже пора свести некоторые итоги и вдуматься в вопросы о том, какие части судебных уставов оказались особенно жизнеспособными по прошествии 25 лет, в чем и как повлияли они на общественный быт и, наконец, какие типы судебных деятелей обрисовались и начали вырабатываться за это время?

Последний вопрос представляется особенно интересным. Судебные уставы давали общие условия деятельности обвинителей, защитников, судей и нотариусов; в статьях уставов, как «сквозь магический кристалл», взгляд еще «неясно различал» будущие живые образы этих деятелей. Теперь эти образы окрепли и пустили корни в общем сознании. Что же, – соответствуют ли они тому, что от них ожидалось составителями уставов, что требовалось задачами судебного дела? Или же развитие этих образов, этих типов пошло по ложной линии, отклоняемое от прямого гармонического развития различными девиациями, подобно стрелке компаса?

Исследование этого вопроса должно быть довольно поучительно и весьма не бесполезно. Быть может, мы представим попытку такого исследования в недалеком будущем, но теперь позволим себе обратиться к первым дням осуществления судебной реформы.

То были радостные, полные жизни дни. Но радость эта была куплена ценою большого и тяжелого труда. С обнародованием, 20 ноября 1864 года, судебных уставов замолкли на время возражения против начал, в них заложенных, и все стали ждать, что выйдет на практике и как сумеет справиться министерство юстиции с лежавшею на нем задачею. А задача была огромная и самая многосторонняя. Она требовала неустанной энергии и теплой, твердой веры в необходимость скорейшего и коренного обновления нашего судебного строя.

* Речь идет об императоре Александре II.

Забавно и грустно одновременно, что и спустя четверть века зал судебных заседаний в бывш. Арсенале не был оснащен электрическим освещением:

Маленькая хроника. <...> Два слова о помещении Петербургского окружного суда. Оно оставляет желать весьма многого, какие все тесные, низкие, темные комнаты! Кроме судей, сидящих поблизости окон, никому в этих комнатах, ни защитникам, ни стенографам, ни присяжным [заседателям], ни публике – ничего порядком не видно. Фемида, при этих условиях, будет иметь право на снисхождение, если окажется слепой. В маломальский пасмурный день стенографы, чуть ли не с полдня, сидят при свечах. Теперешний суд был некогда Арсеналом. Этим объясняется многое. Но помещение, годное под арсенал, едва ли пригодно для окружного суда. <...>

Петербуржец
«Новое время», 25 октября 1890 г.

Предстояло принять самые разнообразные меры, разрешить массу недоумений, согласить противоречия и практически осуществить реформу в великом и в малом. Приходилось одновременно заботиться о стульях и столах для новых судов – и о выборе тех, кто на них и за ними будет заседать; нужно было обратить внимание на отопление и вентиляцию – и в то же время выработать правила внутреннего делопроизводства. Все это было сопряжено притом с потерей времени и труда на «бесполезное трение», от которого не свободна ни одна машина, а бюрократическая и тем более.

Судебная реформа рождалась на свет не сразу, как Минерва из головы Юпитера, а с болью и потугами. Она являлась как «*insula in flumine nata*»^{*} римского права, и быстротекущая река общественной жизни, с ее разнообразными и противоречивыми интересами, подчас грозила размыть еще слабые берега этого островка, так что надо было торопиться их укрепить и засадить растительностью. Рядом с этим умирал старый судебный строй: закрывались управы благочиния, уездные, надворные и совестные суды, а также комиссии разных наименований, имевшие судебные атрибуты.

Умиравший не оставлял по себе доброй памяти, но надо было однако соблюсти порядок и приличие – и похоронить его с честью, без непристойной суеты, но и без остатка...

Но особенно важною и трудною заботой министерства юстиции было избрание должностных лиц вновь открываемых судов. Нечего и говорить, в какой степени зависел успех нового дела от обдуманного выбора председателей, прокуроров и судей. «Судебные уставы изданы, – говорили искренние и притворные оптимисты, – все выходит очень хорошо и интересно на бумаге, но ведь людей нет и неоткуда их взять, не было для них ни школы, ни подготовки.

О каких судебных *прениях* можно говорить, когда мы, сугубо промолчав многие годы, едва умеем лепетать? Это ведь не застольные речи, да и те у нас, по большей части, представляют несвязное и чувствительное, под влиянием вина, бормотание... А ведение дела со всеми сложными формами и обрядами, под угрозой какой-то загадочной кассации приговора? Где взять для него умелых, находчивых людей?»

Зловещие предсказания Кассандры особенно усилились в последний год пред открытием судов. Наше излюбленное выражение, которым мы имеем привычку оправдывать всякие неудачи и подрывать всякие начинания: «людей нет» – было в особом ходу и относительно судебной реформы. Оно не могло не заставить призадуматься тех, на ком лежала обязанность позаботиться о «людях».

Нужно было, в первые же месяцы открытия московского и петербургского судебных округов, назначить 8 сенаторов, 50 председателей и их товарищей, 144 члена судебных палат, 190 следователей и 120 чинов прокурорского надзора.

Со времени издания Судебных Уставов было сделано [\[всe\]](#) возможное, чтобы создать контингент этих лиц. Законодательство, кружки юристов и литература действовали в этом отношении дружно и в одном направлении. Усиление окладов и штатов, а также изменение условий судебной службы должны были привлечь в судебное ведомство новые силы и вернуть в него ушедшие. Богатое анекдотическими воспоминаниями управление министерством юстиции в сороковых и пятидесятых годах мало-помалу заставило покинуть это министерство многих полезных деятелей.

^{*} Если пограничная река образует остров (*insula in flumine nata*), которого не было на планах, то этот остров делится между прибрежными владельцами по линии, означающей середину реки. – Из учебника по гражданскому праву (базирующемуся на римском праве)

Значительная часть их перешла в ведомство, в котором, несмотря на его специальный характер, раньше всех пробудилась жизнь, вызванная разгромом Крымской войны. Они приютились под крылом недавно усопшего Великого Князя [Константина Николаевича], в морском министерстве. Учреждение Судебных Установлений гарантировало этих отщепенцев* от случайных настроений начальства и от внезапных служебных перемещений «от финских хладных скал» в «пламенную Колхиду» и наоборот, а новые штаты давали возможность жить в скромном довольстве.

Потому-то министр юстиции так и настаивал на удержании проектированных комиссией окладов. Он не без основания боялся, что лучшие из тех, кого застанет в судебном ведомстве реформа, при условии сохранения старых, скудных окладов, уйдут в присяжные поверенные.

Необходимость увеличить содержание была, по мнению Д.Н. Замятина и его советников, так настоятельна, что если, как писал он, по каким-либо соображениям, признано будет необходимым уменьшить оклады и отменить прибавки, то *лучше отказаться от судебной реформы*, лучше остановиться приведением ее в исполнение, чем с самого начала дать ей ложное направление, поставить ее в невыгодные условия и отказаться от тех благих последствий, которых по справедливости можно ожидать от предначертанных уставов. Его крайне озабочивала необходимость поддержания и соблюдения равновесия между судебным сословием и нарождавшеюся адвокатурою.

«Если оклады содержания будут уменьшены, – заявлял он, – то равновесие это нарушится; большая часть даровитых и знающих личностей поступит в присяжные поверенные; конечно, таким образом, у нас весьма скоро образуется обширное сословие присяжных поверенных и станет сильным, но *сильным на счет судебного сословия и в ущерб ему*. Судебное ведомство будет обессилено переходом лучших своих представителей в другие ведомства и в присяжные поверенные. При ежедневных столкновениях в судебных прениях по делам, часто сопряженным с весьма важными государственными интересами, судебное ведомство вынуждено будет противопоставлять присяжным поверенным не только не вполне опытных, но иногда и бездарных представителей».

Даже и в самой несменяемости судей видел он опасность, если с нею не будет соединено некоторое обеспечение материального положения судьи. «Если судебное ведомство, – заключает он свои соображения, представленные Государственному совету, – не будет в состоянии привлечь и удержать способных и честных деятелей, то несменяемость судей принесет больше вреда, чем пользы, и правительству даже опасно будет предоставить обширный круг деятельности, огромную власть и вверить охранение важнейших интересов государства таким людям, большинство которых остается в судебном ведомстве только потому, что не нашло себе других лучших мест».

Но мало было привлечь способных людей. Одни способности – без знания, без понимания существа новой деятельности – были недостаточны. Нужна была усиленная подготовка. И она явилась в деятельности юридических обществ и юридической литературы. Еще в 1863 году учреждено было в Москве, при университете, по мысли профессоров Лешкова и Баршева, юридическое общество, разделенное на два отделения – уголовное и гражданское. Оно горячо и деятельно принялось учиться и учить в смысле практической подготовки своих членов для будущей судебной деятельности.

* В XIX веке, как мы понимаем, это слово еще не носило такой ярко выраженный негативный смысл, как теперь.

С 1864 года в большой зале университета стали происходить примерные заседания по правилам устава уголовного судопроизводства. Материалом служили сенатские дела; роли обвинителей, судей, защитников распределялись между членами общества; присяжными, свидетелями и подсудимыми были студенты старших курсов юридического факультета, относившиеся к своей задаче очень добросовестно и вполне серьезно.

Публика, посещавшая эти примерные заседания, вела себя очень сдержанно, и характер «представления», который они легко могли принять, совершенно отсутствовал. С молчаливым и серьезным вниманием, без всякой улыбки, выслушивалось, как какой-нибудь бородатый студент, на долю которого выпадала роль подсудимой или свидетельницы, говорил на перекрестном допросе легким басом: «я пришла», «я увидела», «я в это время стирала белье» и т.д. Приговор импровизированных присяжных ожидался не без волнения...

Эти заседания, впрочем, продолжались не очень долго. Материал для них перестали доставлять после того, как «присяжные юридического общества» решили, после горячих прений сторон, дело, подлежащее пересмотру в общем собрании сената, совсем иначе, чем оно было решено в департаменте...

Петербургское юридическое общество образовалось гораздо позже, в конце семидесятых годов; но ему предшествовали частные кружки, особенно много работавшие в ближайшее ко введению судебной реформы время. Один собирався в управлении петербургского генерал-губернатора, при деятельном участии покойного С.Ф. Христиановича, другой группировался около В.Д. Спасовича. Этот последний послужил ядром и непосредственным предшественником нашего настоящего юридического общества. И тут, в этих кружках, шла живая подготовка к практической деятельности, разбирались процессы, делались «пробы пера» будущих судебных ораторов.

Юридическая литература тоже много поработала по подготовке будущих судебных деятелей. С 1865 года «Журнал Министерства Юстиции», талантливо и с любовью редактируемый покойным профессором А.П. Чебышевым-Дмитриевым и П.А. Марковым, стал наполняться статьями и исследованиями по живым вопросам будущей судебной практики. Можно сказать без преувеличения, что за 1865 и 1866 годы журнал этот дал по части судопроизводства и судоустройства такую массу полезного научного материала и серьезных исследований, что эти два года, по ценности своего литературно-юридического вклада, превосходят все предшествовавшие годы существования журнала, взятые вместе.

Она перестала довольствоваться бесплодными и бесцельными для правосудия экскурсиями в безобидную историко-правовую старину – и место исследований о «Ярославле серебре», «о кунах по древнейшему списку Русской Правды» и т.п. заняли работы Таганцева – о повторении преступлений, о гражданском иске в уголовном процессе, Андреевского и Градовского – по русскому государственному праву, Маркова – по гражданскому судопроизводству в Англии.

В это же время появился замечательный труд Буцковского о кассационном производстве и чрезвычайно интересные «юридические заметки и вопросы» Победоносцева (в «Журнале Министерства Юстиции»), вышло первое издание книги Квачевского о дознании и следствии и две «Настольные книги для мировых судей» – Н.И. Ланге и Железникова.

Это же время богато и переводами. Спасович перевел «Уголовное право Англии» Стифена, книгу глубокого содержания; Таганцев напечатал «Вопросы факта и права на суде присяжных» Гуго Майера; Неклюдов издал «Учебник уголовного права» Бернера, со своими замечаниями и дополнениями; Ламанский перевел сочинение Миттермайера о суде присяжных.

Все это, вместе с последовавшими переводами, под редакцию Унковского, сочинений того же Миттермайера (о судебной защите и об английском судопроизводстве) и Уильса (о косвенных уликах), составляло ценный и необходимый багаж для всякого юриста-практика. Нельзя не упомянуть, наконец, и о сборниках процессов Любавского, в которых целою вереницею тянулись, как предметы изучения – лучшие иностранные процессы, и как предметы полезного раздумья – процессы, веденные при условиях старого, дореформенного суда...

Все это давало возможность надеяться, что подходящие «люди» найдутся и что их первые шаги на новом поприще не будут сопряжены с особыми ошибками. Нашлись же мировые посредники первого призыва, с честью выполнившие свою первую миссию, – должны были найтись и люди для суда, тем более, что у нас часто жалуются, что «нет людей», когда в сущности нет не людей, а *условий* для их деятельности.

Являются условия – являются неведомо откуда, из безвестной тьмы предполагаемого безличья, деятели бодрые и добрые... В области нравственных требований есть тоже свой закон спроса и предложения, и история нашей общественной жизни не раз доказывала его существование. Но каковы бы ни были основания для *надежды* на успех реформы, одной ее было мало для осуществителей великого государственного дела. Нужна была *вера* в этот успех. Только она могла придать им настоящую и прочную энергию и помочь довести дело до конца.

Составители Судебных Уставов были проникнуты верою в способность русского народа принять судебную реформу и разумно ею пользоваться. Представители министерства юстиции были полны тою же верою. Ее укрепляла и поддерживала верховная воля, твердая и проникнутая теплым участием к осуществлению великого дела, возведенного с высоты престола в самом начале нового царствования.

Еще в конце 1865 года, на отчете министра юстиции о подготовительных распоряжениях к осуществлению судебной реформы в 1866 году, рукою незабвенного Государя было начертано: *«Искренно благодарю за все, что уже исполнено. Да будет благословение Божие и на всех будущих наших начинаниях для благоденствия и славы России»*. Слова эти окрыляли работу, лежавшую в министерстве. Центром и душою ее был человек, которого петербургское юридическое общество с гордостью считает своим председателем. Нисколько не умаляя заслуги Замятина, состоявшей, главным образом, в верности, доходившей подчас до упорства, раз принятому направлению, будущий историк судебной реформы отведет равно почетное место в деле ее организации неутомимому и благородному товарищу Замятина – Н.И. Стояновскому.

Время, назначенное для открытия судов, приближалось. 14 апреля 1866 года Император Александр II посетил помещение новых судебных учреждений в здании старого арсенала. После подробного осмотра Государь, обращаясь к провожавшим его, вновь назначенным чинам судебного ведомства, выразил надежду, что они оправдают оказанное им доверие, и на горячие и растроганные уверения их, что все силы их будут к этому направлены, сказал: *«Итак, в добрый час, начинайте благое дело!»*.

Дело, которое сам верховный устроитель его называл благом, было начато 16 апреля. В этот день помещение суда и судебной палаты было освящено, и тогда же в большой зале для заседаний с присяжными был установлен образ с лампадою, пожертвованный воспитанниками училища правоведения. Вслед затем в здании сената было открыто первое общее собрание кассационных департаментов.



*Бывш. Екатерининский арсенал, затем здание Петербургских судебных учреждений и, наконец, Окружной суд на Литейном просп.**

Но настоящее торжество происходило на другой день, 17 апреля, в день рождения Государя. Около часу дня с горельефа над воротами старого арсенала была снята завеса, и слова «Правда и милость да царствуют в судах» впервые заблистали своими золотыми буквами над входом в новый суд. В ворота с этой надписью проехали и прошли покойный принц Ольденбургский, этот просвещенный деятель на подкладке неисчерпаемой доброты, митрополит, всевозможные сановники, послы английский и французский и все те, кому служебное положение или принадлежность к составу новых судов давали возможность попасть на открытие. Все были оживлены, все блистало новизною.

Новизна слышалась и в речи Замятнина, обращенной к новым судебным деятелям. Это не была обыкновенная, казенная речь, риторические фигуры которой, звучно рассекая воздух, не трогают сердца, не шевелят мысли. В ней чувствовалось сознание значения переживаемой минуты и слышалось ясное определение обязанностей, создаваемых новым положением.

Упомянув, что Царь-освободитель, даровавший крестьянам свободу от крепостной зависимости и сливший затем отдельные сословия в одну общую земскую семью, совершает новый подвиг своей благотворительной деятельности, даруя судебным установлениям полную самостоятельность, министр указывал на великие обязанности и ответственность, возлагаемые этим на судебное ведомство.

«Никому уже, – говорил он, – не будет права ссылаться, в оправдание своих действий и решений, ни на несовершенство порядка судопроизводства, потому что каждому даются в руководство полные уставы, составляющие последнее слово юридической науки, ни на недостатки законов о доказательствах, потому что определение силы их предоставляется голосу совести».

* Сие здание сгорит 27 февраля – 2 марта 1917 г., подожженное уголовными при освобождении политических (blog.fontanka.ru/posts/170675/).



Ворота здания Петербургских судебных учреждений

Речь кончалась мольбою – да дарует Господь каждому, в пределах возлагаемых на него обязанностей, силу неуклонно, в чистоте помыслов и действий, с пользою для отечества стремиться к выполнению великих предначертаний Монарха и ожиданий России. В ней были не только прочувствованные, но красивые места. *«Завязывая свои глаза, – сказал Замятнин судьям, – пред всякими посторонними и внешними влияниями, вы тем полнее раскроете внутренние очи совести и тем беспристрастнее будете взвешивать правоту или неправоту подлежащих вашему обсуждению требований и деяний»...* Был прохладный, но светлый весенний день. Вечером в Петербурге зажглась необычайная по своей роскоши иллюминация, и современники, конечно, не забудут умиленного восторга публики, приветствовавшей Государя на пути в театр. Все находились под свежим, недавно испытанным чувством, которое было вызвано спасением Царя, 4 апреля, при выходе из Летнего сада.

Тихая, душевная радость тех, кто сознавал, что в этот день, благодаря Ему, старый суд отошел в область невозвратного прошлого, что стих Хомякова о Руси, полной в судах «неправды черной», стал лишь историческою справкою, а не горькою действительностью, – сливалась с всенародным торжеством в одном благодарном сердечном порыве...

В Москве открытие новых судебных установлений произошло 23 апреля. Речь Замятина была на этот раз преимущественно обращена к впервые избранным мировым судьям. Вот как и при какой обстановке было впервые влито в новые судебные меха новое судебное вино. Те, кто пережил это время и первые месяцы, непосредственно за ним следовавшие, не могут их забыть.

Доверие к своим силам, светлый взгляд на будущее, убеждение в том, что введенный порядок представляется образцовым во всех отношениях, – одушевляло всех первых деятелей нового суда. Новой деятельности были отдаваемы все силы бескорыстно и не без личных жертв, ибо были люди, оставлявшие лучшие и более обеспеченные служебные положения, чтобы только принадлежать к судебному ведомству. Вице-директоры шли в члены палаты, губернаторы – в председатели окружного суда.

Первое время никто, впрочем, и не смотрел на занятие новых должностей как на обычную, рядовую службу. Это была деятельность, задача, призвание. Это была *первая любовь*. Такая любовь существует не только в личной жизни человека, но и в общественной его жизни; и тут и там она, войдя *первою* в сердце, *последнею* выходит из памяти... Это была первая общественная любовь для многих...

И какие бы недоумения, испытания и разочарования в себе и в других ни принесла впоследствии жизнь, чувство, одинаково охватившее в те незабвенные дни и молодого, начинающего деятеля, и человека зрелого, призванных к новой, неизведанной и ответственной судебной службе, наверное не забывалось ими и издалека светит их душе и греет ее...

Современное молодое поколение не изведало этого чувства; для него «судебное ведомство» есть одно из ряда ведомств, в двери которого можно постучаться, вступая в служебную жизнь, – и только. То горделивое увлечение, с которым относились тогда новые судебные деятели к своему делу, то иногда преувеличенное мнение, которое они имели о значении своего служебного положения, вызывают теперь, когда яркая радужность первоначальных красок сменилась серым колоритом будничной жизни, невольную улыбку. Но не ирония видится в ней, а невольное сожаление о том, что «тьмы низких истин» так скоро и прочно сменили «нас возвышающий обман»... Нечего и говорить, как интересовали всех первые шаги новых судов. Их ждали с понятным нетерпением.

Первый уголовный процесс в Петербурге, разбиравшийся 14 июня, без присяжных, привлек массу публики. Дело было несложное. Молодой помощник присяжного поверенного, недовольный резким и решительным отказом одного из судебных следователей города Петербурга в предъявлении ему следственного производства, написал ему письмо, в котором, советуя быть более вежливым с приходящими, прибавлял: «времена чиновников-громовержцев прошли».

Обвинителем по делу выступил прокурор окружного суда Шрейбер, один из ревностных молодых сотрудников Замятина, заявивших себя изучением практических вопросов, связанных с открытием нового суда. *Первая* обвинительная речь, сказанная на Руси, отличалась большой сдержанностью и деловитостью. В ней не было напускного пафоса французских обвинений – и это было хорошим признаком, так как с этой стороны нашему нарождающемуся судебному красноречию могла грозить серьезная опасность. Взятая в самом начале неверная нота могла затем вызвать целый ряд фальшивых созвучий. Дело прошло очень гладко и стройно.

Были, конечно, некоторые, на теперешний, умудренный опытом и изучением, взгляд, странности. Суд поставил на свое разрешение между прочим отдельный вопрос (!) о том, есть ли в деле увеличивающие или уменьшающие вину подсудимого обстоятельства. Горячий судебный следователь, много и усердно послужив на разных должностях судебному делу, опочил в прошлом году внезапно, в полном разгаре своей деятельности, у гроба безвременно угасшего товарища министра, а почтенный председатель совета петербургских присяжных поверенных, на голове которого уже обильно белеют серебряные нити, вероятно с незлобивою улыбкою вспоминает то время, когда явившись *первым подсудимым* по Судебным Уставам, он так волновался, что просил разрешения *читать* свою защитительную речь...

Заседания с присяжными открылись 26 и 28 июля, делом Родионова, обвинявшегося в краже со взломом, и делом Маркова, обвинявшегося, как значилось в объявлении о деле, – «в способствовании неизвестному человеку в снятии полсти с саней». Защитником по второму выступил В.Д. Спасович. Председательствующий товарищ председателя не совладал, однако, со своею задачею. Заседание тянулось долго, с томительными перерывами и остановками, носившими характер некоторой суетливой беспомощности и растерянности. Общее впечатление получалось неудовлетворительное и грозило повториться в ряде дел, так как, ввиду вакантного времени, председательство по делам с присяжными должно было оставаться в одних и тех же неумелых руках.

По закону один председатель мог заместить своего товарища, но председатель этот был в отпуску, больной, вне Петербурга. Едва, однако, разнеслась весть, что дела с присяжными ведутся без надлежащего склада и лада, Мотовилов бросил все и появился в суде. Занимавшийся прежде постоянно гражданскою частью (он был до своего нового назначения председателем петербургской гражданской палаты), он сел в уголовное отделение и взял колеблющееся дело в свои энергичные руки. Природный ясный ум, упорный труд и – главное – горячая любовь к делу помогли ему. Заседания с присяжными пошли правильно, с необходимою для судебного механизма точностью.

Имя Георгия Николаевича Мотовилова не должно быть забыто историком судебной реформы. Последний может с глубоким уважением остановиться пред его портретом, повешенным после его ранней смерти в зале общих собраний окружного суда. Человек еще молодой, с энергичным и красивым лицом, холерик по темпераменту, он всецело отдался новой своей деятельности. Задача на первом председателе первого по месту и по времени окружного суда в России – лежала громадная. Она была трудна не только по своей сложности, но и по своей новизне.

Надо было установить правильные личные отношения в суде и вне суда, надо было внести уважение к авторитету судебной власти в чуждые суду сферы, надо было неустанно работать. Установление главных начал внутренней администрации суда, устройство и регламентация обширной и чрезвычайно ответственной кассовой части, составление знающего и способного персонала канцелярии и судебных приставов – все это лежало на председателе. А рядом с этим – в делах приходилось применять ряд новых приемов. Одним словом, надо было не только созидать новое, но и вырабатывать, и отыскивать для него материал – быть одновременно и строителем, и чернорабочим. Необходимы были большой такт, самообладание и вера в свое дело, чтобы не утратиться осложнений, не поколебаться духом и не поступиться чем-нибудь существенным при первом приложении к жизни основ новой судебной деятельности. Эту задачу Мотовилов выполнил вполне.

В Москве первое заседание суда открылось 21 июня, по делам о бродягах. Наплыв публики был так силен, что пришлось установить билеты для посещения залы судебных заседаний. Заседание прошло хорошо, хотя не без некоторых странных для современного юриста-практика особенностей. Председательствующий требовал от «не помнящих родства» объяснений, были ли они и где у исповеди, и вступал в длинные и неоднократные прения с защитником одного из бродяг по вопросу о том, что такое бродяжничество и в чем именно заключается состав этого преступления.

Первое заседание с присяжными, 24 августа, по делу Тимофеева, обвинявшегося в краже со взломом, прошло гораздо лучше петербургского. Судебные прения и здесь, как и в Петербурге, были свободны от громких фраз и стремления разжалобить или ожесточить присяжных; они отличались простотою и деловитостью, но страдали чрезмерными отступлениями в область судопроизводства и различных теоретических соображений.

Это придавало им некоторый педагогический характер. Так присяжным объясняли ход и значение разных следственных действий, или пространно говорили им о значении права собственности и необходимости его ограждения, а также о «величайшем на свете благе» – жизни, которую никто не имеет права отнимать, и т.п.

Но если заседания с присяжными начались в московском суде успешнее, чем в Петербурге, зато вскоре в одном из таких заседаний произошла ошибка, которая долго потом приводила в смущение участвовавших в ней и многочисленных присутствовавших, которые сначала находили, что все произошло именно так, как надлежит.

По делу об убийстве товарищ прокурора впервые в новой судебной практике воспользовался своим правом отказаться от обвинения, заявив о том, на основании 740-й ст. Установлений уголовного судопроизводства, [что оно подлежит] суду «по совести». Суд выслушал этот отказ и – объявил, без дальних околичностей, подсудимых от суда свободными! Говоря о московских судебных установлениях первого времени реформы, нельзя не вспомнить и о типичной личности первого председателя московского окружного суда.

Высокий, плотный, с массивными чертами лица и насупленными бровями, говоривший громким голосом покойный Елисей Елисеевич Люминарский был настоящий судья, «судья от головы до ног», всецело преданный делу (и как истый москвич – своей Москве), беспристрастный, независимый, не доступный ни ласке, ни давлению, и несмотря на свою суровую наружность – добрый и сострадательный.

Общее уважение и доверие окружали его при жизни, облегчая ему его трудную задачу устроителя нового суда, – общее сожаление проводило его в могилу. В наибольшее, в непосредственное и ежедневное соприкосновение с обществом приходил мировой суд. Он стал сразу популярен, и, через месяц после введения реформы, сокращенное название «мировой» стало звучать в народе как нечто давно знакомое. Первое время камеры мировых судей были полны посетителей. Сюда приходили знакомиться с новым судом в его простейшем, наиболее доступном виде.

Переход от канцелярий квартала и от управы благочиния, где чинилось еще так недавно судебно-полицейское разбирательство, к присутствию мирового судьи – был слишком осязателен. Здесь в действительности совершался суд скорый, а личности первых мировых судей, среди которых встречаются носители имен, приобретших впоследствии почет на более широком поприще, служат ручательством, что суд не только скорый, но и правый, и милостивый.

Были, конечно, и в сфере мировой юстиции промахи и увлечения. Не всегда ясно разграничивалась подсудность дел; смущали преюдициальные вопросы*; наконец, вино новой власти бросалось некоторым, впрочем весьма немногим, в голову. Случаи последнего рода имели свою комическую сторону и, во всяком случае, не обнаруживали дурного намерения. *Es war nicht bö's gemeint!***

Так, в Петербурге, один мировой судья, устроивший, вопреки господствовавшей у мировых судей строгой простоте обстановки, в своей камере, для судейского места, драпированное красным сукном возвышение, вообразил себя вместе с тем великим пожарным тактиком и стратегом – и явился, в цепи, распоряжаться на пожаре, вспыхнувшем в его участке; а другой, возвращаясь в летнюю белую ночь с Островов и найдя мост разведенным, надел цепь и требовал его наведения. Судебная палата, однако, тотчас же охладила этих пылких носителей мировой цепи нехстати.

* Преюдициальность – обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением или приговором по какому-либо другому делу.

** «Не было желания обидеть!».

Но наряду с этими единичными – общее направление мировых судей первого избрания сразу сделало их камеры не только местом отправления доступного народу правосудия, но и школою порядочности и уважения к человеческому достоинству. Ведение дела у некоторых судей достигло виртуозности. Особенно выделялся в Петербурге покойный Оскар Ильич Квист.

Его камера была местом, куда ходили учиться и смотреть – как надо разбирать дела. Этот маленький, живой, глубоко просвещенный человек, с умным и проницательным взглядом и лукавою усмешкою, заложил, в качестве председателя, подобно Мотовилову и Люминарскому, – нравственный и деловой фундамент мирового съезда, устройство которого потом не раз признавалось образцовым.

Многие из первых деятелей мирового суда в Петербурге достигли впоследствии высоких степеней в судебной иерархии; но нет сомнения, что время их службы в 1866 году в скромной должности «мирового» должно представляться им, по полноте сопряженной с нею деятельности и по сознанию приносимой наглядно и ежедневно пользы, – счастливым временем. Между ними находился и [Николай Адрианович Неклюдов –] мировой судья труднейшего участка, на Сенной [площади], отдавшийся новому делу со свойственным ему страстным трудовым увлечением и почерпнувший в нем интереснейший практический и бытовой материал для живых примеров в своем превосходном «Руководстве для мировых судей».

На вершине новой судебной пирамиды был учрежден кассационный суд. Далекая от непосредственного соприкосновения с жизнью деятельность его интересовала исключительно юристов, из которых многим было однако трудно, в представлениях своих об ней, «совлечь с себя ветхого Адама», т.е. устранить мысль о существе дела, совершенно чуждую идее кассационного производства. Поэтому юристами первые решения кассационных департаментов ожидались с большим нетерпением.

Нужно ли говорить, как успешна, назидательна и содержательна была именно первоначальная деятельность нашего кассационного суда? Для этого стоит лишь просмотреть решения за 1866 год. Особенно богаты были различными важными разъяснениями нового судопроизводственного порядка решения уголовного кассационного департамента. Пройдя через коллегия, где заседал Н.А. Буцковский, так много поработавший над судебными уставами, и где председательствовал В.А. Арцимович, почтенным сединам которого еще недавно была отдана дань уважения всеми, кому дороги представители широкого и стойкого правосудия* – решения эти устанавливали и закрепляли начало нового процесса.

Тогда, в первое время своего существования, кассационный суд наш уподоблялся римскому претору: он не только «*jus dixit*», но и «*jus fecit*»**. Особенно трудная роль выпала на долю первых обер-прокуроров. Им приходилось, учась самим в совершенно новом деле, учить других, и учить притом авторитетно. Одного из них уже нет в живых.

Смерть застигла Михаила Евграфовича Ковалевского среди широкой и разносторонней государственной деятельности, и быть может, на пороге к дальнейшему расширению сферы его действий и влияния; но несомненно, что наиболее блестящею, плодотворною и отрадною для него самого была его работа в качестве обер-прокурора. Он внес в нее весь свой систематический ум и способность ясно, просто и доступно распутывать самые сложные юридические вопросы. Его первые заключения глубоки по содержанию, богаты настоящим знанием и превосходны по изложению.

* Празднование 50-летнего юбилея службы. – Примеч. ред. журнала

** «*Jus dixit*» – сформулировал закон, «*jus fecit*» – создал право.

Почти все главнейшие вопросы нового судебного производства, все недоразумения по разграничению областей уголовного и гражданского права разработаны и разрешены в них. Не надо забывать, что у нас учредили совсем новое судебное учреждение, не имевшее никаких корней в старом порядке, и дали этому учреждению задачу, требующую и громадного отвлечения мысли в область коренных юридических понятий, и большой вдумчивости. Но нашлись, однако, деятели, оказавшиеся «настоящими людьми на настоящем месте», как говорит английская поговорка.

Лучшим примером этого послужил и первый первоприсутствующий уголовного кассационного департамента – сенатор Михаил Матвеевич Карниолин-Пинский. Суровый и прямолинейный юрист, родившийся в 1794 году, он недоверчиво относился ко многим сторонам судебной реформы, когда она еще была «*im Werden*»^{*}. Особенно не нравились ему присяжные заседатели.

“«Присяжных, присяжных и присяжных!» – вот крики, с некоторого времени летящие со всех сторон нашего дорогого отечества. Во всех этих криках мало смысла, хотя много увлечения и еще больше подражания. Закричал один, как не зареветь другому?! Рассудительные люди не кричат – они уверены, что все доброе и полезное нас не минует; а блестящего, но сомнительного – хотя бы и не бывало. Наконец, и мы будем иметь присяжных...” и т.д. Так писал он в своих замечаниях на устав уголовного судопроизводства.

Назначение на самый высший пост судебной иерархии (он был и первоприсутствующим общего собрания кассационных департаментов) застало Карниолина-Пинского на краю могилы. Трудовая и исполненная тревог личного характера жизнь его догорала. Красивая, несмотря на годы, фигура его согнулась, прекрасное, точно изваянное, хотя и немного жесткое лицо, обрамленное седыми кудрями, осунулось и побледнело – и он уже не в силах был участвовать в заседаниях сената, заменяемый постоянно В.А. Арцимовичем.

Но в сентябре в уголовном департаменте должно было слушаться, в качестве первой инстанции и притом с присяжными заседателями, дело бывшего директора хозяйственного департамента при святейшем синоде тайного советника Гаевского и его сообщника Яковлева, обвинявшихся в растратах и подлогах.

Дело это имело по отношению к сенату огромное значение, оно должно было быть проведено образцово, «без сучка и задоринки», одним словом, так, чтобы суды, наставляя и направляя которые призван кассационный суд, не имели повода ему сказать: «врачу – исцелися сам!». Карниолин-Пинский в буквальном смысле взял одр свой и пошел на новую деятельность, куда его призывал служебный долг. Снедаемый болезнью, он был привезен 15 сентября в сенат и под руки введен на лестницу.

Но в зале заседаний в нем проснулся опытный юрист, понявший – и, быть может, в душе полюбивший – новую, неизведанную еще форму суда. Заседание длилось 12 часов, с небольшими перерывами и было ведено во всех отношениях образцово. Обвинял Ковалевский. Руководящее напутствие присяжным, сказанное Пинским, было исполнено беспристрастия и в то же время чуждо той бесцветности, которою думают у нас иногда заменить объективность изложения.

«Помните, – сказал он в заключение присяжным, – что вы призваны творить суд, а не угнетать...» Когда в своей речи защитник одного из подсудимых, увлекшись характеристикой другого из них, начал говорить, что свидетельские показания, рисуящие его честным и порядочным, не соответствуют тому, что было на самом деле, Пинский остановил его, сказав: «Едва ли прилично укорять подсудимого... Говоря о нем как о человеке осужденном, вы забываете, что суд еще не произнес своего приговора»...

^{*} «В процессе становления».

Чтение отчета о заседании по делу Гаевского производит даже и теперь, несмотря на выработавшуюся технику судебного производства, впечатление живого и достойного ведения дела. Нельзя, однако, не отметить одного серьезного отступления от уставов, хотя и правильного по мысли и вполне соответствующего западному, более старому и выработанному процессу, – но все-таки отступления.

При той роли, которую играл Ковалевский в сенате, и при отсутствии с его стороны каких-либо заявлений, надо думать, что это было бессознательное отступление, основанное на воспоминании о том, что *предполагалось* сделать при составлении уставов. Вопросы были поставлены сенатом, подвергнуты обсуждению сторон и вручены присяжным – *после* заключительного слова первоприсутствующего. Некоторые недосмотры оказались, в первое время, и в законодательно-инструкционных распоряжениях относительно новых судебных учреждений.

Так, пришлось уже 14 июня 1866 года предложить сенату, по первому департаменту, издать дополнение к только что изданным временным правилам внутреннего распорядка в судебных местах нового устройства. Обнаружилось, что в этих правилах было упущено упомянуть, что в мировых съездах должно быть зеркало, что мировые судьи должны заседать в съездах в мундирах, а у себя в камере – в мундирных фраках или сюртуках.

Последние указания, впрочем, остались без исполнения. Жизнь их отвергла – и потребовала уступок. Мировые судьи повсюду производили разбирательство не в форменной одежде, а лишь в цепи, которая в глазах народа имела гораздо большее значение; во многих мировых съездах обязательною одеждою стал фрак, а не мундир.

Но жаль, что другое указание этих правил (§14) осталось тоже без исполнения. Оно имело весьма полезную цель и могло служить проверкою юридической самостоятельности судебных учреждений. Оно предписывало в каждом суде вести указатель *юридических вопросов*, им разрешенных. Увы! Книги этих указателей – если они где-либо и сохранились (а заведены они были) – и доныне представляются чистыми, как девственный снег альпийских вершин...

В первых шагах новых судов была сторона, которая не только интересовала, но и немало тревожила всех, кому было дорого правильное осуществление Судебных Уставов на практике. Кроме чувства долга, трудолюбия и добросовестности, от людей, призываемых помогать отправлению правосудия, а иногда даже играть в нем решительную роль, требовались еще особые способности, с одной стороны, и известное, стоявшее ввиду недавних общественных условий под вопросительным знаком, развитие гражданского чувства и понимания, с другой стороны. Как пойдут судебные прения? Появятся ли люди, способные к сдержанному жару словесной борьбы, к тому, чтобы «словом твердо править», и вообще даже к тому, чтобы владеть этим словом?

Еще более тревожные вопросы возникли относительно присяжных. Их желали – их ждали... Это верно, хотя и резко, изобразил Карниолин-Пинский. В них хотелось верить заранее. Присяжный заседатель был дорог всякому, с сочувствием думавшему о новом суде. Подобно Татьяне в письме к Онегину, русское развитое общество того времени могло сказать этому, еще не появившемуся на сцену, присяжному: «незримый – ты мне был уж мил»...

Но невольное сомнение закрадывалось в душу. Этот незримый и неведомый, теоретический присяжный должен был облечься в огромном большинстве случаев в реальный образ простолюдина, всего пять лет назад освобожденного от крепостной зависимости, – в образ того самого мужика, которого незадолго пред тем Тургенев, устами одного из своих героев, назвал «таинственным незнакомцем»... И что же?

Теперь, чрез 25 лет, можно сказать, что этот таинственный незнакомец оправдал оказанное ему доверие и не посрамил ни здравого смысла, ни нравственного чувства русского народа. Беспристрастная история нашего суда присяжных покажет со временем, в какие тяжкие, неблагоприятные условия был он у нас поставлен, как долгие годы он оставался без призора и ухода, как его недостатки не исправлялись любовно и рачительно, а предоставлялись злорадно или близоруко дальнейшему саморазвитию.

Будущий историк этого суда должен будет признать, что по отношению к этому суду у нас велась своеобразная бухгалтерия, причем на странице кредита умышленно ничего не писалось, а на страницу дебета вписывался каждый промах крупным, каллиграфическим почерком. Он признает, этот историк, что между большинством приговоров, которые ставились в вину присяжным, были такие, с которыми трудно согласиться, но не было почти ни одного, который, зная данное дело, нельзя было бы понять и объяснить себе...

Едва ли нужно напоминать о том, как быстро и с каким запасом неожиданных сил появились у нас, в первые же месяцы реформы, судебные ораторы. Без всякой школы, без организованной подготовки, со всех сторон выступили на судебную арену люди, не только умевшие владеть словом, но и, в большинстве, талантливые.

Старого губернского прокурора, за немногими блестящими исключениями, пассивного, могущего ничего не делать, ибо делать все, что он должен, невозможно, деятельность которого иногда не оставляла никакого следа или воспоминания («а ведь если разбирать хорошенько дело, говорит Чичиков, встретив похороны прокурора, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови!») – заменила, со введением Судебных Уставов, прокуратура деятельная. Район ее действий сделался меньше, но она стала играть роль махового колеса в машине уголовного суда. Для этого надо было не только работать, но уметь отстоять свою работу, а это вызывало появление способных обвинителей.

Введение реформы отразилось и на сословии поверенных. Старая проторенная дорожка с заднего крыльца должна была «порастить травой забвения», и двери суда широко раскрывались лишь пред адвокатом новой формации.

В эти двери вошли немедленно люди ума и знаний и не только с чистым, но иногда и с завидным прошлым. В них вошли и молодые обер-секретари сената, и профессора, и лучшие представители эмбриональной адвокатуры, состоявшей уже при коммерческих судах, и почтенный деятель крестьянского освобождения и т.д.

В том же 1866 году в Москве проявились два судебных оратора большой силы. Один, назначенный в прокуратуру, кажется, из провинциальных губернских стряпчих, скромный, бледнолицый, молчаливый, с непокорными волосами и бородой, вдруг вырос на обвинительной трибуне и из уст его полилась речь, скованная с непревзойденною с тех пор суровою красотою. Кто слышал в свое время этот ровный, металлический голос, кто вдумался в эти неотразимые и в то же время простые, по-видимому, доводы, обнимавшие друг друга, как звенья неразрывной цепи, тот не забудет обвинителя по всем большим делам первых лет московского суда.

Недаром на огромном процессе Матова и других фальшивых монетчиков присяжные, выслушав его речь и возражения 19-ти защитников, просили его, чрез своего старшину, не утруждать себя ответом.

Посетитель московского суда того времени, вероятно, не забыл также и начинающего кандидата с родовитым именем и блестящим образованием, которого природа щедро одарила дарами, необходимыми для защитника; он вспомнит, быть может, неслыханный восторг присутствующих после защитительной речи по делу Волоховой, обвинявшейся в убийстве мужа, – речи, сломившей силою чувства и тонкостью разбора улики тяжкое и серьезное обвинение...

Но не одни таланты проявила тогда, при самом своем возникновении, московская адвокатура. Ее организация в духе порядка и дисциплины была в значительной степени делом памятного Москве покойного М.И. Доброхотова, и с первых дней в ее рядах засиял кротким светом человеческий, глубоко ученый и благороднейший – тоже ныне умерший – Яков Иванович Любимцев. Нужно ли говорить о сразу выдвинувшихся корифеях петербургской адвокатуры?

Кто из близких судебному делу не знает их, не помнит их на рассвете и в расцвете их деятельности, – *одного* – с его глубокими познаниями, изяществом приемов и поучительною частотою в исполнении своих обязанностей, талантливое и быстрое слово которого лилось как река, блистая прозрачностью своих струй и неслышно ломая в своем неотвратимом течении преграды противника, и *другого* – с резким, угловатым жестом, неправильными ударениями над непослушными, но вескими словами, с точностью красок и всегда оригинальным, вдумчивым освещением предмета, – одним словом, того, придя слушать которого, неопытный посетитель сначала спрашивал себя: «как? неужели это... тот, известный...», потом по прошествии десяти минут говорил себе: «а ведь, пожалуй, это и он...» и захваченный глубиною содержания и своеобразною формою только что оконченной речи, восклицал: «он! он! это именно он!».

Двадцать пять лет! Много воды утекло с тех пор, многое изменилось. Но старому судебному деятелю, пережившему начало этих лет, должно быть великодушно прощено, если он слишком долго остановился на воспоминаниях об этом незабвенном для него времени, об этом *медовом месяце* нового суда...

журнал «Юридическая летопись», 1892, №4

**А.Ф. Кони. Отцы и дети судебной реформы
(К пятидесятилетию Судебных Уставов, 20 ноября 1914 г.)**

Из Предисловия

20 ноября настоящего года исполняется пятидесятилетие со дня обнародования Судебных Уставов. Эти Уставы были плодом возвышенного труда, проникнутого сознанием ответственности составителей их пред Россией, жаждавшей правосудия в его действительном значении и проявлении.

Это был труд сложный, самостоятельный и многосторонний, в одно и то же время критический и созидательный, – труд, исполненный доверия к духовным силам русского народа и его способности приять новые учреждения с живым сочувствием и непосредственным в них участием. В этом смысле работа *отцов* Судебных Уставов – настоящий памятник их любви к родине.

<...> Автору настоящего сборника выпал завидный жребий знать лично и по службе некоторых из этих *отцов* и многих из *детей* – и посвятить им в разное время приводимые здесь воспоминания.

Не все из этих «поминок» относятся к деятелям первых шагов судебной реформы, во введении которой в Петербургском, Харьковском и Казанском судебном округах ему пришлось участвовать в 1866, 1867 и 1870 годах, но ему казалось уместным поместить очерки, относящиеся к некоторым судебным деятелям позднейшего времени, на служении которых Судебным Уставам явно отразились заветы и направление отцов судебной реформы. Цель предлагаемого сборника – посильное оживление представления о времени введения судебной реформы и о ее пионерах.

<...>Георгий Николаевич Мотовилов (1834-1880)

28 октября 1880 г. русское судебное ведомство понесло тяжкую и неожиданную утрату. В этот день, в Подольской губернии, скончался на 46-м году от рождения, сенатор Георгий Николаевич Мотовилов, от сложного страдания сердца и легких. Он умер во цвете лет и сил, когда его многолетняя опытность, его знания и испытанная, неизменная любовь к новым судебным учреждениям делали из него особенно дорогого для них друга, потеря которого болезненно отозвалась в сердце всех, кому близки лучшие надежды и лучшие воспоминания нового судебного дела.

Происходя из старинной дворянской фамилии, владевшей небольшим имением в Симбирской губернии, Мотовилов воспитывался сначала дома, а потом поступил в Училище правоведения. По окончании, в 1853 году курса, он вступил на службу в 4-й Департамент Сената – в этой практической школе многих наших цивилистов пробыл, в разных должностях, до 1858 года, когда был назначен чиновником особых поручений при товарище министра. Через год, в 1859 г., он сделался товарищем председателя 1-го Департамента С.-Петербургской Гражданской Палаты, в 1862 году временно исправлял должность товарища председателя Коммерческого Суда, а в 1863 году по выборам дворянства утвержден председателем Гражданской Палаты.

В 1866 году, 17 апреля, были открыты новые судебные учреждения в Петербурге, и председателем Окружного Суда был назначен Мотовилов. Выбор это был весьма удачен. Во главе первого по месту и времени Окружного Суда в России ставился человек полный сил и энергии, опытный юрист и, главное, один из участников в составлении Судебных Уставов – к трудам, по которым он нередко призывался в предшествующие годы. Работа, которая предстояла, была трудна и по своей сложности, и по своей новизне.

Устройство обширного Окружного Суда, предназначенного к отправлению правосудия на новых, необычных началах, требовало многих усилий и труда упорного. Нужно было установить главные начала внутренней администрации Суда, устроить и регламентировать обширную кассовую часть, составить знающий и способный применять правильно новые порядки служебный персонал и, наконец, дать толчок делам, в рассмотрение которых вносилось множество новых, еще неизведанных приемов.

Все это, главным образом, лежало на обязанности председателя. Мотовилов вышел из этого трудного положения с честью, заложив нравственный и материальный фундамент того здания, которое было потом достроено его ближайшим преемником И.И. Шамшиным, с таким умением, любовью к делу и тщанием во всех подробностях.

Трудами этих двух почтенных судебных деятелей создалось все хорошее в петербургском Окружном Суде, и если впоследствии приходилось иногда встречаться с некоторыми слабыми сторонами в его организации, то стоило лишь отбить грубую штукатурку, наложенную после, чтобы ярко выступил прекрасный рисунок, сделанный Шамшиным на фундаменте, подготовленном Мотовиловым.

Мотовилову приходилось работать и подавать практические примеры не только в знакомой и близкой ему сфере гражданского суда, но и в сфере совершенно новой для него деятельности по делам уголовным, приходилось учиться самому. Когда открылись первые заседания с присяжными, на них с особою яркостью отразились – новизна дела, своеобразность приемов обвинительно-состязательного процесса и отсутствие практически подготовленных деятелей. Заседания эти [в Петербурге] были неудачны, тянулись долго и вяло и велись без твердо установленного плана. Ведший их товарищ председателя, привыкший к кабинетной работе и к занятиям в замкнутых «присутствиях», по-видимому, растерялся, встретая лицом к лицу с живыми явлениями публичного процесса.

Судебные заседания постоянно прерывались для справок и соображений, сторонам предлагалось высказаться по предметам, не подлежащим их ведению, и в виде *вопросов* возбуждалось многое из того, что в сущности было непререкаемым правилом. Это производило неблагоприятное впечатление.

Тогда Мотовилов, цивилист по специальности, принял, прервав свой отпуск, ведение этих дел на себя. Целый месяц председательствовал он с присяжными, в глубоком сознании того, что от первых шагов суда присяжных зависит многое в прочности этого учреждения, и выказал столько умения, понимания существа новых порядков и знания, что поставил дело сразу на правильный путь. Он оставался председателем суда около двух лет, а марте 1868 г. был назначен прокурором Судебной Палаты в Москву.

По складу ума и характера, его более привлекала спокойная деятельность гражданского судьи, да и привычка жить в Петербурге привязывала его к этому городу. Несмотря на это, он с особою энергиею принялся за новую деятельность, сознавая как нужны были в это время созидания судебных порядков, во всех отраслях судебной деятельности стойкие и упорные работники, добрые сердцем и сильные трудом служилые люди.

В июле 1870 г. Мотовилов был переведен прокурором Судебной Палаты в Петербург, а в ноябре назначен председателем Департамента Судебной Палаты, где он мог снова вернуться к занятиям гражданскими делами, в которые он всегда вносил непререкаемый авторитет глубокого знания. В марте 1872 года, он был назначен сенатором гражданского департамента, а с 1878 г. членом соединенного присутствия 1-го и Кассационных Департаментов Сената. Высокому назначению этого учреждения быть высшею инстанциею для надзора за правильностью действий судебных учреждений вполне соответствовало присутствие в нем Г.Н. Мотовилова.

Ему на практике, по личному опыту и личному труду, было известно положение наших судов, прокуратуры и следственного института, и, оценивая их деятельность, он мог являться и являлся не одним применителем закона с формальной его стороны, а лицом, знакомым с живыми условиями деятельности этих учреждений на практике.

Горячий сторонник новых судебных учреждений, он ревниво оберегал их прочность и достоинство и от мер, которые могли бы поколебать эту прочность, и от людей, которые своими неправильными служебными действиями могли уронить это достоинство.

Приняв участие в зарождении новых учреждений, отдав на служение им много лет своей жизни, он, в последние свои годы, был призван охранять эти, дорогие ему, учреждения от порчи и ошибок и вносил в эту деятельность ту душевную теплоту и ту стойкость взглядов, которые животворят и укрепляют всякое дело.

Смерть похитила его слишком рано, и весть о его кончине была встречена общим, неподдельным сожалением. Все, кто знал о его деятельности, почувствовали, что одним благородным деятелем стало меньше, все, кто знал его лично, почувствовали, сверх того, что стало меньше одним истинно добрым, безупречным человеком.

Потеря Мотовилова для петербургского Окружного Суда была личною потерей. Он принадлежал до последних дней жизни этому суду не менее, чем месту своей окончательной деятельности. Есть люди, для которых учреждение, с коим связана их деятельность, есть не более как станция на пути дальнейшего служебного движения. Оставлено учреждение – покинута эта станция – и его нередко забывают или относятся к нему равнодушно, как к чему-то далекому и чужому...

Но не все таковы. Есть и такие, для которых учреждение, которому отданы лучшие силы и лучшие годы, является дорогим и незабвенным, является местом родным, с которым невольно делятся его радости и его тревоги, – которое не выходит из памяти, потому что не выходит из раз принадлежавшего ему сердца. Образуется взаимная связь, прочная и сознательная, не разрушаемая, а укрепляемая временем.

Такую связь, такое участие мы встречали когда-то у профессоров и большинства слушателей, по отношению к месту их высшего образования, к их alma mater. То же должно существовать и между судьей и судом, которому он служил сознательно и честно.

Мотовилов принадлежал к людям последнего рода. Он никогда не разрывал и не ослаблял своей связи с судом, в который вступил в трудные и серьезные времена. Ему приходилось иметь дело с «мехами новыми и вином новым», – приходилось не только создавать, но и создавать, вырабатывать материал. Он, в деле устройства первого Окружного Суда в России, был не только строителем, но и чернорабочим.

Эту трудную работу приходилось совершать притом в обстановке недоброжелательства со стороны отживавших форм общественной и судебной жизни. Внешние затруднения возникали постоянно, на каждом шагу. Нужно было много такта, самообладания, веры в свое дело и любви к своему призванию, чтобы не устрашиться осложнений и без того не легкой задачи, чтобы не поколебаться духом и не поступиться чем-нибудь существенным, при первом приложении к жизни основ новой судебной деятельности.

Это было трудное время. Но это было, вместе с тем, и хорошее время. Хорошее – *внутри суда*. Не многим уже памятна та вера в будущее судебных учреждений, то сознание высокой общественной задачи нового суда, та любовь к делу и та строгость к самим себе, которыми отличались первые деятели новых учреждений. И этот внутренний склад установился в петербургском Суде, на первых порах в значительной степени под влиянием Мотовилова, который поддерживал и развивал его своим словом и своим делом, своим примером и своим горячим участием к новой деятельности.

Мне отрадно вспомнить, с каким тревожным участием относился покойный к тем из состава нашего Суда, которым пришлось вступить в период нареканий и сурового недоброжелательства по поводу уголовного процесса, наделавшего в 1878 году много, долго не утихавшего, шума*.

Не мне, во всяком случае, разбирать справедливость этих нареканий, но я могу засвидетельствовать, что Мотовилов не разделял их и удивлялся тем требованиям, которые предъявлялись суду, действующему при участии и помощи представителей общественной совести. Он приходил со словом ободрения – и в тяжелые минуты, переживаемые теми, к кому он обращал это ободрение, – прямодушное слово *настоящего* судьи было немалым утешением.

Это был человек редкой искренности, имевший полное право избрать девизом знаменитое германское изречение: «Wahrheit gegen Feind und Freund!» Его подчас суровый вид не обманывал никого из имевших с ним дело. И сколько людей, к которым иногда Георгий Николаевич относился со строгою требовательностью – бывало впоследствии тронут, вспоминая его участие к их горю, к их житейским скорбям... вспоминая широкую помощь, которую оказывал им в тяжелые минуты этот суровый по внешности человек...

**А.Ф. Кони. Отцы и дети судебной реформы
(К пятидесятилетию Судебных Уставов, 20 ноября 1914 г.)
Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1914**

<...> Со стороны бабушки я родословную знаю только от прадедушки Флориани (тоже был дворянин, итальянец, учился в Германии, у меня есть его диплом), а со стороны Мотовиловых можно было бы дальше найти. В библиотеках есть справочный отдел.

* Речь идет о процессе над В.И. Засулич, которая в 1877 г. стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова и, к счастью, лишь ранила его. Как известно суд присяжных петербургского Окружного суда, оправдал В.И. Засулич, и она даже успела бежать за границу!

Узнайте там, в каком издании словаря Брокгауза и Ефрона (их не так много было) есть заметка (статья) о Георгии Мотовилове, который был сенатором и деятелем Судебной реформы [18]60-х годов. Его портрет висел в зале Судебной палаты в Петербурге. Это с ним был знаком Танеев, и о нем есть воспоминания Кони. Он почему-то был беден, учился на счет дедушки Ивана Егоровича, и, не будучи богатым помещиком, вынужден был служить, потому и выдвинулся. Сын его [Николай] был в мое время прокурором Сената. Мы с ним были знакомы. Сейчас же после статьи о Г. Мотовилове идет родословная Мотовиловых.

Из писем С.Н. Мотовиловой И.Р. Классону (ф. 9508 РГАЭ)

<...> У меня нашлась еще одна родственница [(Нина Николаевна Мотовилова из Ленинграда)]. Мне переслали ее письмо из «Нового Мира». Это по линии Георгия Николаевича Мотовилова, деятеля судебной реформы времен Александра II, с которым Танеев был знаком. Кто она, что из себя представляет, понятия не имею. Когда [моя подруга по Бес-тужевским курсам Елизавета Константиновна] Свешникова сидела в тюрьме [(работала, как большевичка, в Петербургской военной организации и судилась военным судом по одному процессу с Крыленко)], я пришла с ее матерью хлопотать, чтоб до суда ее выпустили на поруки.

Прокурор меня спросил: «Прокурор Сената [Николай Георгиевич] Мотовилов – Ваш отец?» Я с достоинством ответила: «Нет, мой дядя». О том же, что его никогда не видела и вообще имею о нем слабое понятие, я скромно умолчала *. Свешникову выпустили сейчас же на поруки. Ну, так это его [(Н.Г. Мотовилова)] дочь. Сам он умер в 1911 году.

<...> Вообще, уже задолго до революции 1917 года царская власть разрушалась. Помню такое: я жила [в 1914-м] на Васильевском острове, а Свешникова – на Разъезжей. Мы пошли в Александринку. Это было близко от Свешниковой, и я ночевала у нее [после] театра. Ночью у нее был обыск. Меня арестовали и повели в ближайший полицейский участок. А Свешниковой полицейские сказали: «Мы барышню тут подержим, а вы поезжайте и уберите у нее на квартире, что там есть лишнего».

По правде сказать, «лишнего»-то у меня ничего и не было. Но Свешникова увезла все письма. Часа через два приехала я с полицейскими. Они стали делать тщательный обыск. Моя хозяйка (очень глупая баба) сообщила: «Тут какая-то приезжала и что-то забрала». Но полицейские продолжали обыск и не слушали ее.

Из писем С.Н. Мотовиловой В.Н. Ульяновой (ф. 786 отдела рукописей РГБ)

Гр. Джаншиев. Судебные уставы Александра II **

<...> В апреле-июле 1862 г. «Главные начала», выработанные государственною канцеляриею, были рассмотрены соединенными департаментами Государственного совета. Общее собрание совета рассмотрело их 27 августа, 3 и 4 сентября 1862 г. <...> Оставалась еще трудная и сложная работа составления новых проектов Уставов, согласно Высочайше утвержденным «Основным положениям», но это была трудность чисто юридическая, техническая. Для составления проектов Судебных Уставов образована была при государственной канцелярии комиссия, к которой привлечены были лучшие юридические силы, начиная от сенаторов и профессоров и кончая присяжными стряпчими и следственными приставами.

* Сопоставление писем к двум адресатам оставляет нас в недоумении: была знакома С.Н. Мотовилова со своим двоюродным дядей Н.Г. Мотовиловым или все-таки нет?

** Сей автор написал ряд книг по судебным реформам эпохи Александра II, например:

Гр. Джаншиев. Страница из истории судебной реформы, 1883.

Гр. Джаншиев. Из эпохи великих реформ, 1893 (4-е издание).

Председателем был назначен В.П. Бутков. Комиссия разделилась на три секции. В состав гражданской секции входили: председатель С.И. Зарудный, члены К.П. Победоносцев, Н.В. Калачов, А.Ф. Бычков, С.П. Шубин, председатель курской гражданской палаты Щечков, товарищ председателя екатеринославской палаты Гурин, А.П. Вилинбахов, А.А. Книрим, Г.К. Репинский, князь И.С. Волконский, О.О. Квист и Баршевский. (Желая представить по возможности полный список лиц, принимавших участие в великом деле судебной реформы, приводим и имена приглашенных экспертов. Таковыми были: гг. Эссен, Тюрин, Фриш, Мотовилов, Ионим, фон-Дервиз, Самарский-Быховец, проф. Вицын, Крейтар, граф Комаровский, Шульц, Безсонов, Мадьянов, Заблоцкий-Десятовский, Семнов, Куломзин, Гирс.)

«Русские ведомости», 20 ноября 1889 г.

Судебный персонал, при коем открыты были в 1866 г. новые судебные установления

Одною из трудных задач при введении Судебных Уставов в действие было назначение на новые многочисленные и разнообразные судебные должности. Министр юстиции Дмитрий Николаевич Замiatин блистательно выполнил эту задачу подбором персонала, огромное большинство коего оказались талантливыми, знающими юристами, безукоризненно честными людьми и образцовыми судьями. Приводим поименный список наиболее важных должностных лиц.

<...> С.-Петербургский окружной суд

Председатель – Мотовилов

Товарищи председателя – Синицын, Понафидьин, Граве, Книрим

Члены суда – Джунковский, Шахов, Сербинович, Грум-Гржимайло, Миловецкий, Славянский, Ильяшенко, Тимофеев, Лерхе, Лихачев, Богаевский

Прокурор суда – Шрейбер

Товарищи прокурора – Плещ, Евреинов, Якоби, Андреев, Утин, Александров, Трейтер, Веницкий, Каспарович, Стадольский, Куприянов.

«Русские ведомости», 17 апреля 1891 г.

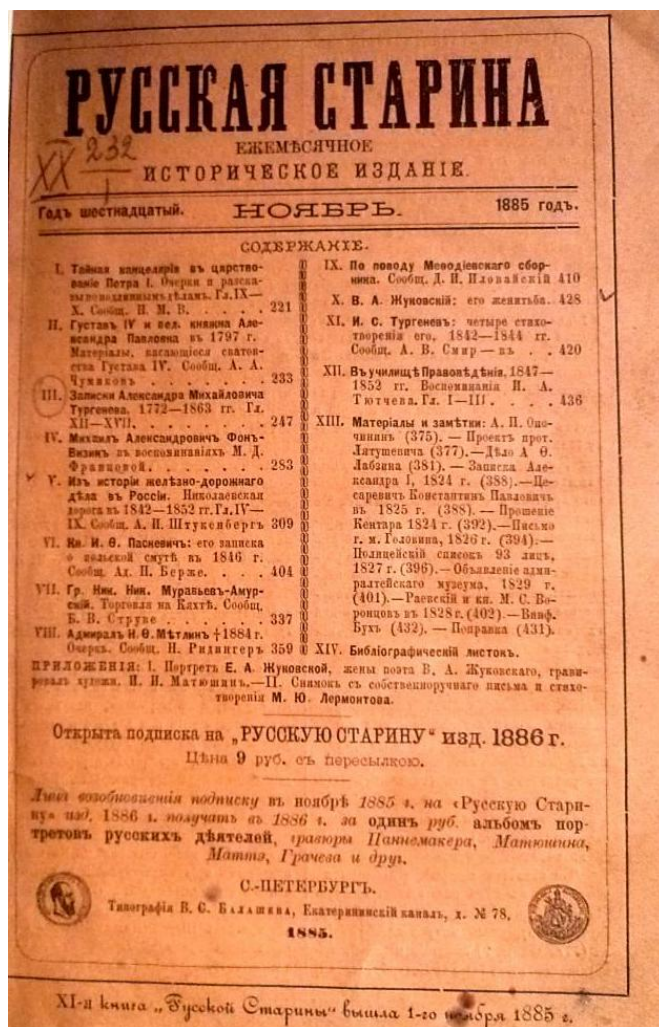
**В училище Правоведения (1847-1852 гг.). Воспоминания И.А. Тютчева* ;
«Русская Старина», 1885, №№11 и 12 (ноябрь и декабрь), 1886, №2 (февраль)**

I.

Истории учебных заведений, в особенности издаваемые по какому-либо случаю начальством, знакомят с внешнею жизнью заведений, с их официальным бытом, упуская из виду более интересную внутреннюю жизнь, их, так сказать, домашний быт.

Сведения об этом последнем чаще всего встречаются в воспоминаниях бывших питомцев. К сожалению, эти воспоминания обыкновенно обхватывают очень короткий период времени, да и весьма немного находится охотников передать письму или печати свои личные воспоминания, сохранившиеся впечатления детского или юношеского возраста, а между тем воспоминания эти небезынтересны как пополнение и уяснение внешней истории. Вот эти соображения и предстоящее в текущем году празднование пятидесятилетнего юбилея училища правоведения побудили меня взяться за перо и набросать свои личные воспоминания об этом училище, за время с 1847 по 1852 год. Может быть, они будут небезынтересны для бывших воспитанников правоведения, как предания не старины глубокой, но им памятной.

* Иван Артамонович Тютчев (1834-92) вышел из Училища правоведения в 1852 г., не доучившись двух лет, зато в 1856-м окончил курс в С.-Петербургском университете со степенью кандидата естественных наук. Занимался химией и кристаллографией. Дальний родственник поэта Федора Ивановича Тютчева (1803-73). Оба происходили от Бориса Матвеевича Слепца-Тютчева (ок. 1440 – ок. 1500) и его сына Петра.



В начале августа 1847 г., вместе с другими воспитанниками пансиона покойного Эмме (куда я был помещен моим отцом в мае месяце того года), предназначавшимися к поступлению в училище правоведения, я чуть ли не ежедневно являлся на экзамены в училище. Экзамены в несколько дней были окончены, и дня черев два или три, по окончании их, в пансионе нам объявили, кто выдержал экзамен и принят, а кто провалился; в числе принятых оказался и я.

Принятые, если не ошибаюсь, 16-го августа утром должны были явиться в училище. Настал назначенный день и выдержавшие экзамен начали около девяти часов утра собираться в училище; некоторые явились в сопровождении родных, мы же, пансионеры Эмме, прибыли сами. Всем поступившим сделали перекличку, и нас принял наш воспитатель, добрейший Егор Иванович *Кайш*.

После переклички нас отвели в спальню, где мы подверглись медицинскому осмотру, а затем целое утро прошло в распределении между нами коек или нас по койкам.

В двенадцать часов раздался звонок, и все младшее отделение бегом бросилось в столовую. Меня сбили с ног, и я скатился вниз по лестнице, ведущей в столовую. Это послужило мне уроком на будущее время — идти в числе последних, пропустив вперед всех стремившихся засесть за обеденный стол несколькими минутами прежде других. В то время, как и теперь, воспитанники училища разделялись на два отделения: старшее, состоявшее из питомцев первых трех классов, и младшее — из питомцев четвертого, пятого, шестого и седьмого, самого младшего, класса. Распределение времени в обоих отделениях было различное: старшее отделение вставало, обедало, ужинало и ложилось спать часом позже младшего.



*Оригинальный вид Императорского Училища Правоведения,
до его перестройки П.Ю. Сюзором в 1893-95 и 1909-10 гг.*



*Здание бывш. Императорского Училища Правоведения в наши дни
(наб. реки Фонтанка, д. 6)*

Младшее отделение вставало в 6 часов, обедало в 12, ужинало в 8 и ложилось спать в 9. Классы, рекреационная зала и дортуары обоих отделений были отделены друг от друга, так что воспитанники старшего отделения не смешивались с воспитанниками младшего, даже в свободное от занятий время. Лазарет и церковь были общие. Оба отделения сходились только в церкви.

Во время моего поступления директором училища состоял Семен Антонович *Пошман*^{*}. Не помню, видал ли я его когда-либо, так как в это время он был болен и через несколько месяцев (в декабре) умер. Должность директора, во время болезни Пошмана и до назначения ему преемника, исправлял инспектор классов, Александр Иванович *Кранихфельд*. Заведывание каждым классом поручалось особому воспитателю и, как я сказал, нашим был Егор Иванович Кайпш.

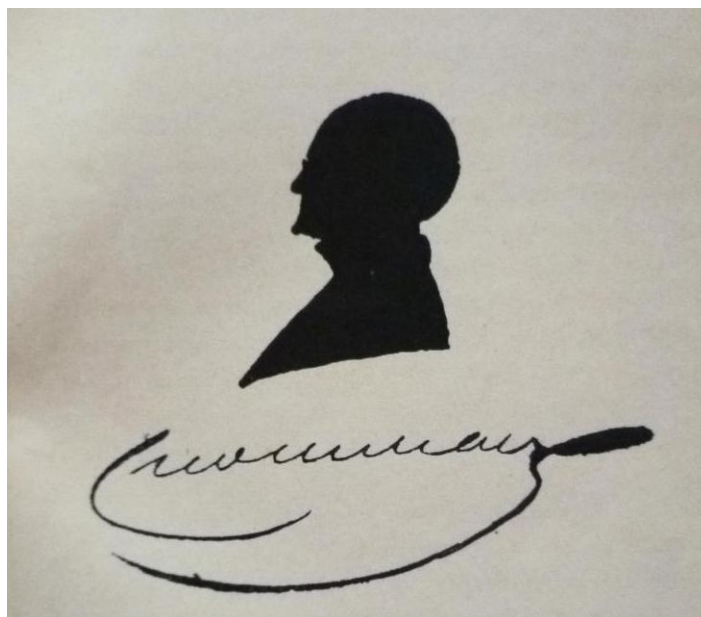
Воспитатель в то время, вместе с своими питомцами, переходил из класса в класс и заведывал ими до самого выпуска их из училища. По выпуске же снова получал в свое заведывание младший класс, состоявший из вновь поступивших воспитанников.

Жизнь новичка в училище, как и во всех учебных заведениях того времени, представляла некоторого рода искус, испытание. К новичку приставали воспитанники старших классов, проделывали с ними школьные проделки, а иногда и били их. Положение новичка, у которого были братья или родственники в училище, было несколько лучше, к ним менее приставали, да и сама акклиматизация их в училище совершалась легче. Жаловаться на тяжелое житье, на дурное обхождение старших классов считалось если не бесполезным, то всяком случае чем-то зазорным.

Что бы ни говорили против такого варварского обхождения с новичками, но оно имело хорошую сторону: оно служило к образованию характера и вынуждало создавать в отношении к товарищам такое положение, чтобы не нуждаться в посторонней, внешней помощи. Воспитатели, по всей вероятности, знали о положении новичков, но не вмешивались в отношения товарищей между собою. Вообще жалобы товарищей друг на друга были крайне редки, а о доносах, наушничании и тому подобных прелестях в то время и помину не было.

Но я уклонился несколько от фактического изложения о первых днях жизни в училище. Первые дни прошли в снятии мерок для шитья форменной одежды, в пригонке сапог, белья и т.п., в раздаче воспитателем тетрадей, перьев, учебных книг, в разъяснении правил, установленных для воспитанников в стенах училища и вне оно. В ближайший праздничный день нас отпустили домой, но не в форменном платье, а в партикулярном, приказав нам явиться из отпуска в девять часов вечера того же дня.

^{*} Пошман Семен Антонович (1788-1847). 10 июня 1835 г. П. был назначен членом Консультации при Министерстве Юстиции и директором вновь открытого Императорского Училища Правоведения. В этой должности П. оставался до своей смерти в 1847 году. Воспоминания бывших воспитанников Училища рисуют П. человеком строгим с виду, но на деле до слабости добрым и искренно заботившимся о своих питомцах. «Первый директор Училища, С.А. Пошман, – говорит воспитанник 1-го выпуска, М.М. Молчанов, – был человек, как говорится, строгих правил. Военный служака, он внес в гражданское училище военную дисциплину и безмолвное повиновение высшему начальству. Все время управления Училищем он оставался верен раз принятому принципу и держал все и всех в ежовых рукавицах. Мы все побаивались его не на шутку – это правда, но правда и то, что в самом этом страхе юные сердца наши инстинктивно чувствовали, в этой строгости, до абсолютизма доходящей власти, желание нам добра и стремление сделать нас людьми чести и порядка» (М.М. Молчанов. Полвека назад. Первые годы Училища Правоведения. С.-Пб., 1892). По словам В.В. Стасова, П. «был довольно строг, порядочный крикун, но в сущности добрый человек и никого не сделал несчастным из всех сотен мальчиков и молодых людей, попавшихся под его начало» (Воспоминания В.В. Стасова. «Русская Старина», 1880, №12 и 1881 г. №№ 2, 3 и 6)... У себя на квартире П. устраивал иногда вечера и домашние концерты, приглашая на них лучших воспитанников, которые, в общем, сохранили о нем добрые воспоминания. – *Русский биографический словарь ИРиО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*



*Директор Училища Семен Антонович Пошман (1835-47)**

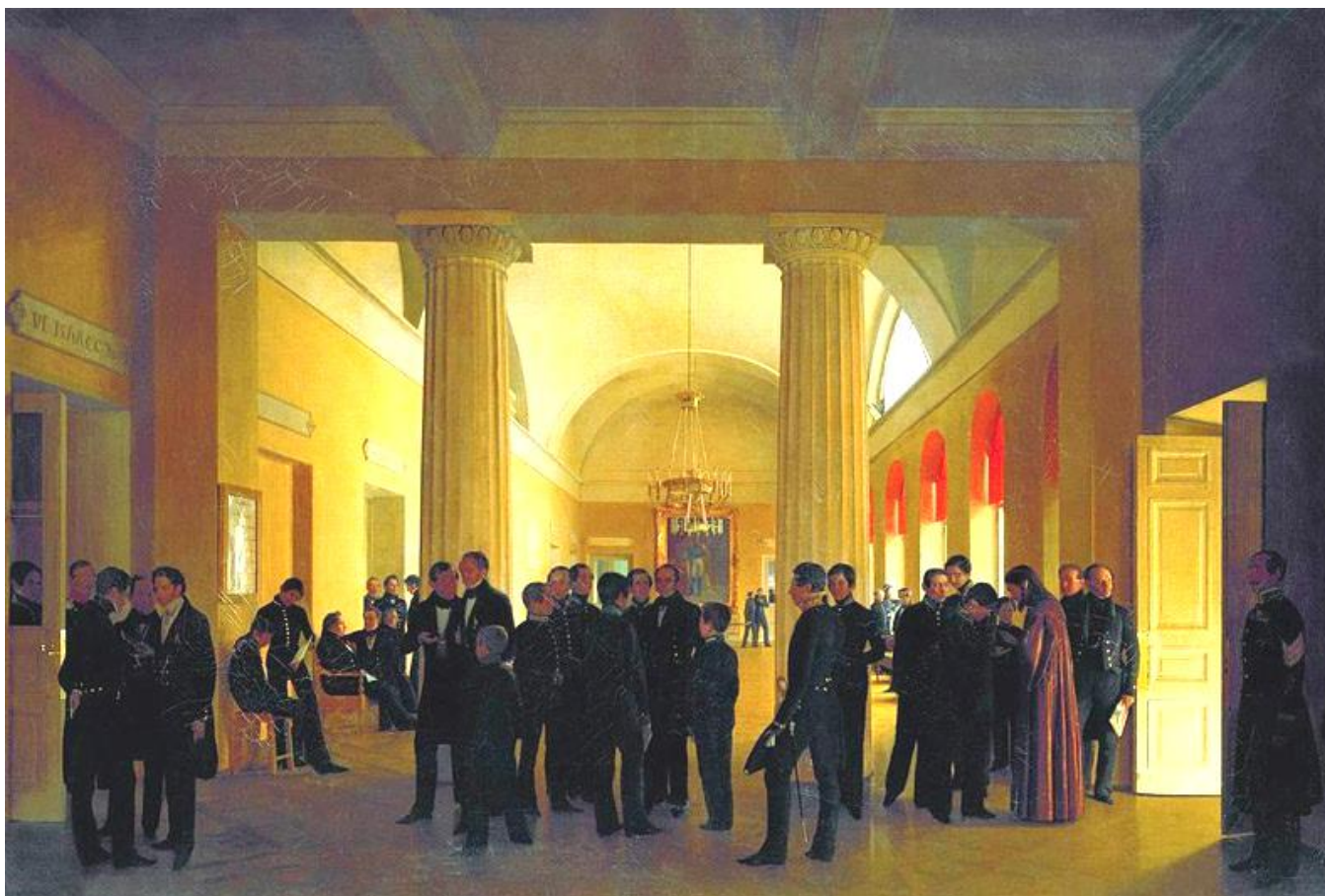
В то время отпускали из училища по воскресным и праздничным дням после обедни, и только по особым ходатайствам родителей или родственников дозволяло начальство некоторым уходить домой накануне праздника или воскресенья. Дома можно было ночевать только в случае двух праздничных дней, приходившихся кряду.

В будние дни, если память не изменяет мне, время в нашем отделении распределялось так: воспитанники вставали в 6 часов утра, их будили дядьки и воспитатели. Помнится мне один воспитатель, имевший обыкновение во время своего дежурства будить заспавшихся воспитанников, стаскивая одеяла и приговаривая: «*mon cher, торопись спать, сейчас последний звонок*», или другой, летавший по дортуару и ударявший ключами по железным койкам с возгласом: «*mon rasch, mon rasch...*»? что означало: *machen sie rasch!* [(поскорей! поживей!)] Кайпш поднимал воспитанников, выступая посредине широкого прохода между койками, с возгласом нараспев: «вста-авайте, вста-авайте!»

Из спальни, в половине седьмого, все гурьбой отправлялись в столовую; по пути один напяливал куртку, другой затягивал запряжник, третий закреплял галстук и т.п. Общей молитвы не было: усмотрению каждого предоставлялось молиться как он знает и сколько ему угодно, лишь бы в полчаса он успел умыться, одеться и, одним словом, сделать свой туалет. Утром в столовой давался ржаной кофе и кипяченое молоко. В семь часов воспитанники отправлялись в класс готовить уроки, а в девять часов начинались последние. Уроки были полуторачасовые и продолжались до двенадцати часов, с перерывом в десять минут. После обеда начинались с двух часов и продолжались до пяти.

После уроков давали по куску хлеба с маслом. Воспитанники любили хлеб с маслом помещать в душник, находившийся в классе. Хлеб, пропитавшийся растопленным маслом, оказывался вкуснее, но зато нередко из душника по стенкам текли потоки масла и образовывали жирные пятна. В половине седьмого начинались вечерние приготовления уроков и продолжались до восьми часов; в восемь шли ужинать, после ужина в спальню, а в девять все должны были ложиться спать. Во время приготовления уроков, — что делалось в классе, — присутствовал воспитатель класса.

* Подобные силуэты помещены в книге Мефодия Мироновича Молчанова (вып. 1845 года) — «Полвека назад. Первые годы училища правоведения в С.-Петербурге», СПб., 1892; а выполнены они были пером талантливого правоведа-портретиста Константина Дмитриевича Данилова (вып. 1850 года). В скобках под профилем приведены годы службы изображенного персонажа в Училище правоведения.



*Зал Училища Правоведения с группами учителей и воспитанников;
художник С.К. Зарянко (1840 г.)*

В обоих отделениях, в течение дня, дежурили поочередно по одному воспитателю; из них один оставался ночевать в училище и располагался в младшем отделении на особом кресле. Я забыл упомянуть, что утром, до начала уроков, посещал училище доктор; помню его фигуру в белом галстуке, виц-мундире, с шляпой старинного фасона. К нему воспитанники обращались за медицинской помощью, состоявшей в том, что действительно больных он отправлял в лазарет, жаловавшимся на кашель и мнимое страдание груди он назначал красные порошки, а жаловавшимся на страдание желудка – назначал, смотря по расположению духа, касторовое масло или же скромное кушанье в постные дня.

Quasi-больным, являвшимся в понедельник, предлагался габер-суп, очень невкусное блюдо, по мнению большинства воспитанников. Относительно красных порошков существовало у моих товарищей убеждение, что это толченый кирпич, и я только впоследствии узнал, что это *sulfur auratum antimonii* *.

По средам и пятницам нас круглый год угощали постным кушаньем и часто давали манную кашу с каким-то миндальным запахом. Некоторые воспитанники уверяли, что запах происходит от *savon aux amandes amères* [(мыла с горьким миндалем)], прибавленного к каше. На эти-то постные дни приходился наибольший процент жаловавшихся на страдание желудком.

* В прежние времена очень увлекались препаратами Сурьма, назначая таковые при самых разнообразных заболеваниях, в настоящее же время применение Сурьма в медицине очень ограничено. Изредка назначаются: <...> 2) Пятисернистая Сурьма (*Sulfur auratum Antimonii*) — трудно растворимый в воде оранжевый порошок, который часто назначается как отхаркивающее средство. — Из энциклопедии Брокгауза и Ефрона

Через несколько дней, когда форменная для нас одежда была готова, нам объявили, что приедет его высочество принц Ольденбургский, смотреть нас. В назначенный день по училищу пронеслись слова: «его высочество», нас кой как построили в рекреационной зале, служившей коридором перед классами, построили, т.е. установили по линии паркета; ранжир и равнения вышли плохи. Явился перед нами его высочество; его сопровождал, в числе начальства, и наш воспитатель.

Его высочество уже тогда был пожилых лет, несколько сутуловат, с большим носом, редкими рыжеватыми волосами и с усами, торчавшими щетиной. На нем был преобразенского полка мундир. Его высочество особенно любил этот мундир и постоянно его носил, и я только раз его видел в форме стародубского кирасирского полка, которого он состоял шефом. Его высочество считал своею обязанностью каждого из нас спросить о чем либо; меня, например, спросил: не мои ли сестры воспитываются в Смольном, не сын ли я поэта? Невзирая на мои отрицательные ответы, его высочество эти вопросы задавал мне во все время моего пребывания в училище.

Той же участи подвергались и все мои товарищи. Его высочество любил осматривать наше обмундирование и постоянно заботился, чтобы не был тесен воротник, платье не давило грудь, не был туго перетянут запряжник и т.п. Во время пребывания в училище, мы не могли ценить душевных качеств его высочества и только впоследствии, много лет спустя по выходе из училища, я узнал сколько любви и участия к ближнему скрывалось в его высочестве и сколько он делал добра, оказывая помощь всем тем, кто к нему обращался. Весть о его кончине заставила многих пролить искренние слезы сожаления...

Смотр прошел, как и всегда, благополучно; его высочество уехал, как и всегда, довольный тем, что ему показывали в училище. После смотра его высочества нас стали увольнять в отпуск в форменной одежде. Я помню маленький казус, случившийся со мною в первый же день, как только в форменном платье я отправился домой.

Наш головной убор составляла трехуголка. Выйдя из училища, я около директорского подъезда столкнулся с воспитателем, Алексеем Симоновичем *Андреевым*; желая оказать ему почтение, я снял совсем трехуголку и тотчас же, вместо ответа на мой поклон, услышал: «Государь мой, да где же это видано, чтобы снимали трехуголки на улице? Следует не снимать, а приложить к кокарде руку». Чтобы доказать, что наставление не пропало даром, я надел трехуголку, да, второпях, кокардой на левую сторону, и приложил к ней руку. Опять последовало новое замечание, и уже на этот раз Алексей Симонович помучил меня, заставив раз десять отдать честь. Отпустил же он меня с наставлением: «Помни, государь мой, как следует отдавать честь, да не попадайся великому князю Михаилу Павловичу».

Нужно заметить, что в училище господствовало верование, что великий князь Михаил Павлович терпеть не может правоведов и из-за него не раз доставалось нам от начальства. Помню, как-то мой товарищ, *Шванебах*, встретившись с великим князем Михаилом Павловичем, не отдал ему чести; его высочество, отобрав от Шванебаха [отпускной] билет, приказал тотчас отправиться в училище и обо всем доложить начальству.

Злополучного Шванебаха начальство тотчас же посадило в карцер, о чем мы узнали, явившись из отпуска в назначенный час в училище. И, отходя ко сну, долго рассуждали, что будет с Шванебахом, отделается ли он карцером, или же его постигнет более горькая участь – исключение. Мнения по сему случаю были разноречивы. Большинство, однако же, заснуло с верой, что дядя Шванебаха, состоявший секретарем при нашем принце, спасет племянника от беды.

Дело кончилось тем, что Шванебаха выпустили из карцера, но из училища не исключили, а всем нам строго настрого приказали не зевать на улицах, отдавать честь его высочеству, царской фамилии (которых мы знали только по портретам) и всем генералам.



Принц Петр Георгиевич Ольденбургский, художник Жозеф-Дезире Кур, 1842 г.



Воспитанник Императорского Александровского лицея (слева) и воспитанник Императорского Училища Правоведения (справа)

Перейду теперь к преподаванию и преподавателям.

II.

Закон Божий преподавал протоиерей Михаил Измаилович *Богословский*; он же преподавал в IV классе логику, а в III – психологию*. Два низшие класса на его уроках сходились вместе; в этих классах один год преподавалась священная история ветхого завета, а другой – нового завета. На долю нашего [седьмого] класса выпало, если не ошибаюсь, изучение сначала нового завета, а затем, в шестом классе, мы слушали ветхий завет. Богословский обыкновенно пол-урока спрашивал, а пол-урока объяснял. Так как от соединения двух классов число учеников доходило до сорока или до пятидесяти, то, в видах контроля, он назначал мониторов.

Монитор имел в своем ведении пятерых воспитанников и был обязан перед уроком их выпросить, поставить им отметки и при входе в класс Богословского подать их ему. Был и я назначен монитором, но пребывал в сем звании недолго, очень недолго. Под моим ведением, как монитора, находились отчаянные лентяи.

Как теперь помню, когда следовало спросить их урок, то первый, мой земляк, Вельяминов, запротестовал и потребовал, в надежде – авось Богословский не спросит, отметки 9 (у нас была 12-балльная система), за ним следующий – 10 и, наконец, грузинский князь – 12. В простоте сердечной и положившись на авось, я удовлетворил их желанию.

На беду, Богословский спросил первого князя; тот, что говорится, ни в зуб, за ним следующего – тот то же; на проверку оказалось, все, находившиеся под моим ведением, урока не знают. Вызывает Богословский меня; я ответил урок удовлетворительно. – «Ну, зачем же ты наставил им такие отметки?» – «Виноват, положился на их совесть». – «Ну, так стань-ка к стенке, мне не нужны такие мониторы, которые полагаются на совесть». И сейчас же был назначен другой монитор на мое место. Целый урок я простоял у стенки и благословлял судьбу, что она избавила меня от мониторинга.

В пятом классе Богословский преподавал объяснение богослужения и занимался с нами переводами текстов, встречающихся в пространном катехизисе. В четвертом классе он не преподавал, а заставлял зубрить пространный катехизис Филарета. Это дословное заучивание катехизиса было крайне обременительно и не по сердцу большинству воспитанников.

Как-то один из воспитателей, немецкого происхождения, в разговоре с Богословским заметил, что воспитанники жалуются на то, что он заставляет задалбливать катехизис и не позволяет отвечать своими словами, а в заключение спросил: «неужели же это необходимо?» В ответ на этот вопрос, Богословский поставил следующую дилемму: «воспитанник своими словами не скажет лучше, чем изложено в катехизисе, а хуже ему, Богословскому, не нужно».

В четвертом классе, как я заметил, Богословский преподавал логику и я должен сознаться, что этот курс составлен был прекрасно. Впоследствии мне попалась логика профессора Струве, для гимназий варшавского учебного округа, и она мне сильно напомнила курс Богословского, с тою разницею, что вторая часть логики (архитектоника) Богословским излагалась гораздо пространнее. В логике Богословского меня поражали примеры, вроде следующего: веря в сказания Моисея, следует отвергнуть все учения геологов и других ученых и т.д. Казалось бы, что логика не должна касаться верований: исследуя законы и формы мышления, она не должна выходить из области положительного знания.

* Богословский, Михаил Измаилович (1807-84) – доктор богословия, в 1835 г. (в год основания) был назначен настоятелем Екатерининской церкви Императорского училища правоведения и вместе с тем законоучителем и преподавателем логики и психологии в училище, в 1856 г. получил звание заслуженного профессора.



Михаил Измаилович Богословский

В третьем классе Богословский, по закону Божию, преподавал о инославных и иноверческих вероисповеданиях. Чтения его по этому предмету были для меня в высшей степени занимательны. В этом же классе он преподавал и психологию, но что это была за психология – об этом у меня исчезло всякое представление; помнится только, что она не была похожа на психологию настоящего времени.

В двух старших классах преподавалась история церкви и каноническое право, о чем я не имею понятия, так как оставил училище, будучи в третьем классе.

Богословский – человек ученый, достойный, за свою священную историю, степени доктора богословия, был, как уверяли, знатоком греческого языка и вообще человеком образованным, но он поражал как бы презрением к образованию. Так, если ему случалось произносить французскую или немецкую фразу, то он умышленно произносил ее с убийственным семинарским акцентом; латинское слово seu [(или)] выговаривал [как] «сев» и т.п. Имя бывшей и производившей в то время в Петербурге фурор артистки Рашель он произносил [как] «Рахиль», с добавлением – «поганая» или что-то в этом роде.

Воспитанники боялись Богословского и были убеждены, что и само начальство, не исключая и принца, его побаивается; по их мнению, в совете училища Богословский играл, так сказать, первую скрипку. Так ли это было на самом деле – не знаю; во всяком случае, личность Богословского, очень замечательная, представляла много загадочного. Что Богословский мог иметь на молодое поколение влияние, это для меня несомненно.

Много лет по выходе из училища, я встретился с одним из более юных правоведов, который просто молился на Богословского и под его влиянием сделался религиозным фанатиком. Религиозный фанатизм и свел его преждевременно в могилу.

Русский язык в двух низших классах преподавал *Иванов*^{*}. В пятом классе он же преподавал риторику, а в остальных четырех высших классах русскую словесность читал *Георгиевский*. Иванов, кроме того, занимал должность секретаря [педагогического] совета. Воспитанники, не знаю почему, называли его «Окуньком». Иванов заставлял нас зубрить грамматику своего сочинения; из нее я помню только эпиграф, взятый из Ломоносова: «тупа оратория, косноязычна поэзия, непонятна философия без грамматики».

Много изданий выдержала грамматика Иванова, и во времена попечительства Витте в Царстве Польском была очень распространена в варшавском [учебном] округе; что могли из нее вынести поляки – не знаю, они довольны были тем, что она не объемиста. Руководством в пятом классе служила книжка Георгиевского; из нее мы почерпали сведения о гиперболах, синекдохах, метонимиях и тому подобных прелестях. Примеры там приводились из писателей допушкинской и пушкинской эпохи. Некоторые из них почему-то заменялись другими. Между Ивановым и воспитанниками существовали хорошие отношения.

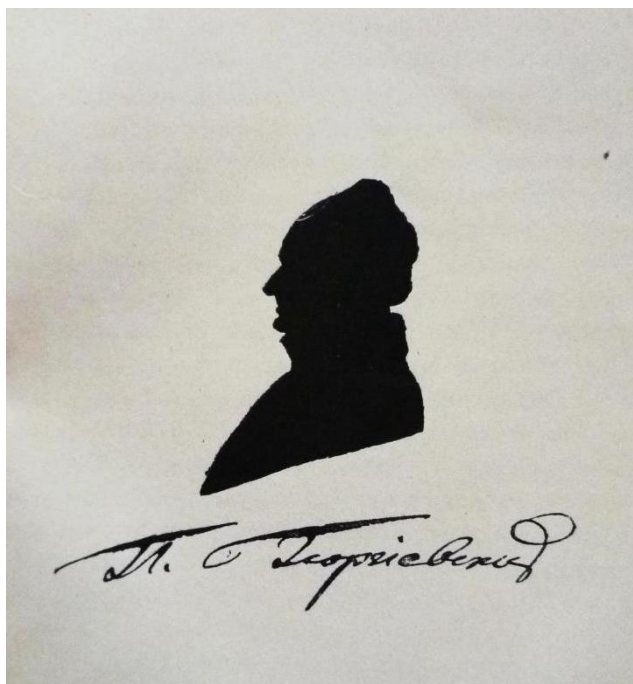
В высших классах я изучал российскую словесность у Георгиевского, прозванного воспитанниками *батинькой*. Георгиевский был наставником Пушкина и сохранял до самой смерти должность профессора в [Александровском] лицее и в училище правоведения^{**}. Воспитанники училища должны были зубрить в пятом классе, по его руководству, риторику, а затем, в старших классах, продолжать зубрежку более объемистого сочинения Георгиевского: «Руководство к изучению русской словесности». Творения Георгиевского у нас известны были под именем «малая и большая чепуха»; в лицее – под названием «малой бутылки» и «большой бутылки кислых щей».

В классе у Георгиевского происходили безобразия невообразимые. Тишина и порядок водворялись только тогда, когда *батинька* читал отрывки из писателей. Чтение им, например, ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем или «Старосветских помещиков» очень нравилось нам; в особенности *батинька* мастер был читать басни Крылова.

Я помню фурор, произведенный им чтением басни «Пустынник и Медведь» – целый класс орал ему «браво» и «бис», да так, что *батинька* вынужден был, для успокоения класса, прочитать басню во второй раз.

^{*} Иванов Ардалион Васильевич, род. в 1805 году. Окончил курс в Горном институте и Петербургском университете, затем служил в департаменте полиции, с 2 мая 1829 г. преподавал в Горном корпусе латинский язык, а потом и в Училище Правоведения (с 1835 года) русский и латинский язык. Вышел в отставку в 1853 году. Издал «Начальные правила латинской этимологии» (1832), «Русскую грамматику» (1834, выдержала 19 изданий), хрестоматию «Русский мир» (1869), кроме того несколько оригинальных и переводных, перделанных с французского пьес. – *Русский биографический словарь ИРМО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*

^{**} Георгиевский Петр Егорович (Георгиевич), действительный статский советник, профессор латинской и русской словесности, род. в 1791 году; первоначальное образование получил в Калужской семинарии, отсюда в 1811 году перешел в Педагогический институт, где и окончил курс в 1815 году. В том же году был назначен в Александровский лицей, где на него были возложены обязанности гувернера и репетитора, кроме того, преподавание русского и латинского языков в младшем возрасте лицея и пансионе. В 1816 году Г. получил звание адъюнкта при профессоре русской и латинской словесности; в 1817 году избран членом конференции. В 1828 году Г. был произведен профессором и назначен на место Кошанского; с 1835 по 1837 год Г. состоял членом хозяйственного правления в лицее, в 1836 году – членом комитета при разборе лицейского архива; с 1837 по 1843 год исполнял обязанности конференц-секретаря, кроме того, в течение трех лет состоял членом совета. В 1844 году, когда кафедра латинской словесности была отделена от кафедры русской, Г. оставил за собой последнюю. В 1835 году Г. был назначен в Училище Правоведения наставником славянского языка и русской словесности и членом местного совета; он вел преподавание в четырех старших классах. И в лицее, и в училище Г. оставался до смерти, последовавшей 16 октября 1852 года на 62-м году. <...> По отзывам учеников, он был прекрасный человек, но не даровитый профессор, лекции его отличались сухостью и схоластичностью. Георгиевским написан следующий труд: «Руководство к изучению русской словесности», С.-Пб., 1835-37, 4 части. – *Русский биографический словарь ИРМО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*



Заслуженный профессор Петр Егорович Георгиевский (1835-52)

Батинька задавал нам писать сочинения на темы очень курьезные и затем прочитывал их в классе самым курьезным образом, так что автор сам не узнавал своего сочинения. Оценку же он производил, т.е. выставял баллы, как полагали воспитанники, по длине [сочинения]: столько-то аршин и столько-то баллов. Отвечали у *батиньки* не сходя с места и некоторые пренахально раскрывали перед собой книгу и считывали, что вызывало со стороны *батиньки* замечание: «Господин такой-то, да не справляйтесь с книжицею».

Нередко *батинька* принимался увещевать расхोлившегося шалуна, подзывал его к кафедре, уговаривал остепениться, вести себя лучше и в заключение прибавлял: «ведь и Пушкин был сначала ужасный школьник, а ведь какой из него вышел поэт!» Иногда *батинька* пытался увещевать целый класс и уверял, что у него в лице сидят так, что слышно как муха пролетит. По справкам оказывалось, что при подобных же обстоятельствах в лице *батинька* заявлял: «а вот у меня в правоведении сидят так, что слышно как муха пролетит».

Иногда школяры устраивали *батиньке* бенефисы. Бенефисы бывали со звоном и без оного. Для бенефиса со звоном отвинчивалась от душника медная чашка и помещалась под возвышение, на котором стояла кафедра; там же закреплялась веревка, веревка продевалась чрез чашку и шла до самой скамьи, на которой сидел «звонарь». К веревке привязывалась головка чашки, служившая для прикрепления ее к стержню выдвижного душника; она-то, ударяя по чашке, производила звон. В класс приходил *батинька* и садился на кафедру; нужно заметить, что он был эмфизематик и кашлял как из порожней бочки; как только начинал *батинька* кашлять, раздавался звон, и так длилось целый урок или до тех пор, пока забава не надоедала самому звонильщику.

Бенефисы без звона заключались в том, что встречали *батиньку* или пением «се жених грядет во полунощи», или же пением переделки триолета*, якобы сочиненного *батинькой*.

* Триолет – стихотворение из восьми стихов на две рифмы, при этом первый стих в обязательном порядке повторяется в четвертой и седьмой, а второй стих – в завершающей строке. В результате образуются рифменные схемы ABaA abAB или же ABbA baAB (заглавными буквами обозначены повторяющиеся строки). Наиболее обычным стихотворным размером для триолета является четырехстопный ямб. – Из Интернета

Вот слова, напевавшиеся в подобном случае:

Как год тебе свершится,
Опасен будешь ты сердцам;
Недаром фимиам на алтаре любви
Прелестям твоим курится,
и т. д.

Иногда же воспитанники становились по пути к кафедре в два ряда и, отвечивая низжайшие поклоны, препятствовали, на каждом шагу, двигаться *батиньке* к кафедре. *Батинька* все это сносил терпеливо, никогда не жаловался начальству, не записывал провинившихся пред ним школьников в журнал. Удивляешься бывало и недоумеваешь: доброта ли это души или что иное? Впрочем, в отместку за школьничанье, едва ли не *батинька* окрестил последние скамьи прозвищем: *запорожье*; факт тот, что название это нам сделалось известным только в четвертом классе.

Фигуру Георгиевского я живо помню до сих пор. Это был старик среднего роста, цвет лица точно такой, какой византийские иконописцы изображают на ликах святых. Волосы подозрительно темного цвета, височки тщательно зачесаны вперед. На обеих сторонах головы по пробору. Часть волос от них зачесана кверху и загнута внутрь для прикрытия дефицита волос на теменной части, что придавало странный вид передней части куафюры. Прическа эта напоминала бывшую когда-то, в давние времена, в моде прическу *à la girafe*.

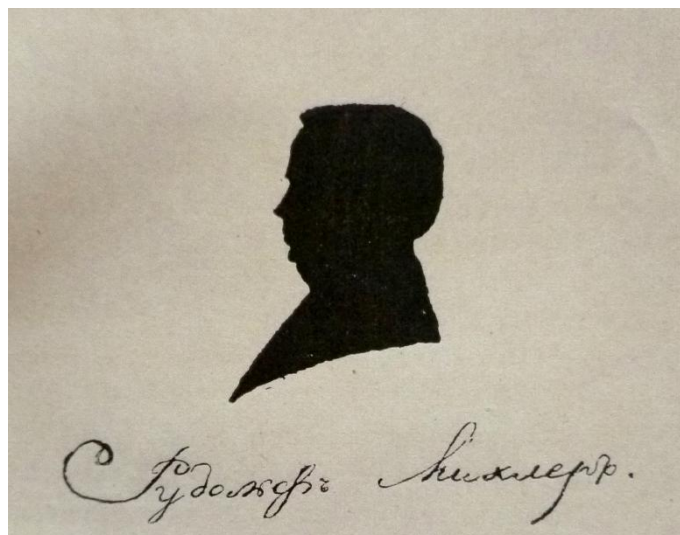
Платье напоминало костюм элганта начала текущего столетия, галстук громадный, двухэтажный, воротник виц-мундира на спине и плечах круто-выгнутый, подложен был толстым картоном или, как уверяли воспитанники, белою жестью. Рукава длинные – из них высывались лишь концы пальцев, фалды заходили одна на другую. Жилет напоминал камзол, и брюки – с клапаном. Из белья виднелась только белая манишка чуть ли не с брызгами. Одним словом, костюм, подобный батиньконому, редко встречался даже в то время на ком-либо в Петербурге, а теперь его и вовсе не видно, да и портные окончательно разучились кроить и шить подобные костюмы.

Латинский язык в трех низших классах преподавал *Михлер*, а в четырех старших – профессор *Шнейдер**. Михлер представлял из себя толстенькую, кругленькую, небольшого роста, седенькую фигурку. Прозывали его воспитанники *мартышкой*.

По поводу этого прозвища случился в нашем классе такой казус: в числе моих товарищей был *Успенский*, очень маленького роста, ну, такого маленького роста, что мог спрятаться в ящике школьного стола. Успенский как-то запоздал на урок Михлера и, не подозревая, что Михлер сидит на кафедре, входит в класс. Отворяя классную дверь, Успенский громогласно возвестил классу:

– Господа, Мартышка еще не пришла? – и был крайне удивлен, когда с кафедры услышал в ответ:

* Василий Васильевич Шнейдер (1793-1872), заслуженный профессор С.-Петербургского университета по кафедре римского права. <...> Кроме университета, Ш. состоял также профессором и Императорского Училища Правоведения, где читал римское право (1835-1863 гг.), латинский язык и словесность (1846-1860 гг.). <...> В.В. Стасов, ученик Ш. по училищу Правоведения дает о нем такой отзыв: «Ш. был человек великолепный, по прекрасной душе, благородству и энергии своей. Он многим из нас сделал великое добро, отстаивая в совете училища наши права и училищные заслуги, помогая одному перейти из класса в класс, другому получить при выпуске тот или другой чин. Наконец, спасая иногда от исключения. Все его у нас любили от мала до велика, и я думаю, нет никого из бывших в те времена в училище, кто не сохранил бы о нем самого благодарного, полного симпатии и уважения воспоминания. Но как профессор он нам казался тяжелым немецким педантом со всем своим римским правом» [(В.В. Стасов. Училище Правоведения 40 лет тому назад. «Русская Старина», 1885 г., т. 48, стр. 447-449)] – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*



Преподаватель Рудольф Егорович Михлер (1837-50)

– Ну, нет, ты ошибаешься, Мартышка тут как тут.

При этом мне припоминается еще казус, бывший в классе Михлера. На первом уроке, делая переключку, доходит он до воспитанника по фамилии *Принц*.

– Вы какой принц? – спрашивает Михлер и получает самый положительный ответ:

– Я не родственник его высочества, мой отец – главный доктор Павловского корпуса.

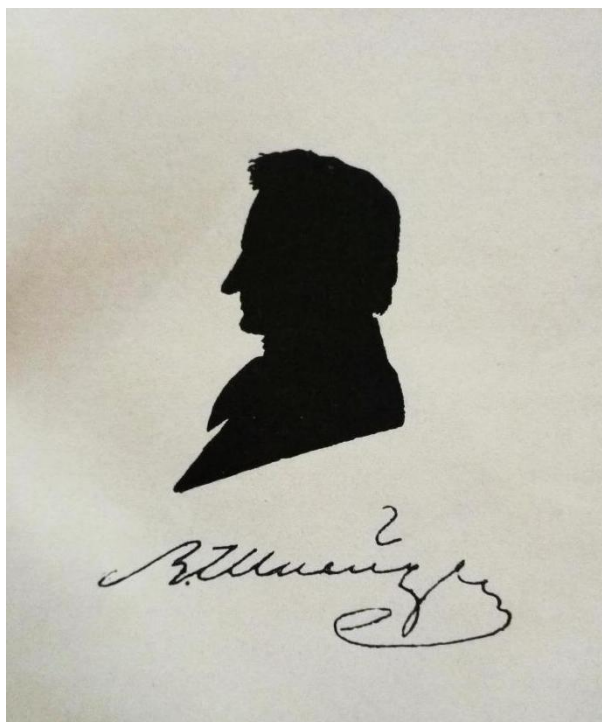
У Михлера занимались мы чтением басен Федра*.

В числе басен воспитанники выкопали басню под заглавием: *Meretrix et juvenis* [(«Проститутка и юноша»)] и не раз приставали к учителю – когда же мы будем ее переводить, или: что значит слово *meretrix*? Михлер отделялся на подобные вопросы словами: «ну, ты умен», или: «лучше меня знаешь, что такое *meretrix*».

Для изучения грамматических правил руководством служила книга Кюнера, тогда еще не переведенная на русский язык, и из этой книги мы должны были задалбливать правила и исключения, а также делать письменные упражнения; это была чистая беда. Должно быть, в то время начальство наше не было еще убеждено в том, что нельзя изучать чужой язык при помощи руководств, составленных не на родном языке.

* Федр, древнеримский баснописец. Латинское имя его было не *Phaedrus*, а скорее *Phaeder*; в пользу этой формы свидетельствуют надписи и древние грамматики. Жил Ф. в I в. по Р. Хр.; родом был из римской провинции Македонии. В Италию попал, вероятно, еще очень молодым; судя по заголовку его произведений, он был вольноотпущенником Августа. Честолюбие побудило его заняться поэзией. Он решил переложить латинскими ямбами Эзоповы басни, но уже во 2-й книге вышел из роли подражателя и написал басню на сюжет из жизни Тиберия. Стремление поэта сблизить темы своих произведений с современностью оказалось гибельным для него, так как в это время императорская власть начинала уже преследовать свободу литературы, а многочисленные доносчики жадно пользовались всяким случаем для возбуждения процессов по оскорблению величества. Всемогуший любимец Тиберия, Сеян, усмотрел в некоторых баснях намеки на свою особу и причинил поэту много неприятностей, может быть, даже отправил его в изгнание. При Калигуле Ф., вероятно, выступил с третьей книгой своих басен. Этой книгой поэт хотел закончить свою поэтическую деятельность, чтобы «оставить что-нибудь для разработки и своим будущим собратьям», но это не помешало издать ему четвертую и пятую книги. Умер Ф., вероятно, около 87-88 гг. по Р. Хр. Одному из своих покровителей он гордо заявлял, что имя его будет жить, пока будут чтить римскую литературу, но он рассчитывал скорее на будущие поколения, чем на современников, отношение которых к нему он сравнивает с отношением петуха к жемчужному зерну. Стремясь исключительно к славе, Ф. не домогался никаких материальных выгод. Главная его заслуга заключается в том, что он ввел в римскую литературу басню как самостоятельный отдел; раньше она встречалась в произведениях разных писателей только спорадически. Несмотря на неоднократные заявления баснописца о своей самостоятельности, он в лучших своих произведениях остается только подражателем Эзопа. Его попытки сочинять басни в духе Эзопа следует признать неудачными.

<...> – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона



Профессор Василий Васильевич Шнейдер (1835-63)

С четвертого класса начиналось преподавание латинского языка у профессора *Шнейдера* и оно имело совсем иной характер. На первом же уроке Шнейдер продиктовал нам по-русски биографию Плиния Младшего, чьи письма мы должны были читать; биографию мы должны были перевести на латинский язык; разбор этих переводов, поправка их и разные комментарии служили предметом нескольких уроков.

Затем, приступили к чтению самих писем; из них Шнейдер выбирал наиболее интересные, например, письмо о гибели при извержении Везувия Плиния Старшего; переписка с Трояном о христианах. Чтения эти не были сухим переводом. Шнейдер пояснял их рассказами о разных эпизодах римской жизни, о нравах римлян и т.п. Много из рассказов Шнейдера до сих пор сохранилось в моей памяти. У старика-профессора иногда показывались слезы при рассказах о тяжелом положении рабов в Риме, когда раба, за разбитие вазы, бросали на съедение мурен. Многим, многим эти слезы казались смешными, но на меня подобные рассказы производили глубокое впечатление.

Со школьной скамьи из класса Шнейдера я попал в Петербургском университете в аудиторию *Лапшина*, считавшегося и знатоком, и отличным преподавателем латинского языка. Но увы! какая громадная разница между преподаванием Шнейдера и Лапшина! У последнего я не замечал ни малейшего поползновения на разъяснение древне-римского мира; все внимание его сосредоточивалось на слоудоударении и беда была сделать ошибку против правил последнего.

Читал Лапшин с натуралистами[[-студентами](#)] Салюстия и начал с того, отчего у Салюстия стоит *omnis homines qui...* а не *omnes*, как бы следовало по грамматике Лапшина. Приводились различные разъяснения немецких ученых, не желавших помириться с тем, что Салюстий по ошибке, а может быть и переписчики по безграмотности поставили *omnis* вместо *omnes*. Эти толки наводили на меня скуку и уныние.

У Лапшина на экзамене беда была не знать или забыть значение слова, встречающегося в переводе. Правда, у него на экзамене переводили только те главы писателя, которые были прочитаны с ним в течение года.

У Шнейдера воспитанник четвертого класса должен был переводить à livre ouvert [(с листа)] того писателя, который читался в течение года, и Шнейдер готов был сообщить значение неизвестных воспитаннику слов, сколько бы их ни встретилось в переводе. Еще раз повторяю, что преподавание Шнейдера сильно мне врезалось в память.

Обращаюсь к Михлеру. Он как-то странно окончил свою карьеру. Мы возвратились с каникул по переходе из пятого в четвертый класс. Михлера уже не было в училище, Он исчез. Преподавание латинского языка в низших классах перешло в руки *Носова*; куда девался Михлер – никто из нас не знал; толки относительно его исчезновения были разные; одни говорили, что он утонул на даче, другие – что на охоте в лесу медведь его задрал... Как бы то ни было, он может быть и утонул вследствие неосторожности, может быть попал в лапы медведя, но можно положительно утверждать, что он не погиб вследствие *неблагонадежности* в волнах житейского моря.

III.

Историю преподавали в училище *Налетов, Брут и Шульгин* *.

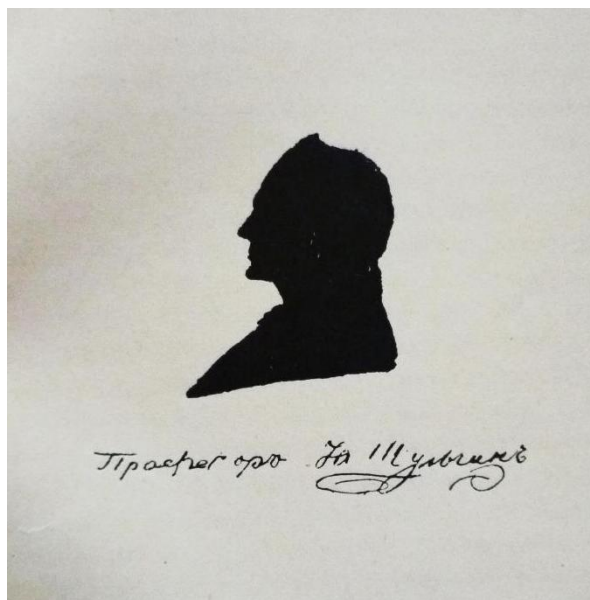
О первом сохранилось в моей памяти прозвище, данное ему воспитанниками (крокодил), и страсть за ничтожнейшие проступки записывать воспитанников в журнал и ставить им дурные отметки, что влекло за собою лишение отпуска в воскресный день. В праздничные дни наибольшее число воспитанников оставалось без отпуска из-за Налетова. Налетов, бывало, поставит отметку пять [(из 12-ти максимальных баллов)] в месячную ведомость, и получивший такую сидит без отпуска до тех пор, пока не получит лучшей. Налетов, видимо, старался продержатъ получившего неудовлетворительную отметку подольше в училище. Просьбы переспросить, чтобы получить лучшую отметку, на него не действовали...

Брут читал историю в пятом и четвертом классах. Это был небольшого роста, седой, подслеповатый, добрый старик, но читал лекции убийственно; за то его никто не слушал. Воспитанники удостоивали вниманием только лекцию его об открытии Америки или, вернее сказать, ту часть ее, когда он рассказывал, что испанцы, плывшие с Христофором Колумбом, увидав землю, кричали: «эё... земля, эё... берег!»

В трех старших классах читал историю Иван Петрович *Шульгин*, тайный советник, являвшийся на лекции разукрашенный звездами. К воспитанникам он обращался: «ну, мой милый». На лекциях плевался и немилосердно нюхал табак.

* В Русском биографическом словаре А.А. Половцова curriculum vitae Александра Федоровича Налетова (Налётова) отсутствует. А Александр Иванович Брут хотя в оном словаре и имеется, но про его преподавание в Училище правоведения не упоминается: родившийся в 1800 г., он с 1825 г., заняв через некоторое время должность адъюнкта, читал в с.-петербургском университете географию, древнюю и средних веков, упражняя в то же время студентов в латинском языке переводами «Комментариев» Юлия Цезаря, с 1833 г. преподавал географию сравнительную и физическую: первую – по собственным запискам, а вторую – по Мальтебрану, и, кроме того, на первом курсе – латинский язык. В 1841 г. вышел окончательно в отставку из университета. Брут издал «Землеописание известного древним света, из разных источников составленное, с принадлежащим к оному собранием нужнейших карт» (Пет., 2 части, 1828-29 гг.) и «Учебную статистику» (Пет., 1853 г., 6 книг).

Шульгин Иван Петрович (1795-1869), профессор и ректор Петербургского университета. «В 1816 г. он поступил воспитателем и преподавателем истории и географии в младших классах Царскосельского лицея, где оставался в течение многих лет, сначала в звании учителя и воспитателя, затем адъюнкта и, наконец, профессора. В бытность свою в лицее Ш. основательно изучил французский и немецкий языки. Скоро он заслужил репутацию опытного и даровитого наставника; материальные причины [(необходимость содержать семью)] побуждали его брать на себя преподавание во многих учебных заведениях, и в начале 1830-х гг. мы застаем его преподавателем во многих учебных заведениях Петербурга». – Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова



Профессор Иван Петрович Шульгин (1838-59)

Между воспитанниками ходила такая легенда о Шульгине: во время оно Иван Петрович читал лекцию, плевал на кафедру, нюхая табак, просыпал его мимо носа и такую развел грязь на возвышении, на котором стояла кафедра, что вслед за ним читавший лекцию профессор *Гримм* в этой грязи промочил ноги, получил простуду и отправился *ad patres*.

Должно отдать Шульгину справедливость, что он читал с толком, чувством и расстановкой. Но история его не шла, если не ошибаюсь, далее начала текущего столетия; во всяком случае, она прерывалась на венском конгрессе. Замечательно, что в училище не было особой кафедры для русской истории: она входила в курсы Брута и Шульгина.

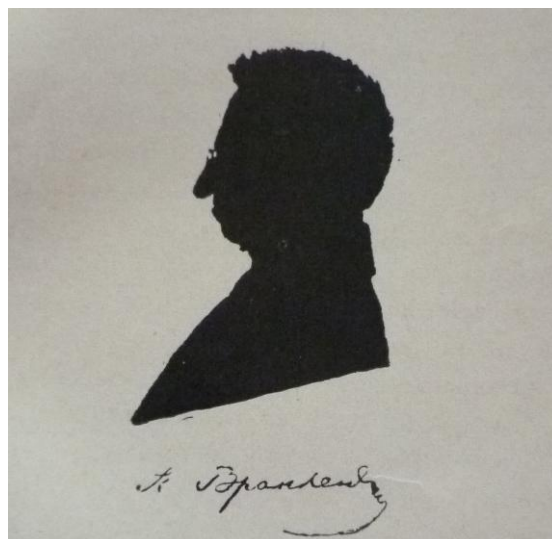
Географию в училище преподавали *Кайпш*, наш воспитатель, и *Вранкен*, статский советник, прозванный воспитанниками *Генералом**. В седьмом классе Кайпш преподавал нечто претендовавшее на математическую географию. Что могли вынести его ученики, математические сведения коих не шли далее дробей, единому Господу известно. Кайпш толковал и о системах Птолемея, Тихо-де-Браге и Коперника, но я полагаю, едва ли кто из моих товарищей постигал разницу между упомянутыми системами.

Из всего курса у меня сохранилось в памяти слово Альдебаран, да закон Боде; более я ничего не помню. Политическую географию проходили, если не ошибаюсь, по руководству Ободовского.

Генерал Вранкен преподавал в пятом классе географию России, а в четвертом – статистику России. Генерал обижался, когда школьники уверяли, что в гербе Российской империи, на груди двуглавого орла, изображен драгун на белом коне... Статистика Вранкена вовсе не походила на ту статистику, с которой мне пришлось познакомиться впоследствии.

* В Интернете имеется практически единственное упоминание о Егоре Ивановиче, а именно его ученый труд – «Движение народонаселения в России с 1848 по 1852 г.» / составлен действ. членом Импер. Русск. географ. о-ва Е. Кайпшем. С.-Петербург, в типографии Морского министерства, 1858, 40 с.

Что касается преподавателя географии, статского советника, генерала Вранкена, то в Интернете проявляется в основном боевой генерал Агафон Карлович Вранкен (1814-1870), который в 1838-м был выпущен из Николаевской академии Генерального штаба в звании поручика и далее воевал на Кавказе. В 1847-м, после ранений и лечения вернулся в строй, а в 1849 г. был произведен в генерал-майоры. А по «кабинетному генералу» Карлу Осиповичу (Иосифовичу) Вранкену имеется лишь весьма скудная информация: профессор Императорского училища правоведения, в службе с 1813 г., статский советник с 1844 г., автор книг {А.А. Половцов}. Зато он является отцом боевого генерала Агафона Карловича Вранкена.



Генерал Карл Осипович Вранкен

Статистика Вранкена была нечто своеобразное, оригинальное, в которой закон больших чисел не имел приложения; зато она представляла множество мнемонических кундштуков [(ловких приемов, фокусов)]. Я и теперь помню, как при посредстве фразы: адмирал Васильев приехал из Выборга в карете в Петербург на Рождество, заучивались названия петербургских частей Петербурга.

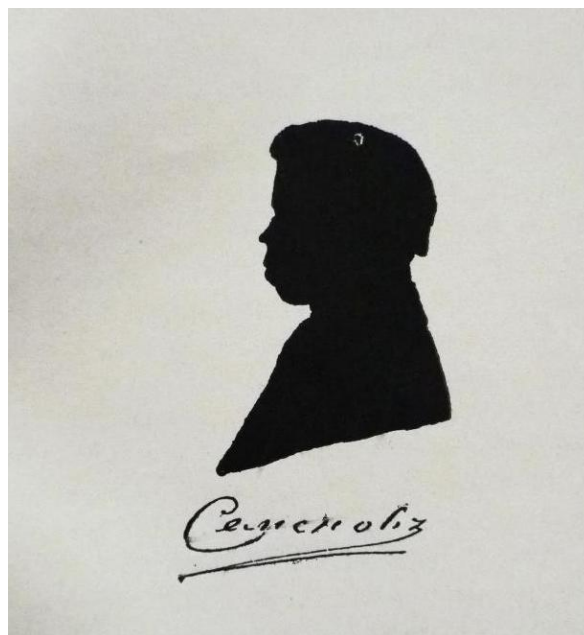
Математику, т.е. арифметику, алгебру и геометрию (в мое время тригонометрия не входила в курс наук училища) преподавали Семенов, Андреев, а по оставлении этим последним училища – Дитрихс*.

Предметы эти считались воспитанниками трудными, а преподаватели их – строгими. Семенов преподавал как бы читая лекции, не заботясь вовсе о том, как они будут усвоены воспитанниками. Упражнять нас в решении задач он не любил. Иногда он гневался за незнание урока и в классе алгебры слышались его гневные возгласы: «да не a, да не b, да не c», и так доставалось всей французской азбуке, только потому, что следовало сказать a со знаком [(плюс или минус?)].

Помню, как-то раз, в седьмом классе, мой земляк, Вельяминов, ухитрился во время урока налить Семенову в перчатку чернил. По окончании урока, надевая перчатку, Семенов ощутил мокроту на руке и следы чернил. Не помню хорошо, как удалось ему заметить виновного.

* Преподавателей математики Семенова и Дитрихса идентифицировать по внешним печатным источникам не удалось. Из уже упоминавшейся книги М.М. Молчанова «Полвека назад. Первые годы училища правоведения в С.-Петербурге» (СПб., 1892) известно лишь, что Иосиф Васильевич Семенов прослужил в училище преподавателем математических наук с 1836-го по 1850 год. Возможно, что преподаватель Дитрихс, «носивший мундир гвардейской пешей артиллерии» – это Федор Карлович Дитрихс (1831-99), который обучался в Михайловской артиллерийской академии и был выпущен офицером в августе 1851-го, вполне мог преподавать геометрию в IV классе (1850-51 уч. год) и И.А. Тютчеву, по оставлении училища А.С. Андреевым в 1850-м.

Андреев Алексей Симонович (1792-1863) – офицер, воспитатель и преподаватель математики в Императорском Училище Правоведения (1835-1850), впоследствии директор Карточной экспедиции. Среди воспитанников училища он приобрел популярность благодаря умению рассказывать «преувлекательные анекдоты», чаще всего исторические. Добросовестный и «втайне либеральный», чиновник Андреев настолько увлекался всякими сколько-нибудь любопытными сведениями, что не ограничивался устной передачей их своим ученикам и вел систематические записи. Им были составлены особые «Книги выписок». Автор воспоминаний о встрече с Пушкиным на выставке Общества поощрения русских художников в конце мая 1827 – «Встреча с А.С. Пушкиным» и дневниковых записей о дуэли и смерти Пушкина – «О Пушкине 1837 года». Автор «Воспоминание о 14-м декабря 1825 года» (Описание восстания на Сенатской площади). Автор «Исторических отрывков о картах, изобретенных для разнородных игр» (1858). – Из Интернета



Преподаватель Иосиф Васильевич Семенов (1836-50)

Рассерженный мазнул раза два по физиономии школяра перчаткой и потащил к дежурному воспитателю. Бывший в тот день дежурным Каратаев попробовал успокоить Семенова тем, что [мол] высечем завтра виновного, на что последовала просьба Семенова: «да нельзя ли сейчас?» Каратаев отделался от Семенова замечанием, что сейчас этого сделать нельзя, сами знаете, воспитанники сейчас пойдут ко всенощной (дело было в субботу), а завтра мы непременно выдерем...

Между воспитанниками ходило предание, что однажды в пятом классе сговорились задать бенефис Семенову. Входит в класс Семенов, когда ламповщик зажигал лампы. При входе Семенова началось стучание ногами; Семенов посмотрел на воспитанников и обратился к ним со словами: «месье, фи донк деван лэ жанс...»^{*} Слова эти, сказанные ломаным французским языком, произвели свое действие: тишина и порядок мигом водворились в классе и бенефис прекратился сам собою.

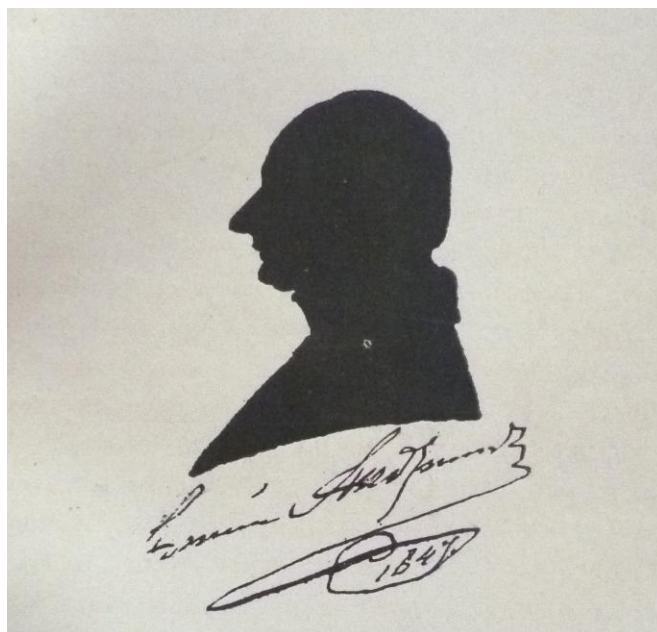
IV.

Андреев занимал должность воспитателя и преподавал геометрию. При появлении в класс Андреева, воспитанники ловко подмечали: можно ли избавиться от урока и провести урочное время в пустой болтовне или нет. Если первое возможно, то кто-либо сообщал Андрееву, что такой-то часовой мастер, живущий там-то, изобрел, как говорят, *perpetuum mobile*, и урок проходил в рассуждениях о *perpetuum mobile*. Обыкновенно эти рассуждения начинались словами: «да возможно ли это дело, сударь ты мой? Я говорю, что это невозможно...» Затем, в числе аргументов против *perpetuum mobile* приводился и герцог Лейхтенбергский, посылавший Андреева куда-то исследовать *quasi perpetuum mobile*, и знакомство Андреева с Монжем и много других вещей... всего не упомяну.

Андреев оставил службу в училище вследствие назначения на должность директора карточной экспедиции. В училище Андреев не имел орденов на шее; прошел год после оставления им училища, и он явился на наш храмовой праздник в мундире учреждения императрицы Марии Феодоровны, с орденом Анны на шее. Воспитанники подметили это и говорили промеж себя, что Андрееву пожалован орден за изобретение им нового бубнового туза.

^{*} Фи донк (fi donc) – Междометие, выражающее пренебрежение, презрительное отношение к кому-, чему-л.

Devant les gens – перед людьми.



Воспитатель и преподаватель Алексей Симонович Андреев (1835-50)

Дитрихс носил мундир гвардейской пешей артиллерии и занимал должность воспитателя; по оставлении Андреевым училища он получил уроки геометрии. Мне удалось в четвертом классе быть его учеником. Преподавал он ясно и очень недурно чертил, и мне остается решительно непонятным, почему мои товарищи находили его преподавание неудовлетворительным, неясным и непонятным. Неужели же потому, что большинству воспитанников Дитрихс был не симпатичен?

В двух низших классах училища, т.е. в седьмом и шестом, преподавалась еще технология. В самом низшем классе она преподавалась на немецком языке, а в следующем – на французском. Преподавал ее воспитатель *Лустоно*, по прозванию Великий Технолог. Для чего она преподавалась – Бог весть; говорили нам, что в видах практического ознакомления с новыми языками; но эта фантазия на деле оказывалась неосуществимой. Технология эта вовсе не была похожа на настоящую технологию; из двухгодичного курса ее ровно ничего не оставалось в головах воспитанников.

Помню, что Лустоно говорил: бывает harte und weiche Seife [(грубое и нежное мыло)], что die Lichter werden entweder gezogen oder gegossen [(свечи бывают или тянутые или литые)] – это из немецкой технологии. Из французской, кажется, только и осталось в моей голове, что немецкие Nudeln [(макаронные изделия)] соответствуют итальянским makaroni, и что эти последние охотно глотают неаполитанские lazzaroni [(нищие, боссяки)]...

Более ничего не помню.*

* Про Лаврентия Ивановича Лустоно известно лишь, что он преподавал в Училище правоведения с 1838-го по 1853 год (значит «Великого Технолога» мог слушать и Г.Н. Мотовилов), а его сыновья окончили сие училище: Александр – в 1847-м, в чине X класса (коллежского секретаря), Федор – в 1851-м, в самом низком, XIV чине (коллежского регистратора). По данным М.М. Миронова (приведенным в книге «Полвека назад»), Лустоно (Lustonau) служил в войсках Наполеона и после Бородинского погрома не пожелал возвратиться во Францию – значит, до поступления на службу в училище, около 25-ти лет где-то «околачивался в шаромыжниках».

Французский язык преподавали несколько преподавателей. В двух низших классах я учился у Гальяр-де-Баккара, бывшего вместе с тем воспитателем. О нем помню, что это был хотя седой, но *un bon gaillard* [(бравый малый)], и более ничего*.

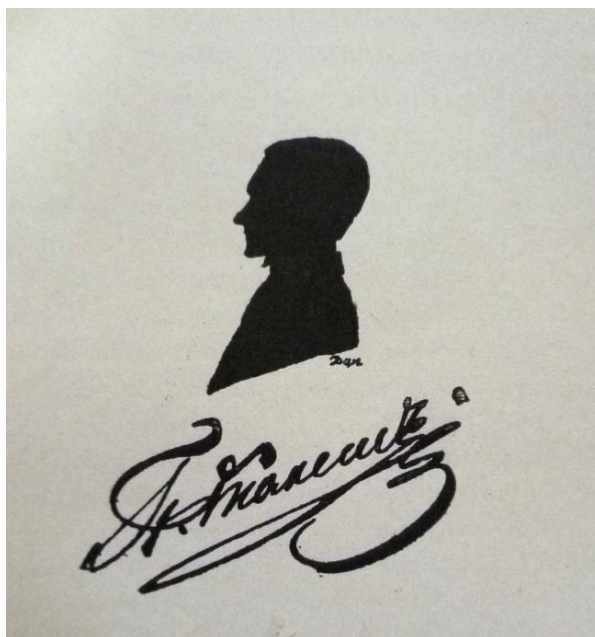
В пятом классе французскую литературу преподавал Берар. *Monsieur Берар* играл видную роль в училище. Во время моего поступления он уже был главным воспитателем в пригготовительном пансионе. В бытность воспитателем училища Берар пользовался расположением директора Пошмана и чуть ли не был его правой рукой по воспитательной части.** Сохранялось предание, что когда попадался в какой-либо провинности воспитанник, то Пошман, в присутствии Берара, обращался обыкновенно к виновному с такой речью: «Ваш батюшка – почтенный человек, ваша матушка – всеми уважаемая дама, а вы – мальчишка, дворник. *Monsieur Berard, faites lui donner des verges*» [(Месье Берар, дайте ему розог)], и Berard являлся экзекутором приказаний начальника. Берар имел одно преимущество пред другими преподавателями французского языка: он, кажется, порядочно знал русский язык.

На уроках Берар преусердно рассказывал о трубадурах, о том, что старый французский язык близок к латинскому и что на юге Франции, в Провансе, до сих пор говорят языком, схожим с старофранцузским и итальянским. Берар или, как его называли воспитанники, Трубадур выслужил пенсию и отправился во Францию доживать свой век на русские деньги. Берара, как воспитателя, я не знаю, но мне помнится, по рассказам других, что Трубадур любил продавать своим питомцам гребенки, щеточки, мыло и т.п.

Из преподавателей французского языка я вовсе не помню Аллье, но помню графа Сюзора. Сей граф явился в Россию после революции 1849 года; петербургское общество приняло его с распростертыми объятиями, как несчастную жертву революции, пострадавшую за верность монархическому началу.

* И в Большой биографической энциклопедии тоже мало сведений об этом персонаже (по данным А.А. Половцова): Де-Баккара-Гальяр Эдуард Клавдиевич, спирит, профессор Имп. Учил. Правоведения, статский советник, ведший записки, умер в 187? г.

** Берард, Иосиф Иосифович, статский советник, воспитатель и преподаватель училища правоведения, род в 1800 г. в гор. Мец, во Франции, ум. 8 февраля 1883 г., в Париже. Образование он получил в мецком лицее, в 1823 г. прибыл в Россию и с 21 ноября этого года занял место учителя французского языка в благородном пансионе при петербургском университете (теперь первая классическая гимназия). <...> 7 ноября 1835 г. Берард был определен воспитателем и преподавателем французского языка в училище правоведения, а в 1836 г. был приглашен преподавать французский язык великим княжнам Марии, Елизавете и Екатерине Михайловнам и за успешное выполнение обязанностей, по окончании преподавания, Всемилощивейше был награжден бриллиантовым перстнем. Вместе с должностью воспитателя и преподавателя Берард исполнял в училище правоведения обязанности инспектора классов в 1838 и 1841 гг., библиотекаря в 1841 г., члена хозяйственного управления училища правоведения с 1842 г. и члена [педагогического] совета училища в 1848-1851 годах. 10 февраля 1840 г. Берард перешел в русское подданство. В 1847 г. он был назначен главным воспитателем в училище правоведения и по этому званию имел ближайшее наблюдение во всех классах училища за ходом воспитательного процесса. <...> 12 июня 1851 г. Берард вышел в отставку и уехал во Францию. Вместе с И. Журданом он в 1830 г. составил «Отрывки из прозаических сочинений лучших русских писателей для письменных занятий переводами с русского языка на французский и немецкий» (в 1840 г. вышли четвертым изданием). – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*



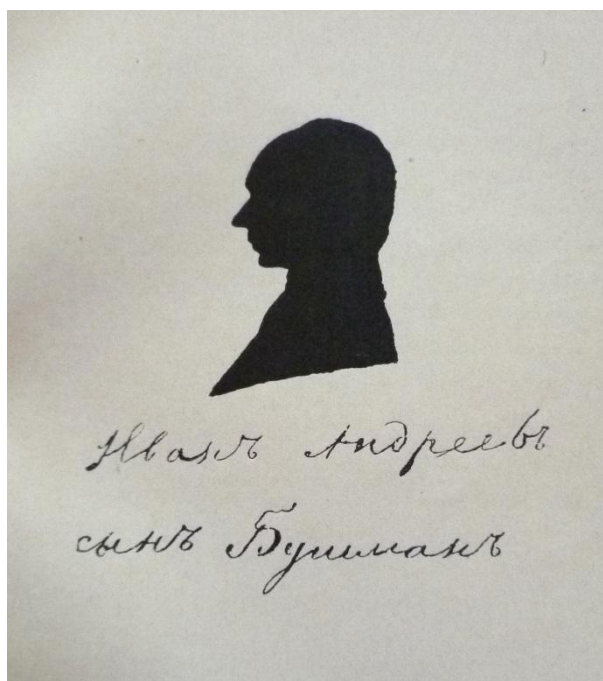
Воспитатель и преподаватель Петр Васильевич Томсен (1835-51)

Сюзор с большим успехом читал публичные лекции и затем получил уроки в весьма многих петербургских учебных заведениях, где объяснял, как немцы расточительны на слова: там, где француз употребит три слова, немец их поставит не менее пяти; например, француз говорит: *je viendrai demain*, немец же: *Ich werde Morgen zu Ihnen kommen* [(Я приду к вам завтра утром)].*

Немецкий язык преподавали: в низших классах – Томсен, а в старших – Шнеринг. Томсен не пользовался симпатией своих учеников. Шнеринг представлял разительную противоположность с Томсеном. Жаль, что Шнеринг по-русски ничего не знал. Получил он образование в дерптском университете; говорили, что он готовился быть пастором, но полученный, вследствие дуэли, шрам на щеке послужил ему препятствием сделать духовную карьеру, он сделался воспитателем и преподавателем. Шнеринг, человек высокообразованный и честных убеждений, был совершенно безупречен в глазах воспитанников.

* Хотя по сему персонажу имеются лишь скудные сведения, однако видно, что «бежав от французской революции 1849-го» [(в Петербурге появился «несколькими годами ранее рождения сына»)], он основательно укоренился в России: Граф Юлий Сюзор был видным педагогом и литератором, издателем журнала «Русский курьер» (на французском языке), его сын граф Павел Юльевич Сюзор был одним из крупнейших архитекторов Санкт-Петербурга второй половины XIX – начала XX веков. В доме П.Ю. Сюзора на 1-й линии Васильевского Острова, 52, был основан музей «Старого Петербурга», в числе его основателей был Александр Бенуа. Сын П.Ю. Сюзора – Георгий Сюзор, выпускник Училища правоведения [1910 г.], был одним из создателей Правоведского музея и автором трудов по истории училища. – Французы в Императорской России (frenchmusicals.ru)

И еще из Интернета: Русский архитектор П.Ю. Сюзор родился 18 апреля 1844 года в Санкт-Петербурге. Его отцом был молодой французский литератор Жан де Сюзор, который в 1840-х годах приехал в Россию из Франции. Несмотря на графский титул, богатства он не имел, поступил на службу в Общество благородных девиц воспитателем, и его стали называть Юлием Семеновичем (Симеоновичем). Познакомился он с также приехавшим в Россию графом Степаном Ливио. Ливио записался в Петербурге иностранным гостем, затем стал банкиром. Жан де Сюзор женился на дочери Ливио Лоренсе-Стефании, а в 1844 году у них родился сын – Поль (Павел Юльевич) де Сюзор. Позднее Юлий Сюзор стал редактором журнала «Русский курьер», издававшегося в Петербурге на французском языке (в 1860-х годах). Родители архитектора – граф Ю.С. Сюзор (1809-1889) и графиня Лоренса де Сюзор (1819-1880) были похоронены на католическом кладбище, находившемся на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге.



Воспитатель и преподаватель Иван Андреевич Бушман (1839-49)

Были еще преподаватели английского языка: Христоферзен, Бушманн и Варранд. Первый пробыл недолго в училище; воспитанники говорили, что он отправился в Австралию с сапогами или с воробьями, не помню наверное с чем; Бушманн тоже куда-то исчез.

Чистописание преподавалось только в двух низших классах. Преподавал его Шредерс и, не знаю почему, он заставлял на уроках писать то титул, употребляемый на прошениях на Высочайшее имя, то докладные записки и т.п. Любил Шредерс награждать каллиграфов похвальными листами разных сортов.

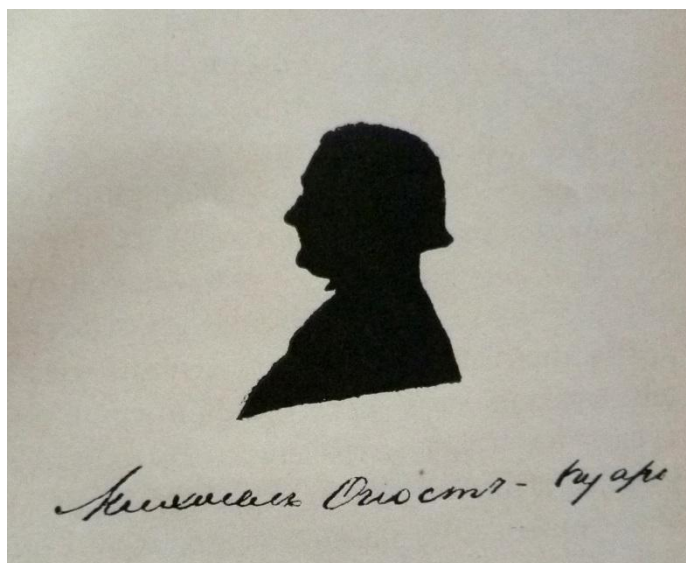
Один из моих товарищей, написавший заголовок для расписания уроков, пользовался особым почетом у Шредерса. Сколько мне помнится, Шредерс обладал особым тактом в обращении с воспитанниками, и они держали себя в отношении к нему весьма прилично.

В этом отношении учитель рисования, Морозов, представлял совершенную противоположность каллиграфу [Шредерсу]. У Морозова на уроке воспитанники школьничали до безобразия и глумились над художником, сколько им было угодно. Уверяли, что он вместо «оригинал» говорит «огригинал», вместо «резинка» — «резалка» и т.п.*

* Морозов Александр Иванович (1835-1904) оставил немного картин, поскольку всю жизнь вынужден был зарабатывать нетворческой работой: тридцать лет преподавал рисунок в Училище правоведения в Петербурге, давал частные уроки, делал заказные портреты (иногда с фотографий), писал иконы. Однако практически все его картины отличаются высоким живописным уровнем и ныне экспонируются в крупнейших отечественных музеях. В молодости Морозов старался идти в ногу со временем: был участником «бунта четырнадцати», возглавленного И.Н. Крамским, и покинул Академию художеств в 1863 г.; стал одним из членов-учредителей петербургской Артели художников (1863-70). — Из Интернета



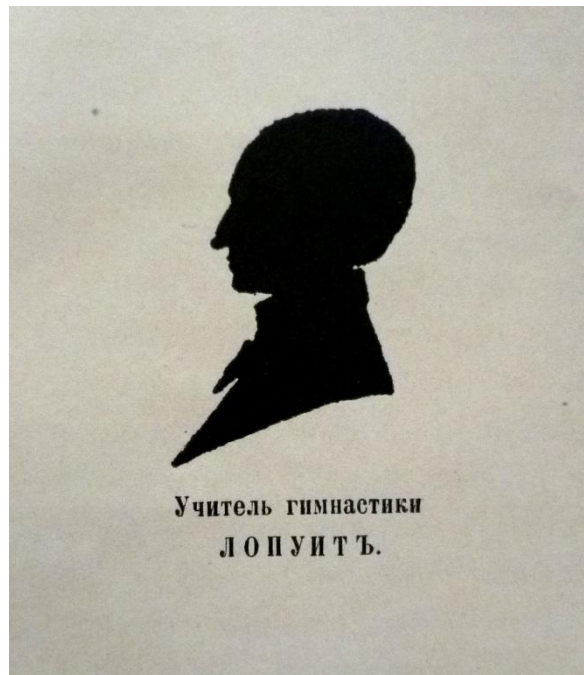
Преподаватель Гавриил Яковлевич Ломакин



Учитель Огюст Пуаро (1838-44)

К числу преподавателей искусств следует отнести учителей: пения – Ламакина, танцевания – Огюста Пуаро и гимнастики – Лопуита. Из этих преподавателей только учитель пения пользовался громкою известностию. Не очень давно (год тому назад) скончавшийся, Ламакин известен и как дирижер капеллы графа Шереметева, и как композитор.*

* Ломакин, Гавриил Яковлевич, композитор, дирижер и музык. деятель, род. 25 марта 1812 г. в семье управляющего курским имением графа Д.Н. Шереметева. Мальчиком пел в сельском церковном хоре, а затем был перемещен в дом графа в Петербург. Здесь Ломакин находился под управлением итальянца Сапиенца, учителя хора, а в 1830 г. сам занял его место. Одновременно он был приглашен на должность учителя пения в Театральное училище, Павловский кадетский корпус и др. учебные заведения [\[\(включая и Училище правоведения\)\]](#). <...> – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*



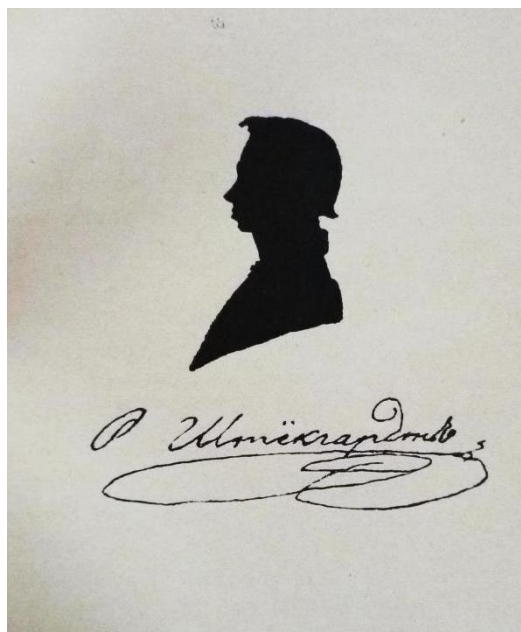
Учитель Эдуард Лопуит (1837-52)

V.

Сохранились в моей памяти воспоминания о преподавании других предметов в высших классах. Чтобы не повторяться, я не буду говорить о преподавателях и преподавании тех предметов, о которых [уже] упоминал. Начну по порядку. В шестом классе преподавались те же предметы, что и в седьмом; в пятом же, кроме упомянутых, преподавались Семеновым зоология и физика. Курс зоологии был довольно систематичен, но бессодержателен. Мне пришлось, по оставлении училища, слушать зоологию в университете и я должен сознаться, что предварительное знакомство с этим предметом в училище оказалось бесполезным и излишним. Между воспитанниками Семенов считался строгим преподавателем и у него раз на репетиции по зоологии, как говорили, случился следующий казус.

Вызывает Семенов воспитанника, прозывавшегося Тумбой. Тумба хочет отказаться отвечать, сосед толкает под бок и шепчет: не отказывайся, подскажу... В голове Тумбы мелькнуло соображение: откажусь, наверное Семенов поставит ноль или единицу, а при помощи соседа, может быть, удастся заработать шестерочку... Встает Тумба. – «Ну-с, что вы скажете о костях?» – спрашивает Семенов. Сосед подсказывает, а Тумба за ним повторяет: «Кости бывают длинные, толстые, круглые» и т.д., все в таком же роде. Семенов, потеряв терпение, спрашивает: «да где же мозг?» Суфлер подсказывает, а за ним и Тумба повторяет: «в глотке». – «Да вы его, господин, совсем проглотили, садитесь», – произносит Семенов и ставит отметку в журнал.

Курс физики Семенова был тоже довольно курьезен; он делился на статику, динамику, гидро- и аэростатику, гидро- и аэродинамику. Опыты производились редко, из них воспитанники выносили, что есть какая-то Атвудова машина и что опыты с нею были неудачны не только в настоящем году, но и в прошлом, в позапрошлом и т.д. По словам преподавателя, магдебургские полушария так плотно удерживаются одно с другим, что их в Магдебурге нельзя было [из-за созданного в них вакуума] разобщить даже при помощи лошадей, а у нас оказалось, что Володька или Сашка их разнимали без особых усилий. Когда же мы обратили на это обстоятельство внимание преподавателя, то в наше утешение услышали замечание: «то было в Магдебурге, а то у нас».



Профессор Роман Андреевич Штекгардт (1835-48)

Нужно заметить, что каждый отдел курса Семенова представлял перечень перенумерованных якобы законов природы; поэтому на репетициях предлагались вопросы вроде следующих: «скажите из гидростатики закон номер пятый», или: «из аэродинамики закон номер третий» и т.п. Что выносили воспитанники из такого преподавания – я себе представить не могу. Когда мне пришлось готовиться ко вступительному экзамену в университет, по руководству Ленца, то физика показалась мне наукой совершенно новой, незнакомой.

В четвертом классе оканчивалось изучение математики, физики, а из естественных наук преподавалась ботаника и минералогия. Когда я был в низших классах, в число предметов, преподаваемых в четвертом классе, входила пропедевтика права. Ее преподавал профессор Штекгардт на немецком языке. *Штекгардт* был небольшого роста, художав и носил парик. Сидя на кафедре, стоявшей у стены, и читая лекцию, он имел привычку раскачиваться назад и вперед. Воспитанники изловчились в стену вколачивать гвоздь, так чтобы при покачиваниях профессора парик зацеплялся за гвоздь и обнажалась безволосая голова немецкого ученого. Руководством служила довольно объемистая книга, изданная Штекгардтом. Штекгардт умер в бытность мою чуть ли не в шестом классе. Преподавание пропедевтики было уничтожено, взамен ее введена энциклопедия законоведения, но не в четвертом классе, а в третьем, и для преподавания ее приглашен профессор *Неволин*, тогдашняя знаменитость юридического мира.*

* Штекгардт Роман Андреевич, доктор прав и философии, ордин. профессор Главного Педагогического института, родился в Саксонском королевстве, в г. Глаухау. Его отец, образованный пастор, дал ему хорошее воспитание. <...> В 1831 г. Ш. был приглашен в Петербург на кафедру римского права в Главном Педагогическом институте и эту должность занимал с открытия первого студенческого курса в институте до закрытия юридического отделения в 1847 г., после чего перешел на кафедру римской литературы. Кроме того, Ш. как профессор читал лекции в Имп. Училище Правоведения, с основания его до своей смерти, именно: с 1835 г. – по юридической пропедевтике, с 1837 г. – по энциклопедии законоведения и с 1839 г. – по сравнительному законоведению. Наконец, нужно еще упомянуть, что в 1842 и 1843 гг. Ш. преподавал государственные науки вел. княжнам Марии и Елизавете Михайловнам. Умер он в Петербурге 28 сентября 1848 года. Перу Ш. принадлежат след. труды: <...> 2) по философии права: <...> «Juristische Propädeutik oder Vorschule der Rechtswissenschaft», 1-е изд. – СПб. 1838 г., 2-е изд. Лейпц. 1843 г. (перевел Ф.Г. Толь со 2-го издания, исправл. и дополн. автором, под загл.: «Юридическая Пропаэдевтика», СПб., 1843 г.) <...> – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*



*Профессор Константин Алексеевич Неволин**

Физику, т.е. учение о свете, теплоте, магнетизме и электричестве, а равно ботанику и минералогию мне пришлось изучать у *Постельса*; на изучение этих предметов полагалось два часа в неделю. Чему можно научиться в такой короткий срок из этих предметов – едва ли мог удовлетворительно объяснить сам преподаватель. Постельс не принадлежал к числу заурядных преподавателей: он когда-то совершил кругосветное плавание, если не ошибаюсь, вместе с Литке, в конце двадцатых годов.

В результате явилось великолепное издание о водорослях, собранных во время плавания. Правда, что обработкою их занимался академик Рупрехт, а участие Постельса заключалось в доставлении материала и в составлении превосходных рисунков. Кроме того, Постельс из своего путешествия вывез богатый материал для ботанических трудов профессора и академика Бонгардта.

* Неволин Константин Алексеевич, профессор, сын священника в гор. Орлове, Вятской губ.: родился в 1806 г.; образование получил в Вятской семинарии и в Московской Духовной Академии. <...> 8 февраля 1835 г. Н. публично защитил [в Петербурге] диссертацию [«О философии законодательства у древних»], был признан достойным ученой степени доктора и назначен тогда же профессором в Киевский университет, куда и отправился. В конце того же учебного года он начал читать лекции по энциклопедии законоведения. В Киеве Н. пробыл до 1843 г. и вместе с обязанностями профессора отправлял и обязанности ректора университета. Здесь же им была в 1839-1840 гг. напечатана его «Энциклопедия законоведения», за которую Академия Наук присудила ему Демидовскую премию. Сочинение это доставило Неволину большую известность, и имя его стало известно за границей среди юристов. В начале 1843 года Н. переведен был в Петербургский университет и занял кафедру гражданского права. Читая лекции, он продолжал трудиться над начатой им еще в Киеве историей Российских гражданских законов, и издал ее в 1851 году. Этот труд Неволлина, которым, по словам проф. Андреевского, он создал русское гражданское право, так же удостоился полной Демидовской премии в 1852 г. В начале 1843 г. Н. переведен был в Петербургский университет и занял кафедру гражданского права. <...> Помимо лекций в университете Н. читал в 1848 г. в Императорском Училище Правоведения энциклопедию права и был также деканом юридического факультета [университета]. <...> – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*

По-видимому, быть коллектором и поставщиком материала трудов ученых – не великая заслуга, тем не менее за эту деятельность Рупрехт окрестил целый род водорослей именем Постельса (*Postelsia*).*

Преподавание Постельса не лишено было курьезов. Показывая действие магнита, он сравнил магнит с головою, а волоса – с опилками, что подало повод воспитанникам прозвать Постельса, являвшегося на уроки с всклокоченными волосами, «Голова – магнит, а волоса – опилки». Один из моих товарищей пародировал довольно удачно Постельса, предлагающего воспитаннику рассказать теорию топки печей. Вся суть рассказа заключалась в том, что воспитанник говорил: положить дров, открыть вьюшки и т.п. А Постельс перебивал его на каждом слове, словами: «рано, мой милый», пока воспитанник не начал с того, что следует приказать дворнику наколоть дров, уложить их пред печкой, приготовить около них растопку и т.д., все в таком же роде.

Многие помнят, вероятно, объяснение Постельса [в отношении] вредного действия на человека паров, выделяемых растениями в ночное время. – «Представьте себе, – говорил Постельс, – садовник лег на ночь спать в оранжерее, и чтобы вы думали? – утром он проснулся мертвым». Помню одну школьную проделку на репетиции у Постельса. Имел он обыкновение вызывать заразу троих и отправлять их на кафедру, а сам садился на скамейку. Вызвал он, в числе троих, слывшего за знатока физики и, вообще, естественных наук. После нескольких вопросов Постельс предлагает следующий: что сделается с медным купоросом, если его положить в печь? Знаток естествознания шопотом подсказывает: «жареный купорос», соседи подхватывают его ответ и орут изо всей мочи – жареный купорос. Взрыв хохота целого класса последовал за этим ответом и удивленное покачивание головой со стороны Постельса.

* Постельс Александр Филиппович, тайный советник, член Совета Министра Народного Просвещения, писатель; сын пастора, род 24-го августа 1801 года в Дерпте, где и получил первоначальное образование. <...> Назначенный 16-го февраля 1824 г. помощником инспектора студентов С.-Петербургского Университета, П. 20-го августа 1826 г. отправился в кругосветное путешествие на шлюпе «Сенявин», в качестве члена ученой экспедиции Ф.П. Литке, откуда возвратился 25-го августа 1829 г. с большим запасом естественно-исторических материалов, обработке коих и посвятил ряд последующих лет; за труды в путешествии он получил награду – орден Владимира 4-й степени. <...> 31-го декабря 1835 г., вследствие упразднения в Петербургском Университете должности адъюнкт-профессора по минералогии, оставил Университет и 1-го января 1836 г. поступил преподавателем естественных наук в Императорское Училище Правоведения (где был с 22-го марта 1838 г. до 2-го марта 1845 г. членом [педагогического] Совета и где преподавал до 9-го января 1847 г.).

<...> Для полного исторического описания путешествия Литке, вышедшего в 1834-1836 г., составил 3-ю часть этого труда («Геогностические наблюдения, произведенные в путешествии вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826-1829 г.», СПб., 1836 г.), заключающую в себе, между прочим, геогностические замечания Постельса о Чили, о Ситхе, островах Берингова моря, берегах Чу[ко]тской земли, Камчатке, островах Каролинских, Марианских, Филиппинских, Бонин-Сима и св. Елены; любопытный же атлас, сопровождающий историческое описание этого путешествия, равно как и атлас, изданный от Гидрографического Департамента при «мореходном описании» того же плавания, обязаны существованием своим почти исключительно искусству и трудолюбию Постельса.

П. принадлежит также следующие труды: «Изображения и описания морских растений, собранных в Северном Тихом Океане, у берегов российских владений в Азии и Америке, в путешествие вокруг света, совершенное... в 1826, 1827, 1828 и 1829 г. под команду флота капитана Ф. Литке», СПб., 1840 г.; «Illustrationes algarum in itinere circa orbem jussu Imperatoris Nicolai I atque auspiciis navarchi Friderici Lütke annis 1826-1829 celoce Seniavin executo in oceano Pacifico, imprimis Septentrionali ad littora Rossica Asiatico-Americano collectarum» (с акад. Ф. Рупрехтом); сочинению этому присуждена Академией Наук полная Демидовская премия. <...> – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*

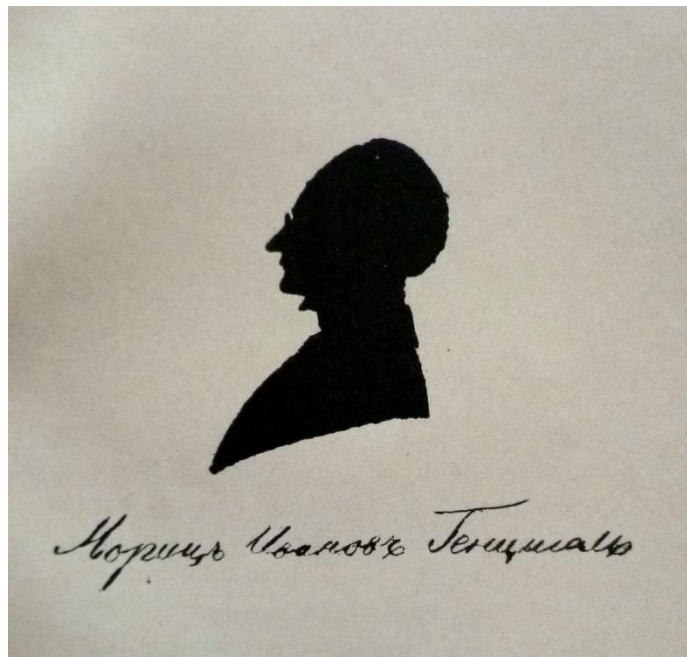
VI.

Во второй половине 1851 гражданского [(календарного)] года я перешел в старшее отделение, в третий класс. В этом классе, кроме Закона Божия, из общеобразовательных предметов преподавались разные словесности, психология и история; из специальных же – энциклопедия законоведения Неволлиным, он же читал и историю русского законодательства, государственное право – Палибиным, остзейское право – Геншельдом и история римского права – Шнейдером.

Лекции Неволлина было утомительно слушать; он читал тихо, как бы рассуждая сам с собою и себе под нос. Государственное право Палибина представляло какое-то извлечение из первых трех томов свода законов. Начиналось оно словами: «император всероссийский есть монарх самодержавный, неограниченный, повиноваться коему не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Порядок делопроизводства в сенате, по словам Палибина, воспитанник училища должен так твердо знать, чтобы безошибочно ответить спросонья на вопрос: в какой департамент направить дело из такой-то губернии. Курс Палибина, может быть и очень полезный, мне казался не наукой, а каким-то сбором сведений, совершенно лишенных научного характера.*

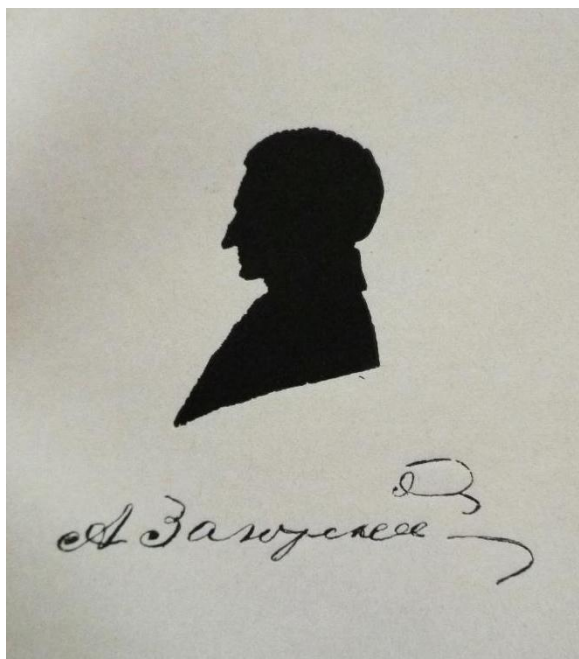
О курсе [Геншельдта](#), остзейское право, у меня не осталось никаких воспоминаний, кроме того, что читался он на немецком языке. С историей римского права я очень мало ознакомился; едва ли не все время моего пребывания в третьем классе посвящено было источникам римского права. Шнейдер был знаток римского права, хотя, может быть, принадлежал к старой школе.

Из других профессоров училища у меня сохранились кое-какие воспоминания о весьма немногих. Помню я профессора судебной медицины Александра Петровича *Загорского*. Сын знаменитого в свое время анатома, Загорский занимал кафедру физиологии в медико-хирургической академии. И если он на пользу науки не пролил ни одной капли крови животного, то, тем не менее, для громадного большинства своих слушателей, он принадлежал к самым симпатичным, дорогим личностям.



Преподаватель Мориц-Готлиб Иванович Генцшаль (1842-55)

* Палибин Никифор Алексеевич (1811-61), магистр, лектор уголовного и гражданского права, в Училище правоведения читал государственное право с 1838 г. до самой своей смерти «от огорчения» (см. ниже).

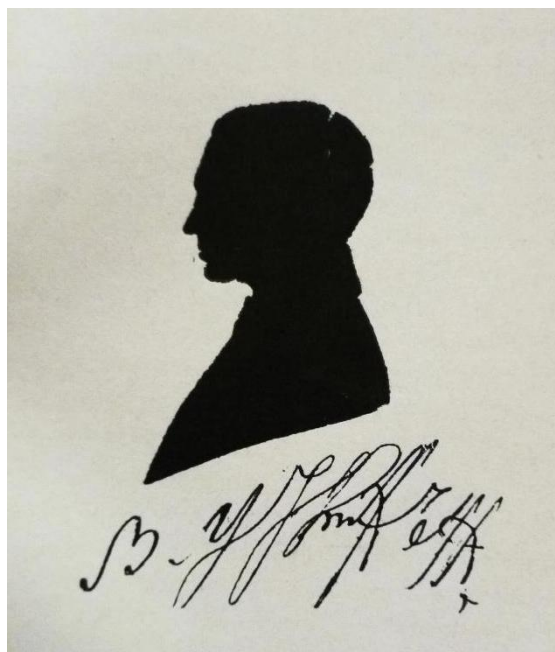


Профессор Александр Сергеевич Загорский (1846-88)

Мне он казался человеком редкой души, к которому трудно не привязаться, если удастся с ним свести знакомство.* Помню его публичные лекции, в зале медицинского совета, о магнетизме, месмеризме и т. п. явлениях. О них ходили в то время самые разноречивые толки, и для натуралиста, который, по выражению [профессора истории Михаила Семёновича] Куторги, может знать только то, что видел его глаз или до чего коснулась его рука, они, может быть, и были неудовлетворительны, но я их слушал с величайшим удовольствием. Их слабые научные стороны выкупались изящностью и простотою изложения.

Когда я поступал в училище, в нем преподавалась политическая экономия и, сколько мне помнится, многие воспитанники высоко ставили преподавателя ее – Уткина. Впоследствии преподавание политической экономии было изгнано из училища, чуть ли не за фразу, найденную в записках Уткина, что труд свободного человека гораздо производительнее труда крепостного.

* Загорский Александр Петрович, доктор медицины и хирургии, заслуженный профессор по кафедре физиологии и патологии Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии, почетный член общества русских врачей в Санкт-Петербурге, тайный советник. Родился в Санкт-Петербурге в 1805 г.; умер 24 сентября 1888 г. в Санкт-Петербурге же. З. был помещен воспитанником Академии Наук в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую Академию; по окончании курса наук в Академии, дальнейшее медицинское образование получил в Дерптском профессорском институте, куда был послан вместе с Н.И. Пироговым, и в числе других молодых людей из русских университетов «для подготовки к дальнейшим занятиям наукой за границей». <...> В октябре 1837 г., по выходе в отставку профессора Велланского, был определен экстраординарным профессором по кафедре физиологии и патологии [в СПб. медико-хирургической Академии]; а в 1839 г. был избран ординарным профессором по той же кафедре. 1 июня 1839 г. З. был признан без экзамена доктором медицины и хирургии. <...> Почти с самого основания Императорского Училища Правоведения и до 1887 г. З. читал курс физиологии и судебной медицины правоведам и пользовался среди них большою любовью. Кроме того З. был неперменным попечителем Мариинского капитала для вдов и сирот врачей и врачом при заведениях Елены Павловны и Министерства Юстиции. Санкт-Петербургская медико-хирургическая Академия обязана З. основанием физиологического кабинета. До 1846 г. З. преподавал физиологию в Академии теоретически. З. был прекрасный лектор и, кроме курса физиологии и патологии, читал еще в медико-хирургической Академии энциклопедию и методологию медицины. Известны его «Записки по физиологии» СПб. 1855 г.; в свое время они были хорошим популярным руководством по физиологии и высоко ценились слушателями. – *Русский биографический словарь* А.А. Половцова



Преподаватель Василий Иванович Уткин (1837-49)

Сохранилось у меня воспоминание о преподавателе межевых законов *Малиновском* – это был своего рода антик. Я не был его слушателем, но, по рассказам товарищей, у него в классе творилось немало чудачеств. Воспитанники с ним были на ты, и нахально требовали выставления известных отметок. К экзамену он раздавал каждому по известному вопросу; воспитанник был обязан выучить только свой вопрос, а иметь какое-либо понятие по остальным частям предмета предоставлялось его доброй воле. Как сходили благополучно подобные проделки – решительно непонятно.*

В училище были преподаватели уголовного права, гражданского права, законов о финансах, судопроизводства, но я о них умалчиваю, так как незнаком ни с их деятельностью, ни с их характером. Товарищи говорили, что профессор уголовного права, прозванный ими Фейербахом, а служителем при классах – Фивербаком, имел слабость выражаться крайне вычурно; фразы вроде следующей: «настоящее, порожденное прошедшим, чреватое будущим» – встречались беспрерывно в его лекциях.

Перехожу к лицам, собственно говоря, воспитывавшим нас.

VII.

Во главе училища, а равно и воспитательного персонала, стоял директор. Во время моего поступления эту должность занимал *Пошман*, умерший в декабре месяце 1847 года. О деятельности его я ничего не могу сказать, так как он был постоянно болен и должность директора исправлял инспектор классов *Кранихфельд*.

Исправление этим последним должности продолжалось до назначения нового директора князя Н.С. Голицына. Кранихфельд, сознавая, что он, как говорится, калиф на час, ничем не ознаменовал свое исполнение должности директора, все шло по заведенному Пошманом порядку. Кранихфельд довольно редко появлялся к нам и, право, трудно сказать – пользовался ли он любовью воспитанников и имел ли на них влияние.

* Малиновский, Феофилакт Лукич (1790—1855) — служил при межевом департаменте сената, преподавал межевые законы в училище правоведения. Главные его труды: «Наука о целых числах» (СПб., 1834); «Опыт деления некоторых углов на три, пять и семь равных частей» (СПб., 1835); «Новая теория линий параллельных и проч.» (СПб., 1839); «Исторический взгляд на межевание в России до 1765 г.» (СПб., 1844). — *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*

Кранихфельд был вместе с тем профессором училища, но не пользовался репутацией знатока дела как, например, Неволин или Шнейдер.*

Вскоре после смерти Пошмана назначен был новый директор – князь Н.С. Голицын. Вступил он в должность с некоторого рода торжественностью, если не ошибаюсь, в феврале 1848 года. Обряд, так сказать, инсталляции совершил сам принц Ольденбургский. Было это чуть ли не в воскресенье; нас ввели в залу старшего отделения, явились принц и князь Голицын. Принц прочел речь, таковую же за ним – князь Голицын, печатные экземпляры речей тотчас же были нам розданы. Затем отправились мы в церковь, перед обедней, как кажется, отслужили молебен, а после обедни разошлись мы по домам.

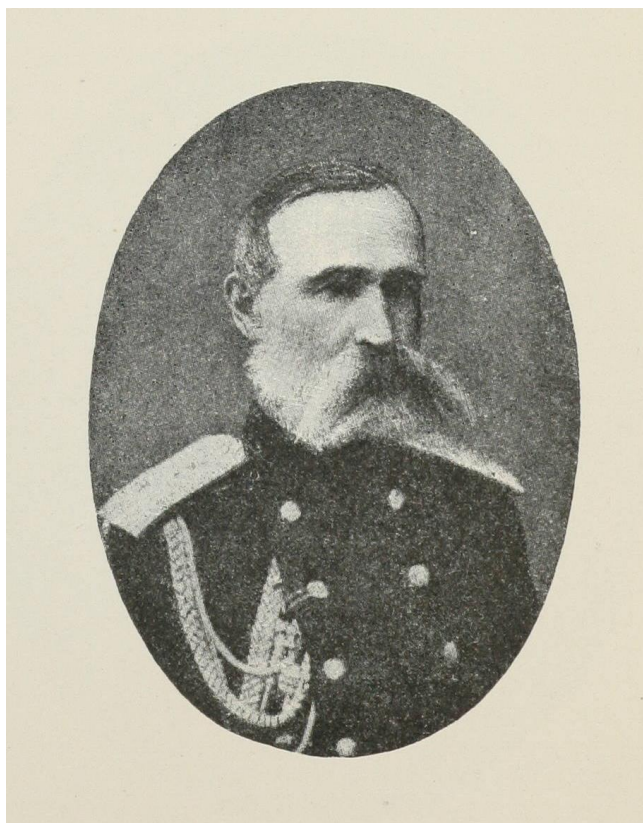
Многие уходили, раздумывая над вопросом – каков-то будет новый директор? Другие же занялись решением вопроса – из каких он Голицыных, куликов или рябчиков. Все занимавшиеся этим последним решили единогласно, что он из куликов, окрестили его прозвищем Кулик и другого названия ему не было между нами.** Князь Н.С. Голицын променял, поступая в училище, мундир генерального штаба на мундир министерства юстиции, полковничьи эполеты на белые невыразимые, с золотым лампасом. До назначения директором училища он был профессором военной академии.

В училище он оставался директором недолго, года полтора или два, не помню хорошенько. Судя по воспоминаниям князя Н.С. Голицына, помещенным в «Русской Старине», он расстался с училищем без сожаления. Училище, в свою очередь, отнеслось к его удалению индифферентно... И все это есть результат крупного недоразумения. Появлению князя Н.С. Голицына в училище предшествовала молва, что новый директор не только человек отлично образованный, но ученый, знаток военной истории и притом человек добрый.

* Кранихфельд, Александр Иванович, профессор Петербургского университета, род. в 1811 г., ум. после 1863 года. <...> В 1831 г. отправлен для приготовления к профессуре в Берлин; вернулся оттуда летом 1834 г., защитил тезисы и получил степень доктора прав и в декабре 1835 г. определен экстраординарным профессором, а в 1838 г. ординарным по кафедре законов о государственных повинностях; вскоре был приглашен профессором в Училище Правоведения; с 1841 г. был в училище инспектором; с 1842 г. по 1861 г. читал гражданское право. Он напечатал: в 1843 г. «Начертание российского гражданского права в историческом его развитии», в 1845 и 1857 гг. актовые речи: «Взгляд на финансовую систему и финансовые реформы Петра Великого» и «О государственных налогах взимаемых по доходу». В 1861 г., по выслуге 25-летнего срока [службы], вышел в отставку; в первые годы по введении [института] мировых судей был мировым судьей в С.-Петербурге. – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*

** «Так как князей Голицыных в России очень много, то они различаются по прозвищам, данным им в обществе, – читаем в записках Ипполита Оже. – Я знал княгиню Голицыну, которую звали *princesse Moustache*, потому что у ней верхняя губа была покрыта легким пушком; другая была известна под именем *princesse Nocturne*, потому что она всегда засыпала только на рассвете. Мой же новый знакомый прозывался *le prince cheval*, потому что у него было очень длинное лицо». «Да Голицыных <...> столько на свете, что можно ими вымостить Невский проспект», – писал брату А.Я. Булгаков. Известен был Голицын, прозванный Рябчиком, был Голицын-кулик, Голицын-ложка, Голицын-иезуит, «Фирс», «Юрка», был Голицын по прозвищу Рыжий. – *Лаврентьева Е. Культура застолья XIX века. Пушкинская пора*

Князь Николай Сергеевич Голицын (1809-1892) в 1839 г. был произведен в полковники, в 1848 г. переименован в действительные статские советники и назначен директором Училища правоведения, а в следующем, 1849 г. вновь зачислен полковником в генеральный штаб. В 1880 г. был произведен в генералы от инфантерии и уволен от службы.



Генерал от инфантерии, князь Н.С. Голицын-кулик

Школяры уверяли, что князь очень учен и специалист по артиллерии до потопы, что в настоящее время он занимается исследованием над артиллерийским вооружением Ноева ковчега и опасается, что строгая цензура наложит на его исследование свое veto. Когда же им возражали, что в те отдаленные времена артиллерии не было, они выставляли на вид метательные снаряды, тараны и разные стенобойные машины и уверяли, что сами видали в курсах артиллерии статьи и рисунки подобных снарядов. Когда же им говорили: «поми-луй, какая же это артиллерия?», они отделялись тем, что это следы артиллерии у древних, так сказать, артиллерия в зародыше.

Но я несколько уклонился от рассказа о новом директоре. Едва ли не главным источником недоразумения между князем и воспитанниками училища было то, что князь не понял воспитанников и полагал, что к ним может быть приложен тот образ действий начальства, какой имел место в военной академии. Кроме того, князь, кажется, был предубежден против училища: он явился к нам с предвзятой мыслью, что училище – распущенное заведение и его следует, как выражались люди того времени, подтянуть.

Князь упускал из виду, что воспитанники училища все-таки школьники, о которых Кайпш метко выражался: «sunt pueri pueri, [pueri] puerilia tractant» [(«**дети есть дети и они ведут себя как дети**»)].

В училище князь не встретил хоть сколько-нибудь серьезной оппозиции, но он беспрерывно наталкивался на мелкие школьные проделки, которые, по-видимому, его раздражали. То подерутся классы младшего отделения между собою, то освистят воспитателя, что на школьном жаргоне называлось «задать бенефис», то заявят неудовольствие на ужин, причем перебьют несколько тарелок, разбросают по столовой картофель и т.п.

Крупных, так называемых, «историй» при князе Н.С. Голицыне была одна. В моей памяти сохранилось воспоминание только об одном казусе, выходящем из ряда обыкновенных и имевшем место в мою бытность в училище.

Это – внезапное исчезновение воспитанников *Беликовича* и *Гагарина*. Говорили, что Беликович и князь Гагарин вывезены были, ночью, из училища по распоряжению Третьего отделения. Попались они, как были убеждены воспитанники, вследствие доноса одного из их товарищей. Этого-то господина начальство, при первом удобном случае, спланило из училища. Повторяю, что я смутно помню этот случай, и только на основании уверений бывших правоведов отношу его ко времени директорства князя Н.С. Голицына.

По словам бывших воспитанников училища, Беликович был разжалован в рядовые и отправлен в оренбургский округ, где убит при штурме какой-то крепости, а князь Гагарин – рядовым на Кавказ; там он выслужился в офицеры, впоследствии был у кого-то адъютантом и произведен в генералы.

Мелких историй при князе Н.С. Голицыне, в училище, была масса: пожалуется ли воспитатель на замеченный им беспорядок или на заданный ему «бенефис», князь тотчас же начнет производить следствие, доискиваться зачинщиков. Потащут в библиотеку к допросу одного, тот наврет с три короба, смотришь – тащут другого, и так перетаскают чуть не полкласса, а в результате выйдет, что гора родила мышь. Благодарение Богу, меня не таскали ни к допросам, ни к следствиям.

Помню, что было следствие *monstre*, перетаскали к допросу половину младшего отделения, т.е. без малого сотню воспитанников; и допрошенных помещали в лазарет. Следствие это длилось несколько дней и прозвано было воспитанниками инквизицией. По какому случаю возникла инквизиция – не помню, но помню, что между воспитанниками ходила масса нелепых и курьезных толков об инквизиции. Иногда следствия оканчивались распекацией со стороны его высочества.

В таких случаях нас выстраивали в зале, являлся принц, с нахмуренной физиономией, и начинал свою речь: «Мальчишки, шалопаи, что вы наделали? да дойди это до сведения его величества, беда вам будет – всем серые шинели», и т.д. Слушая подобные распекании, у меня слагалось убеждение, что добрейший принц не может и не умеет сердиться.

В то время мы не в состоянии были оценить высоких качеств души нашего принца и не понимали, что его высочество мог служить всякому образцом высокой христианской любви к ближнему. Хотя и часты были следствия во время директорства князя Н.С. Голицына и не раз мы получали реприманды от его высочества, тем не менее истинная причина оставления Н.С. Голицыным должности нам была неизвестна. Факт тот, что, однажды, князь из действительных статских советников переименован был в полковники и снова надел мундир генерального штаба. С выходом князя Н.С. Голицына в училище настало время, прозванное воспитанниками междоусобицей*.

Временно вступил в управление училищем адъютант его высочества принца Ольденбургского, полковник Сергей Иванович *Мальцев*. Свое управление училищем он ознаменовал тем, что воспитанника третьего класса перевел в младшее отделение, в четвертый класс, затем высек и, по прошествии нескольких недель, перевел его опять в третий класс. Это единственный подвиг Мальцева, сохранившийся в моей памяти; за что и про что высекли воспитанника, о котором идет речь, решительно не помню.

* Князь Н.С. Голицын, глубокоуважаемый и ныне старейший из оставшихся в живых профессоров военной академии, в своих интересных Записках, напечатанных в «Русской Старине», коснулся и времени пребывания своего на посту директора училища правоведения. – Отсылаем читателя к Запискам князя Николая Сергеевича, см. «Русскую Старину» изд. 1883 г., т. XXXVII, стр. 409-428, 703-712. *Ред.*



Генерал-майор в отставке С.И. Мальцов, 1870-е

Междоусобица окончилась назначением в должность директора училища генерал-майора *Языкова*, как кажется, в феврале 1850 года.*

VIII.

Языкову суждено было долго занимать место директора училища. Он вступил в должность довольно оригинально. Дежурный воспитатель построил нас в зале, чтобы идти к обеду в столовую; едва мы успели построиться, как пред нами явился генерал среднего роста, не очень молодой, в мундире по армейской пехоте состоящего, с георгиевским офицерским крестом, с орденами на шее, но без звезд на груди. Генерал объявил: «Я ваш директор; государь приказал вас забрать в руки; мы знаем, батенька, эти штуки», повернулся на одной ножке, прихлопнул шпорой и полетел дальше.

Воспитанники остались в недоумении и не знали – что сей сон значит. Языков в мое время отличался необычайною суетливостью. В какое бы время ни приехал в училище принц, Языков бежит за ним вдогонку и направо, и налево сыплет вопросы: где его высочество, где его высочество?

* Языков Александр Петрович, генерал-лейтенант, директор Императорского училища правоведения, член Александровского комитета о раненых, писатель, родился в 1802 году. <...> В 1828 и 1829 годах Я. принимал участие в войне с турками. 25-го декабря 1831 г., будучи уже в чине штабс-капитана, выказал блистательную храбрость, идя вместе с вызванными охотниками на штурм Воли, укрепленного предместья Варшавы; за это он награжден был орденом св. Георгия 4-ой степени. При штурме им было получено несколько ран, что обратило на него особое внимание императора Николая I: Я. пожаловано было 4000 рублей на лечение и ежегодная пенсия в 750 рублей. Но лишь только Я. несколько оправился от ран, он снова явился во фронт своего полка (1832 г.), в котором продолжал службу более шести лет. <...> 6 декабря 1849 г. Я. был назначен директором Императорского училища правоведения. И.А. Тютчев в своих воспоминаниях об училище правоведения характеризует его как человека суетливого, с некоторыми чудачествами, но в то же время очень строго относившегося к воспитанникам. В должности директора Я. пробыл приблизительно 29 лет. <...> Тяжкие ревматические страдания, осложнившиеся болями открывшихся ран, полученных Я. в польской кампании 1831 г., лишили его всякой возможности продолжать службу в качестве директора училища правоведения; в 1877 г. он принужден был уехать за границу лечиться и поселился в Вильдене. <...> – *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*

В обращении Языкова с воспитанниками было много оригинального; так, он объяснял, что перед сроком явки из отпуска в училище воспитанника должна трясти лихорадка за час или за полчаса, смотря по расстоянию, и к этому прибавлял: все это штучки. Помню, церковь училищную посещала сестра одного воспитанника, молоденькая и прехорошенькая; ее мы называли Бабетой. Раз как-то один из моих товарищей, стоя в церкви, беспрерывно оглядывался назад. Языков заметил это, подлетает к нему с словами: «такой-то, успокойтесь, как только Бабета появится, я вам немедленно доложу».

Помнится мне, однажды, в миске со щами, на одном столе, во время обеда, оказался таракан. Сидевшие около миски с тараканом подняли ропот, заявили воспитателю жалобу на беспорядок в кухне. Случился в это время как раз в столовой Языков. – «Господа, чем вы недовольны? – начал он свою речь к воспитанникам, – недовольны тем, что попал во щи таракан; экая беда? Знайте, что таракан есть зверь, который водится всюду в России. И что бы было, если бы в России вдруг исчезли все тараканы, клопы и блохи, так что их не было бы возможности ни за какие деньги розыскать ни на почтовых станциях, ни в гостиницах, ни на постоянных дворах». Языков говорил долго и все в таком же духе. Речь Языкова вслед затем была воспроизведена одним из моих товарищей и озаглавлена: «Застольная речь российского генерала о таракане».

Управление училищем, вскоре по вступлении Языкова в должность, ознаменовалось многими нововведениями. Языков уничтожил ужин; ввел для младшего отделения в 11 часов, а для старшего в 12 часов из 2-х блюд завтрак; уроки кончались до обеда, обед давали нам в 4 часа, а старшему отделению в 5 часов. Вечером, в 8 часов, младшему отделению, а в 9 часов старшему давали чай, после чаю полагалась рекреация.

При Языкове введены были общие утренние и вечерние молитвы. Воспитанники начали попарно и в порядке ходить в столовую, и вообще он много сделал в видах порядка и внешнего благоустройства.

В начале управления училищем Языкова произошли большие перемены в личном составе служащих: инспектор классов Кранихфельд оставил эту должность, сохранив за собою профессуру; на должность инспектора определен *фон-Рейтц*, бывший когда-то профессором в дерптском университете и составивший себе известность в науке. По случаю назначения я слышал такой анекдот. Нужно заметить, что между училищем правоведения и Александровским лицеем существовала своего рода rivalité [*соперничество*]. Назначением на должность Рейтца Языков повсюду и всем хвастался, а в одном обществе он зашел так далеко, что торжественно объявил, что лицей не может тягаться с училищем; «и в лицее Броневский, – говорил Языков, – д[*рянь*] и больше ничего, инспектор ему же под пару; положим, я не Бог весть что, да зато у меня инспектор Рейтц – голова, доложу вам; в этом-то и вся штучка».

Рейтц был прекраснейший человек; у меня сохранилось о нем самое приятное воспоминание и вот по какому случаю. Перешел я в третий класс в первом десятке [*учащихся*], мне подмогли отличные отметки из математики и естественных наук. В третьем классе преподаваемые предметы меня вовсе не занимали; я ничего не делал, надеясь как-нибудь подготовиться к экзамену и с грехом пополам перевалить в следующий класс. Очень естественно, что я очутился в третьем классе в числе последних воспитанников. Эти обстоятельства не ускользнули от внимания Рейтца, и в один прекрасный день я получил, чрез воспитателя, приглашение в таком-то часу пожаловать в библиотеку к инспектору.

В назначенный час являюсь в библиотеку, кроме меня и Рейтца в ней ни души. Рейтц встретил меня самым дружелюбным образом: «Я пригласил вас сюда, – сказал он, – не затем, чтобы делать вам выговоры, упреки, а для того, чтобы вместе обсудить ваше положение и дать вам добрый совет».

Рейтц находил, что я не лишен способностей, не лентяй и если ничего не делаю, то, вероятно, потому, что не имею склонности к юридическим наукам; в таком случае, он находил, мне лучше всего перейти в университет. — «Конечно, там вы, вероятно, запишитесь не на юридический или филологический факультет, а на физико-математический или медицинский. Средства материальные вам позволяют сделать такой переход, вы ведь своекоштный...» И долго беседовал со мной Рейтц насчет перемены заведения и насчет будущей карьеры. Я поблагодарил Рейтца за участие в моей судьбе, как умел, и вышел из библиотеки с твердым намерением сделаться натуралистом.*

Мне стоило много хлопот уговорить отца взять меня из училища и согласиться на мое поступление в университет. В январе 1852 года я оставил училище, а в августе того же года состоял в числе первокурсников петербургского университета по разряду естественных наук.

* Рейц, фон-, Александр-Магнус-Фромгольд (Alexander-Magnus-Fromhold von-Reutz), профессор Дерптского Университета; род. 28-го июля 1799 г. в Рестгофе, Дерптского уезда. <...> В январе 1820 г., по предложению проф. Неймана, юридический факультет [Дерптского университета] вошел в [педагогический] Совет с представлением о разрешении студенту фон-Рейцу вести преподавание по особенной части Русского уголовного права [(на русском языке!)] под руководством факультета и приложил при этом [хвалебный] отзыв проф. Неймана о первых трех отделах курса в обработке Рейца. Совет препроводил это представление попечителю [учебного округа], который от 6-го февраля уведомил, что министр [народного просвещения] изъявил согласие, «чтобы из объявленных проф. Нейманом в текущем полугодии публичных лекций дозволено было специальную часть Российского уголовного права преподавать студенту юридического факультета фон-Рейцу под надзором его, госп. Неймана» и с тем условием, чтобы последний каждый раз просматривал и одобрял каждую предстоящую лекцию.

Столь рано начатая под таким авторитетным руководством преподавательская деятельность молодого студента совершенно упрочилась, когда Рейц к началу 1821 года прослушал все лекции юридического факультета, сдал в течение первых месяцев 1821 г. кандидатские экзамены, которые тогда только что были введены, представил, в качестве кандидатской диссертации, печатное сочинение под заглавием: «Versuch eines historisch-dogmatischen Darstellung des russischen Vormundschaftsrecht» и 2-го июля был утвержден Советом в звании кандидата прав.

<...> Вслед за назначением Рейца ординарным профессором [в марте 1830 г.] его постигла тяжкая болезнь. Уже в своем прошении 30-го декабря 1830 г. он указывает, что шестимесячное упорное страдание горла лишило его возможности читать лекции, почему он испрашивает себе отпуск на 6 месяцев за границу, с 1-го мая 1831 года. <...> Из отпуска Рейц вернулся 13-го октября 1832 г., далеко не восстановив своего здоровья в желательной мере. В течение нескольких ближайших лет слабость голоса, иногда совершенно пропадавшего, не только заставляла его испрашивать новые отпуска для подкрепления здоровья, но и вынудила так же сначала ограничить чтение лекций беседами у себя дома, а потом и совершенно заменить устное преподавание считыванием диктанта, что поручалось одному из слушателей.

Эти подробности, конечно, были хорошо известны всем в маленьком городке; но их обходили молчаливым как из уважения к Рейцу, так и ввиду полной невозможности заменить его соответственным преподавателем. Иначе отнесся к этому строгий попечитель Крафштрем: в апреле 1839 г. он запросил Совет, насколько справедливы дошедшие до него сведения, что не все лекции читаются, и что имел место факт передачи студенту тетрадей, который прочитывал их прочим слушателям в отсутствие преподавателя и функционировал за профессора. Хотя эти сведения и не подтвердились вполне, но Рейц отнюдь не скрыл, что состояние его голоса не позволяет ему вести устное преподавание. Несмотря на ходатайство Совета и указание, что «Совет вменяет себе в обязанность засвидетельствовать, что во все время почти 19-летней службы его, Рейца, он не только что исправлял должность академического преподавателя вообще всегда посильно и ревностно и отличался деятельностью своей, как сочинитель, но и особенно и с наилучшим последствием старался о образовании студентов сего Университета по части русского права и таким образом оказывал важную пользу сему заведению, а вместе с тем по всей справедливости заслужил благодарность сего Университета», он был уволен в отставку по болезни в феврале 1840 г. с назначением в пенсию $\frac{2}{3}$ оклада жалованья.

<...> После нескольких лет пребывания в отставке Рейц [в 1851 г.] поступил снова на службу, в Училище Правоведения инспектором классов, но оставался там всего три года [до 3 февраля 1854-го]. Скончался 2 июля 1862 г. в своем имении Хтины, Гдовского уезда. — *Русский биографический словарь ИРИО, издававшийся под наблюдением А.А. Половцова*

Хорошо ли, дурно ли я сделал, послушавшись совета Рейтца, трудно сказать, но за его теплое участие я ему благодарен до сих пор. И только раз в жизни пожалел я, что я не юрист, это – когда вводились новые судебные уставы.

Рейтц пробыл на службе в училище недолго, его место занял Витте; перемена эта совершилась уже по выходе моем из училища. Рейтца, я полагаю, любили воспитанники за его снисходительность и мягкое обхождение. Многим, наиболее способным, он помогал своими советами, литературными указаниями, ознакомлением с научными методами и Рейтц ведь был настоящий немецкий Gelehrter [(ученый)].

Х.*

При Языкове создана была особая должность в училище – инспектора воспитанников. На эту должность назначен был Рутенберг, подполковник артиллерии, занимавший до того времени в артиллерийском училище должность библиотекаря и преподавателя гиппологии [(учения о лошадях)]**.

Я питал к Рутенбергу глубокое уважение и особую симпатию; помнится, и он относился ко мне с особым расположением, называл обыкновенно меня не по фамилии, а по имени и отчеству. Я слышал от некоторых из бывших правоведов упреки Рутенбергу, что он не педагог и его место не инспектора воспитанников, но они мне кажутся несправедливыми.

Рутенберг представляется мне до сих пор честнейшим и благороднейшим человеком; я высоко ценил его прямоту, отвращение от всяких дразг; жалоб товарищей друг на друга и даже жалоб воспитателей на воспитанников он терпеть не мог.

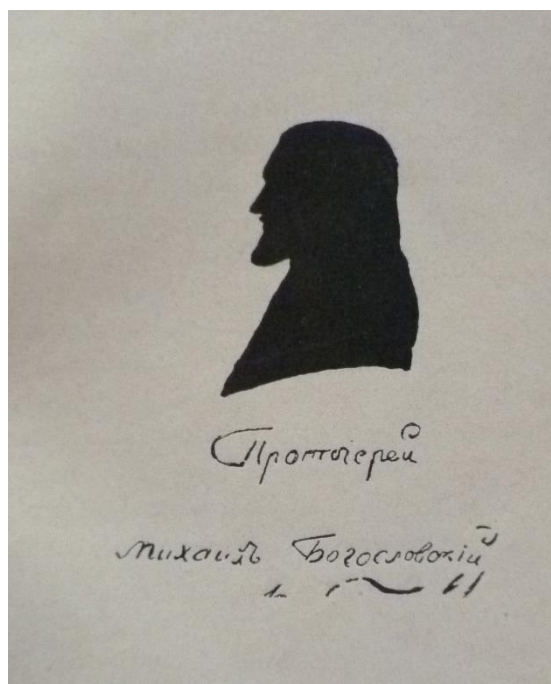
Рутенберг не был строг с нами, но постоянно одинаков и невозмутимо флегматичен. Я живо помню его первое появление в столовой во время завтрака. Кто-то из воспитанников стащил пирог, так что одному не достало пирога; не получивший заявил требование; между сидевшими за столом возникли препирательства, послужившие к открытию виновного. Рутенберг пригрозил ему карцером; это не понравилось воспитанникам, они начали топтать ногами, но Рутенберг не обратил никакого внимания на страшный tapage [(шум)] и не вышел из себя. Через несколько минут шум улегся, все успокоилось. Рутенберг, покручивая усы, процедил сквозь зубы: «Я обстрелянный, меня этим не испугаешь».

Чрез это воспитанники очутились в курьезном положении: цель их – вывести из терпения Рутенберга – не удалась, он не пошел ни жаловаться, ни розыскивать виновников, все осталось так, как бы между нами ничего не происходило. Поведение Рутенберга произвело большой эффект и было предметом толков между воспитанниками. Что Рутенберг не любил дразг и следствий, видно из следующего факта, твердо сохранившегося в моей памяти.

Мы были уже в третьем классе; не помню, кому-то пришло в голову предложить классу не подходить к Богословскому под благословение; предложение показалось заманчивым и было принято, не встретив ни с чьей стороны возражений. Входит в класс Богословский – все сидят по местам; он приказывает читать молитву: ее читает Шишкин и садится на место; никто не двигается за благословением.

* Следование сей, X главы, сразу за VIII-й указывает на некую техническую ошибку, возникшую при печати «Воспоминаний» И.А. Тютчева в «Русской Старине» (по вине то ли автора, то ли редакции): IX главы нет ни в обозначенном журнале, (включая и №1 за 1886 г.), ни в отдельном оттиске из номеров одного, вышедшем в конце 1885-го (было дозволено цензурой 2 декабря 1885 г.), т.е. ранее напечатания №2 за 1886 г. – 1 февраля.

** Александр Иванович Рутенберг (1811-1855), с 1849 г. помощник директора Училища правоведения, инспектор воспитанников, одновременно преподавал воинский устав и гиппологию в Михайловском артиллерийском училище. В 1847 г. издал книгу «Руководство к познанию лошади по наружному ее осмотру» (была переиздана в 2011-м!). В 1855-м получил чин полковника.



Протоиерей Михаил Измаилович Богословский (1835-65)

Начинается урок, все идет благополучно, обычным порядком; раздается, наконец, звонок по случаю окончания урока; опять читается молитва, но никто не двигается за благословением. Богословский оглядывается назад и видит массу воспитанников других классов, упершихся лбами в стеклянные двери нашего класса, а за ними толпу других, заглядывающих в класс; у всех на лицах написано: а что-то будет? Богословский не выдержал, потерял самообладание, разбранил нас и нажаловался начальству. Начальство доложило о случившемся принцу; его высочество приказал лишить нас отпуска впредь до его распоряжения. Казалось бы, дело тем и должно было окончиться, но нашему добрейшему воспитателю пришла охота доискаться до зачинщика. Каждый вечер, являясь в класс, производил он допросы.

Случайно проходил Рутенберг мимо класса, заметил воспитателя, допрашивавшего воспитанника, стоявшего у кафедры, и, зайдя в класс, спросил воспитателя: «чем это вы занимаетесь?» Несколько сконфуженный, воспитатель пробормотал: «видите ли, я стараюсь разузнать, кто из них затеял не подходить к священнику под благословение».

– Зачем вам? Хотите найти паршивую овцу и сделать ее козлицем отпущения? Все ведь они не подходили под благословение, ну и пусть все сидят без отпуска. Оставьте это...

И с этими словами Рутенберг вышел из класса. Воспитатель послушался доброго совета, прекратив розыск, и мы просидели шесть недель в училище без отпуска до Екатеринына дня, когда снято было с нас наказание, благодаря Рутенбергу, без всяких дурных последствий для кого либо из нас.

Рутенберг был знатоком и любителем лошадей; он издал очень недурное руководство к познанию лошади по наружным признакам, хотя оно сильно напоминает сочинение [немецкого художника и ветеринара] Baumeister'a: Anleitung zur Kenntniss des Aeussern des Pferdes. Кроме того, уверяли воспитанники, Рутенберг был большой любитель бильярдной игры.



Ресторан «Доминик», Невский, 24 (фото К.К. Буллы, начало XX века)

Говорили, что Рутенберг в воскресенье, отслушав обедню вместе с нами в православной училищной церкви, отправлялся на конную площадь, где осматривал продажных кляч, и нередко предлагал продавцам вопросы: «а что ты хочешь за сию рыжую кобылу?», вовсе не имея в виду не только купить, но и торговать кобылу. С конной он заезжал к Доминику играть на бильярде; от Доминика возвращался домой к обеду*.

Так проводил Рутенберг или, как называли его воспитанники, «Фролка» воскресные дни. Правда ли это или нет – не знаю. Фрол – патрон лошадей; это прозвище дано Рутенбергу в артиллерийском училище, о чем мы узнали от самого Рутенберга, и вот по какому случаю: двое воспитателей получили прозвание «топфов»**, с какими-то, не совсем приличными, немецкими придатками. Узнав свои прозвания, они обиделись и пожаловались Рутенбергу. Перед завтраком, когда мы построились, чтобы идти в столовую, является Рутенберг в сопровождении обиженных воспитателей.

– Что это вы, господа, даете за прозвания воспитателям, ни на что не похожие. Ну, меня в артиллерийском училище называли Фролом, а вы называете одного воспитателя таким топфом, а другого – иным, так что совестно произнести, они жалуются – это чорт знает что такое... Старший, командуйте!

Раздалась команда и мы, подсмеиваясь над воспитателями, отправились в столовую. Еще раз повторяю, что я сердечно любил «Фрола», добром его вспоминаю и не раз в обращении с молодежью следовал его примерам и до сих пор не имел случая в этом раскаиваться.

XI.

Вслед за учреждением должности инспектора воспитанников введено обучение нас маршировке и последовало распоряжение о замещении должностей воспитателей офицерами. Языков завел даже барабан, и одно время он бил утреннюю и вечернюю зорю, по счастью не в самом училище, а на училищном дворе.

* Речь идет о ресторане «Доминик» на Невском проспекте, с бильярдными столами.

** Topf (нем.) – горшок, кастрюля. Topfkuchen – баба (кулинарная), Topflappen – кухонная тряпка, Topflesker – лакомка, блюдолиз.

Обучение маршировке производилось после завтрака. К нам приходили унтер-офицеры, не помню, каких-то гвардейских полков; это были профессора шагистики. Каждому унтер-офицеру поручалось обучение чуть ли не десяти воспитанников. Учитель с учениками избирали себе какое-нибудь местечко в зале, водворялась тишина, прерывавшаяся то командой: тихим учебным шагом в три приема, раз, два, три, то командой: скорым шагом марш и топаньем ног, раз, раз, раз и т.д.

Меня сначала учили вместе с другими, но потом отдельно; мне в учителя был назначен особый унтер-офицер. Долго длилось мое обучение, прежде чем убедились, что нет никакой возможности выучить меня попадать в такт. Так на всю жизнь я и остался «человеком без такта». Когда окончательно убедились в моей крайней неспособности в маршировке, меня бросили обучать ей.

С поступлением Языкова на должность директора училища многие старые воспитатели оставили службу в училище. Из воспитателей времен Пошмана оставалось сравнительно немного. Некоторые из них обращали на себя общее внимание воспитанников своею своеобразием. Живо помнится мне воспитатель *Мальо*. Француз по происхождению, Мальо служил в русской военной службе, имел Владимира с бантом и георгиевский крест за двадцатипятилетнюю службу; до поступления в училище, как говорили, был дежурным офицером в Пажеском корпусе. Специальность Мальо составляла стрижка; в столовой Мальо расхаживал между скамьями, занятыми воспитанниками, запуская свои руки в волосы воспитанников, и если они оказывались длинными, то имя обладателя их заносилось в особый список, а ему Мальо сообщал: «*mon cher*, стригака тебя давно ждет». Мальо усердно наблюдал, чтобы его советы остричь волосы не пропадали даром.

Другая специальность его была остричь, и остриг он очень своеобразно: то спросит в столовой во время своего дежурства: «кто желает получить мою порцию?» И когда с разных сторон раздадутся крики: «я, я, я», с его стороны внезапно последует: «и я, *mon cher*». То кому-либо из воспитанников скажет: «*mon cher*, мы с тобой земляки». – «Как так?» – «Да, *mon cher*, земляки, потому что по одной земле ходим». То объявит новичку, что сегодня солнце в починке; тот смотрит вытараща глаза на Мальо; – «да, *mon cher*, в починке солнце, видишь какой сегодня серый, туманный день, все оттого».

Подобных острот и такого же достоинства игры слов слышалось от Мальо множество. Помню, что будучи студентом как-то встретился я с Мальо на улице; после обычных приветствий слышу: «а ведь я тебя, *mon cher*, очень люблю». – «Благодарю вас, но за что же?» – «Эх, *mon cher*, ты и теперь, выйдя из училища, носишь короткие волосы; за это, *mon cher*, и люблю тебя; более не за что мне тебя любить». Поступив в училище, я застал его пожилым человеком; в настоящее время прах его, вероятно, давным-давно покоится в земле. Нельзя сказать, чтобы воспитанники любили Мальо, но относились к нему довольно либерально. Не получив хорошего образования, Мальо сделался типом хорошего служака Николаевского времени, типом, ныне крайне редким.

К числу воспитателей времен Пошмана следует отнести воспитателя нашего класса, *Кайпша*. К какой нации он принадлежал – трудно сказать, точно так же трудно определить – где он получил образование и как оно было обширно. Кайпш говорил по-французски и по-немецки. Был он преподавателем географии, но откуда берутся у нас географы – это загадка для меня; в университетах нет кафедры географии; правда, что там преподается, так называемая, физическая география или, точнее, физика земного шара, и ею студенты обыкновенно занимаются настолько, сколько нужно, чтобы благополучно сдать экзамен. Едва ли не большинство наших учителей географии составляют неудавшиеся филологи. Был ли Кайпш неудавшимся филологом или нет – не знаю... Кайпш был добрый человек, хотя и пользовался репутацией недалекого.

Первое время нашего пребывания в училище, по субботам, после всенощной, он приглашал нескольких воспитанников к себе, угощал чаем, десертом и, видимо, желал с нами поближе познакомиться. Эти приглашения прекратились со смертью его жены. Кайпш овдовел, когда мы были в седьмом классе, вскоре после нашего поступления. Обращение Кайпша с воспитанниками было мягкое, он никогда не говорил нам «ты».

Фигура Кайпша была невзрачная, небольшого роста, с большой головой, прикрытой париком, с ногами, обезображенными мозолями и шишками. Эта фигура Кайпша была предметом глумления школьников. Помнится, что раз как-то, во время посещения училища государем Николаем Павловичем, Кайпшу пришлось отворить государю дверь из младшего отделения в старшее. Государь что-то спросил Кайпша и, получив ответ, улыбнулся. Эту улыбку государя заметили школяры и кому-то из них пришла фантазия сообщить товарищам, что наш Кайпш будет пожалован в камер-юнкеры и как хорош он будет в камер-юнкерском мундире.

Нашлись школяры, решившиеся поздравлять Кайпша с пожалованием ему камер-юнкерства... Вместо благодарения за поздравления, Кайпш отделивался: «тпс, ах, оставьте». Кайпш не довел нашего класса до выпуска; когда я оставлял училище, Кайпш назначался библиотекарем. Кайпша называли «чичем» и воспитанники на мотив из Роберта распевали:

Как жил чич,
С поповной под лестницею,
Кормил он поповну яичницею
и т.д.

По случайному стечению обстоятельств в этих словах скрывалось пророчество. Кайпш, как мне сообщали, по оставлении службы в училище, поселился в своем имении, где-то на севере России, был мировым посредником и перед смертью женился на поповне из благодарности, желая ей предоставить свою пенсию. Много лет до смерти он тяжело страдал, вследствие паралича или иного недуга, и поповна была его *garde-malade* [[сиделка](#)]. Еще раз повторяю, что Кайпш был добрый человек и едва ли кто из правоведов станет утверждать противное.

Из воспитателей, поступивших в училище после смерти Пошмана, помнится мне *Попов*. Он поступил чуть ли не одновременно с своим другом Носовым, филологом, сделавшимся известным изданием множества руководств и пособий изучения древних языков. В мое время в представлении воспитанников имена Носов и Попов так тесно связаны были друг с другом, как имена Monge и Bertollet в умах солдат египетской армии первого консула [[Наполеона](#)].*

* В Интернете можно найти следующий совместный труд российских «Monge и Bertollet»:

«Руководство к изучению латинского языка, составленное по Кюнеру» [[составители – П.М. Носов и А.А. Попов](#)]; СПб., с 1852-го до 1881 г. вышло 13 изданий. В 1899 г. появилось на свет и 15-е издание (печатано без перемен с 13-го изд.). Эти издания были одобрены Ученым Комитетом Министерства Народного Просвещения как руководство для Гимназий и Прогимназий этого Министерства, кроме того они были приняты в Императорском Училище Правоведения и в Императорском Александровском Лицее. В общем, сия плодотворная деятельность была, похоже, сродни освоению золотоносной россыпи...

Кроме того, уже без А.А. Попова, его усидчивый коллега издал и такие труды:

1) Носов П. Латинская хрестоматия. Ч. 1. С примечаниями и словарем. СПб., тип. Глазунова, 1870. VI, 468 с. С. 289-468. Латинско-русский словарь (около 5000 слов). В 1881 г. вышло уже 4-е изд., исправленное.

2) Носов П. М. Латинская хрестоматия. С прим. и словарем. Изд. 4 (значит, перед этим были еще 3 издания). Ч. 2. СПб., 1899, 568 с. Отрывки латинских текстов из Вергилия, Горация, Ливия, Овидия, Саллюстия, Сенеки и Цицерона.

3) «Греческая Хрестоматия» с примечаниями и словарем П.М. Носова (М., 1900).

Во времена обучения в Училище правоведения князя В.П. Мещерского П.М. Носов стал «беспощадно и мертво строго» преподавать латинский язык (см. ниже).

Попов, питомец педагогического института, отлично кончил курс как гимназии, так и института; успехи его, добытые страшным усидчивым зубрежом, развили в нем самолюбие до болезненности. Эту слабую черту Попова воспитанники тотчас подметили и пользовались ею, чтобы безнаказанно курить во время его дежурств.

Устраивалось это обыкновенно так: Попов, с думой на челе, вероятно, ни о чем, расхаживает, заложив руки за спину, по зале. Для курильщиков нужно только, чтобы Попов не заглянул в класс, где они намерены расположиться около душника, покурить. С этой целью товарищи уговаривают кого либо – отправиться занимать Попова разговорами и отвлекать его внимание от класса, в котором курят, не препятствуя ему заглядывать в другие классы. Не знаю, почему-то любил занимать беседой Попова *Браилко*.

Обыкновенно Браилко подходил к Попову и начинал толковать с ним о скучной и неблагодарной обязанности воспитателя, затем, постепенно переходил к тому, что хорошо было бы Попову переменить службу и что ему следует, по крайней мере, быть вице-губернатором, что и чин надворного советника (которым обладал Попов) самый к тому подходящий и т.д. Попов таял от речей Браилко. Таким образом, беседа затягивалась надолго, и курильщики могли спокойно выкуривать целые пушки, а не ограничиваться одной или двумя затяжками.

По выходе из училища я встретился еще раз с Поповым, будучи на службе в варшавском учебном округе, и имел случай покороче его узнать. Холостая жизнь (он и умер холостяком) сделала его до некоторой степени чудаком и богомолком; болезненное самолюбие под старость еще более усилилось. Русские авантюристы, бывшие на службе в Польше, не любили Попова, считали его педантом и формалистом. Поляки, хотя и считали его формалистом и тяжелым человеком, тем не менее уважали в нем честность убеждений, серьезное отношение к делу и безупречное исполнение долга службы.*

Вслед за состоявшимся распоряжением о замещении военными воспитательских должностей, в училище появилась масса офицеров разных родов оружия и даже некоторые из штатских воспитателей, служивших когда-то в военной службе, напялили на себя военные мундиры. Некоторые из этих последних представляли комические фигуры. Так, один из них являлся на дежурство в мундире пехотного полка и в **широчайших [правильно, шароварах? – МК]** невыразимых, вроде казачьих. Другой, так же в пехотном мундире, напоминал собою баварских офицеров, которых мне впоследствии случилось видеть в Майнце.

Из военных воспитателей, поступивших в училище, ко мне как-то особенно благоволили артиллеристы. Один из них, поручик учебной артиллерийской бригады, почему-то меня особенно полюбил; он, как говорится, пригрел меня.

* Попов, Аполлон Андреевич – тайный советник, член Совета Министерства Народного Просвещения; происходил из дворян Тамбовской губернии; окончив в 1842 г. курс историко-филологического факультета Главного Педагогического Института, П. посвятил себя учительской деятельности. П. преподавал историю и статистику в Крожской и Ковенской гимназии (до 1849 г.), затем — историю и русскую словесность в различных учебных заведениях в С.-Петербурге: в мужских гимназиях, в Училище Правоведения (1853-1864), где с 1849 г. был воспитателем и преподавателем географии, во 2-м Кадетском Корпусе, Павловском (1863-1865) и Константиновском Военных Училищах. В 1864 г., после того, как волнения в Польше были подавлены и предположено было произвести в ней реформу учебной части, П. (получивший в 1862 г. чин действительного статского советника) назначен был начальником учебных дирекций в Варшаве и Плоцке и руководил преобразованием и устройством учебных заведений на русских началах. Человек энергичный, он настойчиво проводил в своей деятельности предначертания правительства и сумел – своими заботами о народном образовании – заслужить признательность местного общества, учредившего в одной из Плоцких Гимназий стипендию его имени. В 1875 г. П. назначен был членом Совета Министерства Народного Просвещения. В этой должности он много потрудился над составлением ежегодных отчетов низшим учебным заведениям. Умер П. в Петербурге 17-го июля 1885 г. <...> – *Русский биографический словарь ИРиО, изданный под наблюдением А.А. Половцова*

Когда его назначили заведывать физическим кабинетом и естественно-историческими коллекциями, он выбрал меня в помощь себе для проверки каталогов и приведения кабинета в порядок. Это внимание с его стороны льстило моему самолюбию и было почему-то особенно приятно...

До сих пор я храню о нем самое лучшее воспоминание и мне всегда доставляет большое удовольствие, если удастся с ним где-либо встретиться и перекинуться несколькими словами.

Другой воспитатель, которому я очень симпатизировал, был поручик гвардейской конной артиллерии [Рейнгольд Петрович] Рейнталь. Это был человек очень образованный; по окончании курса артиллерийского училища он вышел из офицерских классов одним из первых, но по внешности был очень безалаберный. Являлся на дежурство частенько позже назначенного для смены времени и чрез это вызывал неудовольствие таких службистов, каким был Попов. В мою бытность в училище Рейнталь занимался учениями Лафатера и Галля и по этому случаю, кажется, перещупал головы чуть ли не всех воспитанников. Он был очень порядочный математик, а в училище занялся переводом оды «Бог», Державина, на немецкий язык. Говорили, что он сделал это от скуки, во время дежурств. Уже одновременное занятие математикой, френологией и переводом оды «Бог» обличали в нем недюжинный ум и незаурядные способности.

Впоследствии я встретился с ним в Царстве Польском; он занимал там должность помощника начальника артиллерии варшавского округа и пользовался известностью, как знаток материальной части артиллерии и изобретатель светящихся ядер. Я встретился с ним, когда лета, а главное – потеря жены несколько поугомонили его. Про него мне довелось много слышать анекдотов, которым и не поверил бы, если бы не был уверен в правдивости рассказчиков.

Были в училище воспитатели, не любимые воспитанниками, но таких было очень немного: один, два и обчелся. Я решительно не могу, да и не мог себе объяснить, за что именно они пользовались общим нерасположением нашим. Расположение или нерасположение воспитанников к кому-либо из воспитателей выражалось воспитанниками довольно своеобразно.

Если дежурил воспитатель, которого любили воспитанники, то в рекреационное время собирались они около столика, поставленного в зале для дежурного; шли толки о разных предметах и т.д. Если он прохаживался по зале, то и тут несколько человек его сопровождало и беседовало с ним. Помню, как-то разгуливая с Андреевым по зале, у нас зашла речь о чем-то из геометрии. Разговор окончился обещанием Андреева принести мне книжку Terquem'a. – «Да что и говорить, сударь ты мой, книжка хорошая, почитай ее, в ней и портки пифагоровы выкроены на иной лад». И действительно, в ней нашел я очень простое доказательство всем известной теоремы Пифагора. Видимо, воспитанники старались занимать и развлекать любимого воспитателя.

Если дежурил воспитатель, не пользовавшийся расположением воспитанников, то никто к нему не подходил, никто с ним не разговаривал, все относились к такому хотя вежливо, но сухо, официально, а между тем, при первом удобном случае, при малейшей оплошности с его стороны, готовы были устроить ему какую-нибудь школьную проделку.

Наконец, был еще один воспитатель, которого воспитанники в известной степени любили, но с которым не пускались в собеседование – уж больно обидчив был... Про него говорили воспитанники, скажи ему: «Александр Иванович, сегодня скверная погода», Александр Иванович обидится; скажешь ему: «сегодня у меня брюхо болит, позвольте отправиться в лазарет», – и Александр Иванович обидится. Что ни скажи ему – все обижается. Невзирая на это, все считали Александра Ивановича благородным человеком.

Относясь подобным образом к воспитателям, мы не сознавали, что служба их далеко не легкая, в особенности при таком суетливом директоре, каким был Языков. Впрочем, мне говорили, что в царствование императора Александра II Языков сделался неузнаваем, совершенно иным человеком, в особенности после того, как побывал не раз за границей.

XII.

Мне следует сказать хоть несколько слов о жизни воспитанников в стенах училища и при этом, прежде всего, является вопрос: каково-то мне жилось в них? И на такой вопрос я могу спокойно ответить, что там прошли лучшие годы моей жизни, что нигде и никогда мне не жилось так хорошо, как в училище, невзирая даже на то, что первые два или три месяца мне приходилось тяжело. Приставанье с вопросами: «как ваша фамилия», «отчего вы такой толстый», «зачем у вас круглая физиогномия, как у луны в полнолуние?», все это, конечно, надоедало и досадовало. Но как всему на свете есть конец, так и настал конец приставанью и тогда я мог сказать, что акклиматизировался в училище.

С товарищами по классу я скоро поладил, и между нами скоро установились нормальные отношения и эти нормальные отношения вслед затем установились между мною и воспитанниками других классов. Эти отношения можно характеризовать словами: «égalité» и «fraternité». В училище мы все были равны и говорили друг другу «ты». Языков пытался уничтожить между нами égalité, выдумав кроме старшего воспитанника, бывшего в каждом классе, еще и подстарших, но это ни к чему не повело. Помнится, что один старший сокрушался о том, что он лишен всякой власти и положение его чрез это хуже собаки – что подало повод товарищам прозвать его фельдфебелем, завидующим собаке.

Но возвращаясь к прерванному рассказу о моем житье-бытье.

По воскресеньям и праздникам ходил я к одному священнику. Сын его, по летам гораздо старше меня, был в университете и обыкновенно во дни отпусков являлся за мной в училище. У священника я встречал студентов, приходивших к его сыну; то были по большей части юристы и тут-то мне пришлось услышать, что правоведы составляют особую касту, что это бари, баловни судьбы и, невзирая на то, что по образованию и по познаниям они несравненно ниже стоят студентов юридического факультета, все-таки на службе сядут этим последним на шею и имеют пред ними преимущество; что всем они обязаны единственно протекции и связям. Я слушал совершенно спокойно подобные толки и не обращал на них никакого внимания. Впоследствии я имел случай убедиться, что в известном слое нашего общества скрывалось недоброжелательство к правоведам и нерасположение к училищу. Правоведское *Respice finem* [(«предусматривай конец»)] мозолило многим глаза.

Жизнь в училище изо дня в день протекала довольно однообразно. День проходил в занятиях, свободное время – в играх: в мяч, лапту, пятнашки, и разнообразилась она подчас какою-нибудь выходкою отчаянного школьника, за которую раба Божия выдерут. Операцию эту производил в спальне старший над дядьками Кравченко, в присутствии кого-либо из воспитателей. Воспитанники относились к этому наказанию, впрочем, довольно редко налагаемому, очень своеобразно.

Подвергнутый наказанию в их мнении ничего не терял, – отношения к нему товарищей не изменялись. Все как бы сознавали, на то и начальство, чтобы драть нашего брата за шалости, но не следует драть за пустяки. Дядя Мотя, так звали одного из моих приятелей, говаривал: «скверно, брат, что дерут, а еще хуже, когда приходится собственной марфуткой отдуваться; ну, не попадайся».

Помнится мне только один случай сечения, всех нас возмущивший; это – когда Языков воспитанника, предназначенного к исключению, высек пред всем младшим отделением, построенным в зале. Воспитанники, если и равнодушно относились к сечению, все-таки не желали быть свидетелями этих операций.

Подчас нормальное течение жизни нарушалось жалобами на дурной стол, по правде сказать, в большинстве случаев неосновательными. Помнится, что, будучи уже студентом, зашел я в училище навестить приятеля и попал как раз вскоре после того, как заявлены были воспитанниками жалобы на дурной стол.

Швейцар, вызвав вниз, в приемную, моего приятеля, не утерпел, чтобы не заметить: «вот они-с (относилось ко мне), как вышли на собственное продовольствие, так похудели, а наши господа недовольны пищей, поди, угоди на них...»

Повторяю, в училище кормили нас весьма и весьма недурно, что, впрочем, любителям покушать не мешало посылать дядек за пеклеванником, двенадцатикопеечную колбасою, за сардинками, пирожками и т.п. Был у меня товарищ, ухитрившийся как-то на масленице протащить в класс горшечек с икрой и блины. С ним тогда случился такой казус; преподаватель забрался на кафедру, а он, намазав блин икрой, отправлял его в рот. Заметил это преподаватель или нет, только вызывает любителя блинов. Встает Щ., не успев проглотить блин, и не может вымолвить ни слова. Преподаватель, видно, сжалился над ним: «садись, – произнес он не без иронии, – вижу, первый блин комом...».

Иногда на неделе посещал училище его высочество принц Ольденбургский и при встрече спрашивал меня – как твоя фамилия, кто это: Тиньков, Тырков, Тютчев, и каждый раз, когда принц бывал в училище, он считал своею обязанностью посетить лазарет, навестить больных.

После крещения, или около первых чисел февраля, жизнь разнообразилась ожиданием государя. В ожидании его величества, после завтрака, в час мы шли в спальню и надевали новое платье; если посещения не было, то после уроков снова переодевались в старое.

В особенности памятно мне одно посещение училища государем *Николаем Павловичем*; это было, если не ошибаюсь, в 1850 году, и вот по какому случаю оно мне памятно. Николай Павлович на этот раз остался очень доволен училищем и велел нас распустить по домам чуть ли не на три дня. В числе воспитанников, не имевших родственников или, точнее, пристанища в городе, был С., прозывавшийся, не помню хорошенько, *гусем* или *тумбой*, кажется *гусем*. Этот гусь, на другой день после посещения училища государем, выпросил у начальства позволение сходить в Казанский собор помолиться Богу. Из собора гусь отправился погулять и, встретив прогуливавшегося государя, обратился с просьбой определить его в военную службу. Государь, выслушав его благосклонно, приказал отправиться в училище и обо всем доложить начальству.

Языков от рассказа гуся пришел в негодование и ужас, приказал тотчас же гуся запирать в карцер; оставшиеся товарищи, узнав о случившемся, сочли своим долгом наградить гуся кто пинком, кто в шею, а кто и просто затрещиной, куда попало. Начальство, продержав несколько дней в карцере, выпустило гуся на свободу, объявив ему, что он волен лететь на все четыре стороны и что его никто в училище не задерживает. Гусь упорхнул от нас и по прошествии некоторого времени показался нам в мундире гренадерского австрийского полка, с юнкерскими обшивками на погонах. Что с ним сделалось впоследствии – мне неизвестно.

В моей памяти сохранилось еще посещение училища министром юстиции графом *В.Н. Паниным*. Не помню только, по какому случаю оно имело место. Граф приехал в сопровождении директора департамента *Топильского*. Нас выстроили в зале, вошел граф, поразивший нас громадностью роста в сравнении с директором департамента, человеком очень небольшого роста. Граф о чем-то нам ораторствовал и в своей речи не раз обращался к директору департамента с вопросами: «не так ли это, что я говорю?» и т.п. Вслед за посещением графа в училище начали циркулировать разные анекдоты, основанные на курьезных отношениях, существовавших в то время между министром юстиции и директором департамента.

Вследствие ли однообразия училищной жизни или по другим причинам воспитанники ожидали с нетерпением некоторых праздников. Так, например, ожидался храмовой праздник – день св. Екатерины, 24 ноября. День этот праздновался в училище особенно торжественно.



*Служение митрополита Никанора в церкви Училища правоведения
Художник С.К. Зарянко (1853 г.?)**

* Атрибуция изображенных на картине персонажей:

Митрополит Никанор изображен с пангией и орденами Святого Андрея Первозванного, Святого Владимира 1-й степени и Спасителя (греческий; 1851). В глубине, перед клиросом, стоит основатель и попечитель Училища правоведения принц Петр Георгиевич Ольденбургский (1812-1881) в генеральском мундире, с орденом Святого Андрея Первозванного (лента). Картина представляет Училище правоведения после его реформы в 1848, когда на должности директора и воспитателей были назначены военные разных родов войск. Штатские преподаватели изображены в парадных мундирах чиновников Министерства юстиции (зеленый воротник с золотым шитьем), воспитанники – в мундирах Училища правоведения. Первый в правой группе – директор Училища Александр Петрович Языков (1802-1878). За Языковым стоит его помощник, инспектор воспитанников подполковник артиллерии Александр Иванович (Оскар Александр) Рутенберг (1811-1855). Правее Рутенберга представлен, по-видимому, другой помощник директора – инспектор классов Александр Федорович (Александр Магнус Фромгольд) фон Рейц (1799-1862). Изображен в мундире Министерства юстиции (белые панталоны с золотыми лампасами полагались штатским чинам, начиная с V класса – статского советника). За Рейцем стоит обер-офицер в форме гренадерского корпуса полка Фридриха Вильгельма III (оранжевые обшлага, серебряный прибор). В начале 1850-х из этого полка в Училище правоведения служили два офицера: 1) Эрнест Густавович Гернет (1821-1872); 2) Владислав Матвеевич Лермонтов (?-1891). В левой группе с края стоит служитель в солдатском мундире (возможно, унтер-офицер Атаманенко, который служил в Училище с 1840). В этой же группе изображен Рейнгольд Петрович Рейнталь, поручик Гвардейской Конной артиллерии (черный воротник, золотой прибор, красные лампасы). Там же стоит неизвестный обер-офицер и двое неизвестных в придворных вицмундирах (красный воротник, золотой галун на груди и фалдах). – С сайта www.tezrus.net

Богослужение совершал кто-либо из архиереев, пребывающих на чреде в Петербурге. К обеду приезжал принц, лица близкие к его высочеству и бывшие воспитанники.

Посетители училища в этот день бывали в мундирах и представляли собой пренарядную толпу, хотя в год моего поступления и во все годы пребывания в училище ни на одном из бывших воспитанников не было ни senatorского мундира, ни мундира члена государственного совета. За храмовым праздником следовала годовщина основания училища, пятого декабря, и в этот день посещали училище принц и кто-либо из бывших воспитанников; совершалось молебствие настоятелем церкви Богословским.

Во второй половине декабря месяца между воспитанниками шли толки о том, когда нас распустят на рождественские праздники. Обыкновенно нас отпускали 22 или 23 декабря и перед самым отпуском читали нам из года в год одно и то же послание. В этом послании нам предписывалось вести себя прилично, соблюдать правила, напечатанные на обороте отпускного билета, носить его между 3-ей и 4-ой пуговицами мундира и т.п., а в заключение говорилось: «кто не боится всевидящего ока Божия, тот да знает, что все меры приняты к тому, чтобы проступки виновных не укрылись от бдительности начальства, а сами виновные не ускользнули от заслуженной ими кары».

Рождество считалось самым дорогим праздником: воспитанники могли вдоволь повеселиться, побывать в театре. Любимым театром был Михайловский; в нем нам дозволялось быть на балконе, тогда как в других театрах мы могли быть только в ложах. Из Михайловского театра воспитанники приносили в училище водевильные куплеты и восхищения какою-нибудь m-lle Milla или m-r Pechena.

Наступал новый год, за ним следовала масленица, а на первой неделе великого поста в училище происходило говение. Говели мы целую неделю, на исповедь воспитанники младшего отделения ходили в четверг, а старшего – в пятницу, приобщались же [\[к Великим Тайнам\]](#) все в субботу. Обыкновенно перед исповедью Богословский говорил проповедь. Собрание этих проповедей было издано впоследствии под заглавием: «Приготовление к благоговейному принятию Святых Таин».

После исповеди шли между воспитанниками толки, что спрашивал Богословский. Случалось слышать, что на вопрос: «не ругал ли меня?» воспитанник отвечал: «грешен». Что вело к новому вопросу: «а как?» – «Да козлом, батюшка», и т.п. Иногда исповедь влекла за собою эпитимию – класть ежедневно по несколько поклонов. Помню, что как-то во время говения несколько человек попались в курении, а может быть и Богословский пожаловался, что от них на исповеди разило табачищем. Начальство распорядилось виновных оставить без отпусков на целый пост, спороть галуны с их мундиров и заставило их на страстной неделе еще раз говеть и исповедоваться.

Пасху мы встречали в училище, где и разгавливались. К концу утрени приезжал принц и христосовался с каждым воспитанником. Каждый из нас целовал сначала правую, а затем левую щеку его высочества; делалось это необычайно быстро: мы циркулировали мимо принца, подходившие образовывали длинный хвост, а похристосовавшиеся сейчас же занимали в церкви свои места, чтобы слушать литургию.

После Пасхи наступало время экзаменов. Выпускных воспитанников еще до Пасхи увольняли на житье вне училища. Одно время было в моде выносить на кресле профессоров, читавших последнюю лекцию и с которыми предстояло расстаться. Сначала практиковал это только выпускной класс, но их пример оказался заразительным и мы, будучи в 4-м классе и следуя их примеру, выносили своих преподавателей и даже вынесли учителя рисования, но не на кресле, а на подставке для гипсовых фигур, приносимых на уроки рисования. Долго он не соглашался сесть, долго его упрашивали, прежде чем усадили, и с шумом пронесли через зал. Бедняга все боялся, что его уронят.



Дача принца П.Г. Ольденбургского на Каменном острове

После экзаменов бывали в училище акты, более или менее торжественные. Перед торжественным актом Языков делал не одну, а несколько репетиций.

На репетициях (бывших тогда в большой моде в военном мире) он указывал, где мы должны стоять, как переходить с одной стороны залы другую, когда отвесить поклон и т.п. На акт являлись окончившие курс, обыкновенно в мундирах, по большей части в сенатских. Читали приказ об определении их на службу. Перешедшим в первый класс его высочество раздавал шпаги, затем, удостоенным наград, — медали, книги и похвальные листы и прочее.

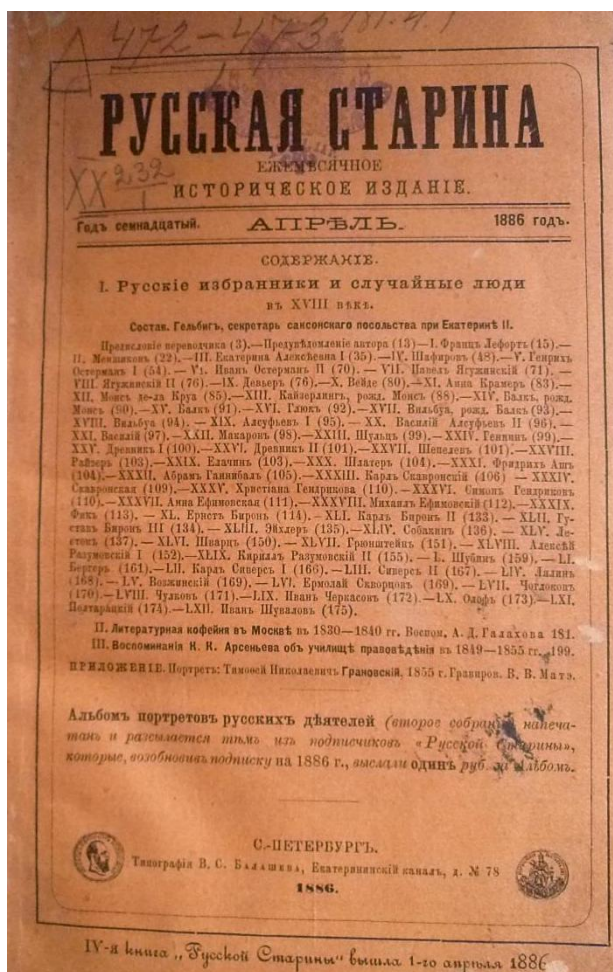
Помнится мне, что после одного из актов нас возили на дачу к его высочеству. Путешествие совершено было на яликах на Каменный остров; тогда и помину не было о паровых сообщениях Летнего сада с островами. На даче его высочества мы резвились и играли как у себя дома, ходили по конюшням, смотрели пони; любители парного молока, забравшись в коровник, отведали и его. Воспитатели пробовали нас удерживать от чересчур бесцеремонного хозяйничанья, но встретили оппозицию не только с нашей стороны, но и со стороны его высочества. Добрейший принц смотрел на нас, если не как на членов своей семьи, то как на самых дорогих гостей. Так из года в год протекало время пребывания в училище.

Honeste vivere, neminem ledere, suum cuique tribuere [(Живите честно, никому не вредите, каждому отдавайте свое)], вот девиз питомца училища правоведения. Мне может быть возразят: неужели же между правоведами нет и не было дурных людей? На это отвечу пословицей: в семье не без урода. Да, к сожалению, есть и между правоведами недостойные люди, но сравните их число с числом почтенных деятелей из правоведов, достигших высших государственных должностей, отправляющих правосудие или трудящихся на иных, более скромных, поприщах, и вы увидите, что нравственных уродов вышло из училища правоведения весьма немногих.

История оценит заслуги *принца Петра Георгиевича* по отношению к России и в числе их не забудет, что ему училище правоведения обязано своим существованием. Эта же беспристрастная история отдаст должную справедливость и питомцам училища, посвятившим все свои силы и способности на служение отечеству.

**Воспоминания К.К. Арсеньева об Училище правоведения (1849-1855 гг.)^{*};
«Русская Старина», 1886 г., №4 (апрель)**

О том фазисе жизни училища правоведения, к которому относятся мои учебные годы, напечатаны были недавно в «Русской Старине» (1885 г., №№ 11 и 12, 1886 г. № 2) воспоминания И.А. Тютчева, поступившего в училище только немного раньше, чем я. Постараюсь избежать повторений; это будет для меня тем легче, что в моей памяти сохранилась лучше всего вторая половина училищного курса, о которой госп. Тютчев, вышедший из училища вскоре после моего перехода в старшее отделение, говорит мало.



^{*} Константин Константинович Арсеньев (1837-1919) окончил Училище правоведения в 1855 г. в чине IX класса [т.е. двумя годами позже Г.Н. Мотовилова – МК], дослужился до действительного статского советника, получил звание почетного академика Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. В 1867 г. был избран председателем совета присяжных поверенных по округу С.-Петербургской судебной палаты. В 1874 г. занял пост товарища обер-прокурора гражданского кассационного департамента Сената, а затем – члена консультации при Министерстве Юстиции. Издал 3 книги практического характера: «Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного следствия», «Судебное следствие» и «Заметки о русской адвокатуре». В 1882 г. окончательно вышел в отставку и всецело отдался литературно-юридическим и литературно-критическим работам, сотрудничая в журналах «Вестник Европы», «Право» и в газете «Страна»; кроме того редактировал журнал «Вестник Права», а в 1891-1904 гг. состоял одним из двух главных редакторов Энциклопедического Словаря Брокгауза и Эфрона. Пользовались известностью и многие его труды, вышедшие отдельными книгами, как-то – «Законодательство о печати», «Свобода совести и веротерпимость», «Критические этюды по русской литературе» и другие. — genrogge.ru

I.

Мое поступление в училище почти совпало с переменой в его управлении; князь *Н.С. Голицын* был при мне директором, *А.И. Кранихфельд* – инспектором не больше как месяца три. В декабре 1849 г. место директора занял генерал-майор *А.П. Языков*; почти в то же самое время создана была новая должность инспектора воспитанников и замещена так же военным полковником *А.И. Рутенбергом*. Дежурными и классными воспитателями стали назначать офицеров, и уже в 1850 г. из прежнего состава штатских гувернеров (большею частью – иностранцев) оставалось не более трех или четырех.

Не помню, кажется еще до назначения *Языкова*, нас стали учить маршировке; во всем выражалось желание приблизить училище к типу тогдашнего кадетского корпуса. Ни *Языков*, ни *Рутенберг* вовсе не готовились к педагогической деятельности. Первый был строевым офицером, потом рижским полициймейстером, таганрогским градоначальником; второй, если я не ошибаюсь, был преподавателем верховой езды и написал сочинение по части гиппологии.

Не отличалось педагогическими способностями и большинство офицеров, к нам определенных; были между ними сухие формалисты, были люди ограниченные, служившие предметом насмешек для учеников, были добрые малые, но очень немного было таких, которые старались бы и умели бы приобрести хоть какой-нибудь нравственный авторитет в глазах воспитанников. Обращение к воспитателю за советом, за помощью было у нас чем-то неслыханным; редко завязывалась даже простая беседа между учениками и воспитателями. Спешу прибавить, что старые – т.е. штатские гувернеры – уцелевшие от погрома, весьма немногим отличались от новых, военных; мягкости у них было, может быть, несколько побольше, искусства, знаний, такта – приблизительно столько же.

Я думаю, судя понаслышке, что и в общем строе училищных порядков перемена произошла, в 1849 г., скорее внешняя, чем внутренняя; чаще и громче стал раздаваться начальнический крик; чаще и сильнее стали трепетать сердца воспитанников – но между обеими сторонами и прежде, и теперь лежала целая бездна. Внутренняя жизнь воспитанников и прежде, и теперь оставалась вне всякого прямого влияния со стороны начальников; начальство и прежде, и теперь заботилось только об исполнении известных внешних правил, о соблюдении известного внешнего порядка. Требования сделались более строгими и более настойчивыми, меры понуждения – более жесткими, но сущность требуемого изменилась мало.

Из-за чего же совершился переворот, обновивший, в 1849-1850 г., почти все училищное начальство (место инспектора классов занял, вскоре после того, бывший профессор дерптского университета фон-Рейц)? Его приписывали, в мое время, упомянутой госп. Тютчевым истории князя *Гагарина* и *Беликовича*, исключенных из училища и отданных в солдаты за какие-то неосторожные отзывы о ком-то или о чем-то.

Вместе с тем фактом, что вместе с арестованными (в том же 1849 г.) по делу *Петрашевского* оказался один правовед (*В.А. Головинский*), это подало повод думать, что воспитанников училища правоведения недостаточно ограждают от неблагонадежных веяний – а лучшей или единственной против них оградой считалась тогда строгость, доведенная до крайности. Сообщить вполне точные сведения о настроении умов между правоведами могли бы только те, кто находился тогда в старших классах училища; но я едва ли ошибусь, если скажу, что подозрения были лишены всякого основания и что искоренять, подавлять было решительно нечего.

Я хорошо знал многих сверстников своих, учившихся в [*Александровском*] лицее – я твердо помню, что между ними было гораздо больше интереса к политике и литературе, чем между правоведами.

Имена Сен-Симона, Фурье мне пришлось, например, услышать в первый раз – в самом начале 1850-х годов – не от товарищей по училищу, а от лицеистов. Предания, шедшие еще от Пушкинских времен и если и потерявшие свою силу, то гораздо позже описываемой мною эпохи, поддерживали между лицеистами такое умственное брожение, к которому правоведы были совершенно непричастны. Я еще возвращусь к этому предмету; теперь я хотел только указать на бесцельность «подтягиванья», предпринятого по отношению к училищу в 1849 г.; единственным его результатом было ожесточение учеников против начальства, глухое, редко вырывавшееся наружу, но не ослабевавшее во все время моего пребывания в училище.

Я уже сказал, что от воспитанников требовали больше всего соблюдения известных внешних правил. Первым из них было, конечно, безусловное повиновение начальству – повиновение без возражений, без рассуждений; затем следовало, по важности, запрещение курить. Большинство классных «историй», которые я теперь припоминаю, происходили именно из-за куренья – и все-таки оно продолжалось в прежних размерах. Курили в душник, в форточку, курили в классах, в спальнях, на лестницах, «в камерах свободных прений»; курили не только отчаянные головы, но и многие из благонаправленных учеников.

Строгость запрещения разжигала, по-видимому, охоту нарушать его. Первые опыты куренья всегда неприятны для курильщика – и если большинство преодолевало эту неприятность, приучалось к куренью, то способствовало этому, без сомнения, желание доказать свое молодечество, свою готовность рисковать столкновением с начальством. Преследования за куренье не прекращались до самого конца курса; двадцатилетним юношам, готовящимся к выпуску, оно запрещалось – по крайней мере в стенах училища (для учеников старшего курса куренье в саду безмолвно допускалось; нужно было только не попадаться с папироской на глаза начальству) – столь же безусловно, как и двенадцатилетним мальчикам, только что поступившим в училище.

В октябре 1854 г., когда нашему классу оставалось пробыть в училище только полгода, один из моих товарищей курил, по обыкновению, в форточку окна, выходящего во двор. Директор, проходя по двору из лазарета, увидел огонек, тотчас же явился в класс – и началось расследование. *Виновный* не сознался – и весь класс был оставлен без отпуска на несколько недель; речь шла даже о поголовной сбавке баллов из поведения, что повлекло бы за собою для некоторых выпуск из училища чином ниже. Ответственность всех за одного была, вообще, одним из любимых принципов нашего начальства; расскажу еще один случай, весьма характеристический.

Перед началом выпускных экзаменов нас распустили по домам; мы являлись в училище только в дни экзаменов, к девяти часам утра. Как-то раз многие опоздали; директор объявил нам, что если на следующий экзамен опоздает хоть один, мы все будем оставлены в училище на несколько часов по окончании экзамена. Так и случилось; *один* из нас опоздал минут на пять – и мы все были задержаны в училище до вечера. А между тем до выпуска оставалась только неделя! Мы все были крайне разобижены и раздражены – не столько наказанием, перенести которое было легко, сколько явною несправедливостью; не могли же мы, живя каждый у себя дома, в разных концах города, наблюдать друг за другом и торопить запоздавших.

Записные курильщики, часто попадаясь и подвергаясь различным карам, приобретали, мало-помалу, репутацию людей испорченных, неисправимых, в особенности если они держали себя самостоятельно, т.е. решались иногда *отвечать* начальству.

Больше всего памятны мне, с этой точки зрения, двое из моих товарищей; я назову их имена, потому что их обоих давно уже нет на свете.

Баумер был настоящий рыцарь без страха и упрека – великодушный, правдивый, искренний, несколько обидчивый и самолюбивый, способный забыть, но не способный на дурной поступок. Учился он не особенно хорошо, но и не плохо – и если вышел из последних [\[в курсе\]](#), то именно потому, что считался непочтительным, грубым; а вся грубость его заключалась в том, что он смотрел прямо в глаза начальству и отвечал на замечания, когда находил их незаслуженными.

Билинский был чуть ли не самым умным, самым способным из всего нашего класса; по учению он постоянно занимал одно из первых мест – и все-таки вышел губернским секретарем (низший из трех чинов, получаемых при выпуске из училища), из-за *поведения*, т.е. из-за того же, в чем виноват был Баумер. Понятие о справедливости было у нас не особенно развито – но все-таки нас возмущала судьба Баумера и Билинского, мы чувствовали инстинктивно, что они заслуживали бы совершенно другой оценки. Мало-помалу в них обоих совершилась перемена, предрешившая, быть может – по крайней мере отчасти – их дальнейшую участь. Билинский, видя, что его успехи ни к чему не ведут, стал заниматься спустя рукава и сближаться с тунеядцами и лентяями, без которых не обходится ни один класс; Баумер сделался до крайности раздражительным, неуживчивым.

После выпуска они оба скоро попали в провинцию – т.е. в среду, менее всего, по тогдашним условиям, благоприятную для людей этого рода; один из них умер в 1861-м, другой – в 1862 году.* Билинский и Баумер дошли, по крайней мере, до конца курса; но бывали случаи, когда неважные проступки приводили к удалению из училища.

Так, например, из класса, шедшего двумя годами впереди моего, был исключен, *за несколько месяцев до выпуска*, довольно способный и умный ученик – исключен за то, что не встал с места, отвечая воспитателю. Конечно, он был и раньше «на дурном счету» – но почему? По причинам ничуть не более важным, чем те, о которых я упомянул, говоря о Билинском и Баумере.

До сих пор я не могу вспомнить без отвращения о другом случае исключения, которому предшествовала публичная экзекуция. Жертвой ее был ученик IV-го класса, так же провинившийся в грубости по отношению к воспитателю. Это было очень скоро после назначения нового директора и входило, вероятно, в состав «системы устрашения», для установления которой он был назначен.

В младшем курсе телесные наказания вообще не были редкостью; в старшем они не допускались, но главным способом действия на учеников оставались угрозы, брань и крики. Большою щепетильностью мы не отличались, да и общие условия времени были не таковы, чтобы способствовать развитию чувства собственного достоинства; но все-таки [\[грубое\]](#) обращение начальства становилось для нас все более и более тягостным. Мы никак не могли помириться с тем, что нас до самого выпуска считают мальчишками, которыми можно управлять только посредством страха. Отсюда «демонстрация», сделанная нами в день выпуска; мы решили, вопреки обычаю, не являться с визитом ни к директору, ни к инспекторам, и ограничились посещением *in corpore* [\[\(в полном составе\)\]](#) нашего законоучителя и духовника, о котором речь будет ниже.

Через несколько дней директор пригласил к себе двух первых учеников и спросил их, что заставило весь класс поступить таким образом; они отвечали ему совершенно откровенно и, может быть, способствовали этим перемене, происшедшей в обращении с учениками.

* В списке выпускников 1855 г. значатся: Билинский Леопольд Давидович, выпущенный в чине XII класса, т.е. губернского секретаря, служил Владимирским уголовных дел стряпчим и дослужился лишь до титулярного советника (до IX класса), умер в 1862-м; Баумер Теобальд Альбертович, выпущенный так же в чине XII класса, служил советником Черниговской гражданской палаты и дослужился так же лишь до титулярного советника, умер в 1861-м. Похоже, оба спились...

Главною причиною перемены было, конечно, наступление новой эпохи не для одного только училища правоведения; я вышел из училища в мае 1855 г., через несколько месяцев после воцарения Александра II-го... А.П. Языков в начале и в конце 1850-х годов – это два совершенно различные лица. Что касается до А.И. Рутенберга, то он умер, кажется, в том же 1855 г., и преемником его был назначен чуть ли не самый добрый и мягкий из воспитателей-офицеров, призванных в 1850 г. к участию в преобразовании училища на военную ногу.

II.

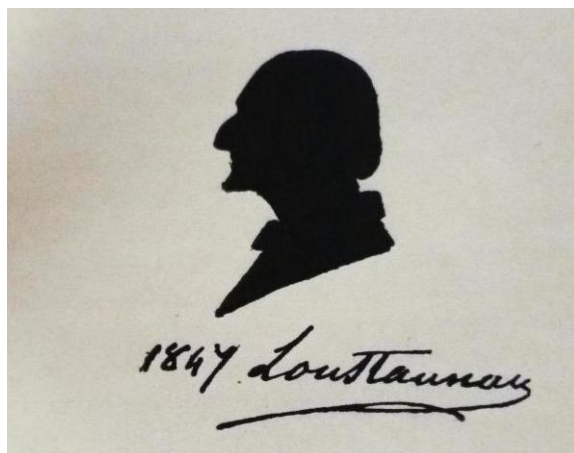
Немногим лучше воспитательной части была поставлена, в мое время, и учебная. Об учителях младшего курса можно получить достаточное понятие из статьи госп. Тютчева.

В VII и VI классах не было при мне положительно *ни одного* хорошего учителя.

Преподавание географии добрейшим Е.И. Кайпшем, русского языка – добрейшим А.В. Ивановым было усыпительно; история, преподаваемая Налетовым, не возбуждала ни малейшего интереса даже в тех, кто поступил в училище – как это случилось со мною – с сильно развитым интересом к историческому чтению; арифметика (Семенов), геометрия (Андреев), латинский язык (Михлер) проходились так, что все кое-как приобретенное тотчас же забывалось; французскому и немецкому языкам (Гальяр-де-Баккара и Томсен) не знавшие их до училища не могли научиться, а знавшие подвигались скорее назад, чем вперед. До крайности бесцельно и бесплодно было преподавание технологии (Лустоно), на немецком и французском языке.

Михлер, Семенов, Андреев скоро были заменены людьми более способными (Носов, Попов, Дитерихс и другие); но эта перемена почти не коснулась меня и моих товарищей, перешедших между тем в V класс. Из числа новых преподавателей, встреченных нами здесь, над уровнем посредственности возвышался только Брут, учитель истории. Он относился к своему предмету в высшей степени серьезно, читал его весьма интересно, но, к сожалению, не обладал даром слова. В его манере говорить было что-то смешное, он точно заикался и растягивал слова – и этого было достаточно, чтобы лишить его внимания слушателей. Пользуясь его снисходительностью, ученики поднимали шум, производили беспорядок, пока он, наконец, не останавливал их словами: «господа, дверь свободно открывается, кто не хочет сидеть смирно, может свободно выйти из класса». Спокойствие водворялось, но ненадолго; привычка *слушаться* учителя у нас была, но привычка *слушать* его была развита весьма мало.

В IV классе, последнем в младшем отделении – т.е. заканчивавшем собою гимназический или общеобразовательный курс, мы слушали русскую словесность у Георгиевского, французскую – у Провенсиала, латинскую – у Шнейдера.



Воспитатель и преподаватель Лаврентий Иванович Лустоно (1838-53)

Лекции первого, точно перенесенные целиком из времен мерзляковских или еще более ранних, были для нас только источником забавы (подробности см. в статье госп. Тютчева). Провенсиаль был преподаватель умный и даровитый; не знаю, почему он так скоро оставил училище.

Относительно В.В. Шнейдера мои воспоминания не совсем совпадают с воспоминаниями И.А. Тютчева, может быть потому, что последний слушал его только полтора года, а я – целых четыре. Это был человек бесспорно почтенный, преданный своему делу, исполненный хороших намерений; но заинтересовать нас, возбудить в нас любовь к предмету он не умел ни тогда, когда занимался с нами латинскою словесностью, ни тогда, когда читал нам – в старшем курсе – римское право. Ему мешало и недостаточное обладание русским языком, и некоторое пристрастие к мелочам, к второстепенным деталям, и неудачный выбор авторов для перевода; мешали, без сомнения, и те громадные пробелы в знании латинского языка, с которыми мы поступали в его руки.

Тогдашнего правоведа IV класса, готового перейти к слушанию университетского курса, перещеголял бы теперь, как латинист, любой ученик гимназии, переваливший за половину гимназического курса. В V-м классе мы переводили, с грехом пополам, Цезаря (*de bello Gallico* [Галльскую войну]); что же предлагал нам Шнейдер в IV-м классе? Плиния младшего, т.е. одного из менее выдающихся классиков времен начинающегося упадка.

Не только с Тацитом – с Титом Ливием, Саллюстием, Цицероном мы оставались совершенно незнакомыми; латинская поэзия была для нас *terra incognita*, и я научился скандировать гекзаметры только тогда, когда, лет пять спустя после выпуска, по собственной охоте стал заниматься латинским языком.

В старших классах у нас так же предполагалось проходить латинскую словесность, но часы, для нее предназначенные, мы употребляли на перевод... институтов Юстиниана. Хорошо еще, если бы этот перевод служил для нас пособием в изучении римского права, если бы он был организован так, как теперь устраивается в университетских семинарах чтение источников; но нет, он ничем не отличался от перевода авторов, и одинаково мало подвигал нас вперед, как в знании языка, так и понимании права.

После 1848 г. преподавание философии было ограничено в наших университетах логикою и психологией, и поручено лицам духовного звания. В училище правоведения эти два предмета преподавались нашим законоучителем М.И. Богословским (недавно умершим в звании протопресвитера московского Успенского собора). Это был человек большого ума и твердого характера, импонировавший не только нам, но и начальству училища. Его влияние на нас было велико уже потому, что ничем не уравновешивалось и не перевешивалось; он был единственный из всех наставников и воспитателей, старавшийся узнать каждого из нас и до известной степени в этом успевавший.

В его преподавании – как логики и психологии, так и закона Божия – было много схоластического; он любил, чтоб ему отвечали буквально по его запискам, не вдавался в подробные объяснения – но все-таки заставлял нас думать, будил наше сознание и совесть.

Его не столько любили, сколько боялись; но эта боязнь была смешана с искренним уважением, чего нельзя сказать о страхе, который мы чувствовали перед многими другими. У него были и крупные недостатки, например властолюбие, вспыльчивость, не исключавшая злопамятства; но тогда мы их как-то мало замечали – может быть потому, что к нашему классу он всегда относился благосклонно (с классом, нам предшествовавшим, он имел большое столкновение из-за отказа целовать у него руку до и после ученья). Желательно было бы знать, от него ли зависела господствовавшая в училище особая строгость в соблюдении церковных обрядов.

По средам и пятницам мы ели постное круглый год, пока появление холеры (в начале 1850-х годов) не смягчило этого правила; мяса нам по-прежнему не давали, но допущено было употребление коровьего масла. По субботам мы должны были присутствовать за всенощной, по воскресеньям – за обедней, после которой нас отпускали домой до вечера. Исключение было сделано только для небольшого числа воспитанников, отчасти по очереди, отчасти в виде награды за хорошее поведение и учение.

Особенно чувствительно лишение отпуска по субботам было для новичков; я до сих пор не забыл, сколько горьких слез я из-за него пролил. Само собою разумеется, что принудительное развитие набожности не приводило к цели. Неудовольствие против постного стола, против удержания нас в училище для всенощной никогда не прекращалось, но оно почему-то не затрагивало М.И. Богословского. Мы думали, кажется, что все эти распоряжения не от него исходят и не им поддерживаются.

Итак, слабое знание латинского языка, истории и географии, почти совершенное незнание математики, физики и естественной истории (два последние предмета преподавались Постельсом ниже всякой критики) – вот черты, общие, с небольшой только разницей в степени, всему нашему классу, в момент перехода его в старший, специальный курс (1852 г.). Многие из нас хорошо говорили по-французски, порядочно – по-немецки, правильно писали по-русски; но это было гораздо больше плодом домашнего воспитания, чем училищных занятий.

Необходимо прибавить, что общий склад училищных нравов не располагал к трудолюбию, не возбуждал любви к знанию. Об этом можно судить, между прочим, по тому, что в первое время вступления в училище довольно многие из нас учились необязательным предметам – английскому языку, музыке, учились им потому, что начали заниматься ими еще дома и продолжали занятия или по требованию родителей или по собственной воле.

Весьма скоро число таких учащихся начинало уменьшаться и концу младшего курса достигало минимума; музыкой, на старшем курсе, не занимался, кажется, никто. Объясняется это тем взглядом на учение, который господствовал в училище и вытеснял, малопомалу, лучшие заветы и привычки домашнего воспитания. Учение – это печальная необходимость; нет надобности вести его дальше, чем этого *требует* начальство. Учиться нужно не для того, чтобы узнавать что-нибудь новое, а для того, чтобы получать хорошие или удовлетворительные баллы, не подвергаться взысканиям, не быть оставляемым в училище на воскресные и праздничные дни. Понятно, что необязательные предметы не подходили под эту схему и при первой возможности выбрасывались за борт.

Разница между лучшими и худшими учениками заключалась только в том, что первые тщательно готовили уроки и знали предмет настолько, насколько могли изучить его при полном отсутствии интереса к нему и при крайне недостаточном руководстве со стороны учителя, а последние готовились кое-как и широко пользовались подсказываньем, подкидышами и другими продуктами школьной хитрости.*

III.

С переходом на старший курс переменились петлицы на наших куртках и мундирах, переменились имена преподавателей и преподаваемых предметов, но не переменилось ни отношение к нам начальства, ни отношение наше к учению.

* Склонность некоторых к *dolce far niente* [(к ничегонеделанию)] и лени заставила их изобрести довольно остроумный способ к облегчению себя на экзаменах. Писались на продолговатых, сложенных, примерно в дюйм, бумажках ответы, которые (бумажки) и передавались вызванному, когда он шел обдумывать, приготовить ответ свой. Бумажки эти носили разные названия. Одни их называли подкидышами, другие – войлоками; в нашем классе они назывались патфайндерами, вероятно потому, что так же ловко скрывали следы незнания и лености, как известный следопыт (pathfinder) в романе Купера скрывал следы своих ног от ирокезов, могикан и заклятых врагов своих, «черных дьяволов мингосов». – М.М. Молчанов. *Полвека назад*

На нас смотрели как на мальчиков, и сообразно с этим мы и учились как мальчишки, а не как студенты. Репетиции у профессоров, т.е. спрашиванье уроков, происходили точно так же, как и у учителей; нам задавали уроки, мы их выучивали – и больше ничего.

Слушание лекций было не общим правилом, а исключением; в классе сидели все, и сидели чинно, но следили за профессором, в огромном большинстве случаев, только те, которые записывали за ним, а число записывающих было весьма и весьма невелико. Записки, составленные двумя-тремя учениками, переписывались затем всеми остальными. О литографировании лекций не было тогда и помину, но серьезность занятий от этого не увеличивалась. Дальше записок не шли даже самые прилежные ученики, именно потому, что они были только прилежны, и прилежны в пределах необходимости. Никто из нас не читал юридических сочинений, да и сами профессора не указывали нам литературу предмета; никогда не было у нас разговоров или споров о выслушанном.

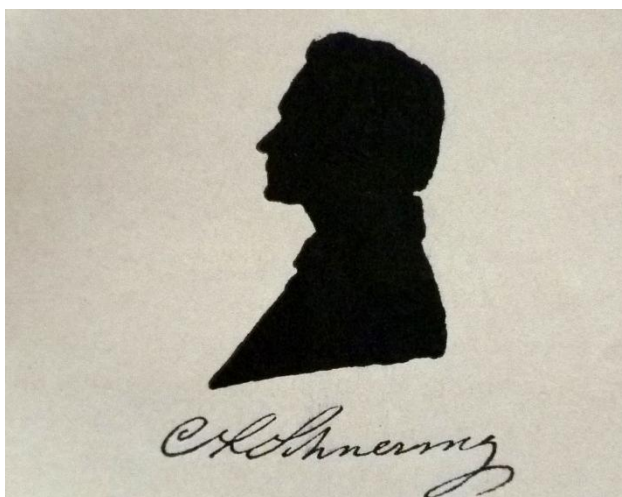
В содержание лекций мы вникали ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы понять и верно передать сказанное *профессором*. Этот способ ученья, целиком заимствованный из младших классов, сопровождал нас до самого выпуска и применялся даже к тем немногим предметам, преподавание которых можно было назвать удовлетворительным. Никто не пытался разъяснить нам, что так нельзя заниматься университетскими предметами.

С профессорами мы говорили только тогда, когда нужно было испросить какую-нибудь льготу для репетиции или экзамена; инспектора классов, пока эту должность занимал Рейц, мы почти не замечали, а когда место его заступил Ф.Ф. Витте (бывший впоследствии попечителем варшавского учебного округа), то мы почувствовали только, что у нас прибавился еще один *начальник*, очень похожий на остальных.

О каких-нибудь советах со стороны инспектора, о каком-нибудь наблюдении его за нашими занятиями (помимо чисто формального надзора) по-прежнему не было и речи.

Из числа неюридических предметов на старшем курсе читались латинская, французская, немецкая и русская словесность, история и психология. О преподавателе первой, Шнейдере, я уже говорил. Провенсиала заменил сначала Перро, читавший нам вместо истории литературы какие-то плохие стихотворения, чуть ли не им самим сочиненные, потом Сен-Жюльен, довольно бойкий и остроумный, но едва ли большой знаток своего дела.

Преподаватель немецкой словесности, Шнеринг, разделял судьбу нашего прежнего учителя истории Брута; его никто или почти никто не слушал, хотя он читал очень хорошо, даже по форме.



Воспитатель и преподаватель Карл Леопольдович Шнеринг (1842-83)

Историю в старших классах читал И.П. Шульгин, некогда пользовавшийся большою и заслуженною известностью, как популяризатор некоторых идей Гизо и других ученых французской школы, но состарившийся, охладевший к своему делу, повторявший из года в год буквально одно и то же. Мы слушали его, однако, не без пользы; он говорил однообразно, но хорошо, и давал нам односторонние, но довольно ярко освещенные обобщения исторических фактов. Психологию читал М.И. Богословский, так же сухо, как и логику; но все-таки он вызывал нас на размышление, в особенности когда каждому из нас пришлось написать для него, по рубрикам его курса, свою собственную характеристику. Помню, что я работал над этим весьма усердно, написал много и старался быть вполне искренним; точно так же отнеслись к делу и многие из моих товарищей.

Далеко не самым основательным, но самым блестящим и единственным популярным из наших профессоров, не юристов, был *Н.А. Вышнеградский* (бывший впоследствии первым начальником петербургских женских гимназий), заступивший умершего между тем Георгиевского на кафедре русской словесности. Как ни мала была наша начитанность, мы скоро стали замечать, что суждения Вышнеградского не всегда самостоятельны, что он черпает их иногда совсем готовыми из источников, им не называемых, например, из «Очерка истории русской поэзии» Милюкова; но это не охладило нас к профессору, сумевшему овладеть нашими симпатиями.

Отличный чтец (особенно Гоголя), красноречивый рассказчик, мягкий и любезный в обращении с учениками, он оживлял весь класс одним своим появлением; за его лекцией внимательно следили даже самые отъявленные лентяи. Более развитым слушателям он показался бы, может быть, только бойким говоруном, с порядочною примесью шарлатанизма; но критическое наше чутье было весьма слабо, и после Георгиевского нас легко было бы завоевать и менее талантливому человеку.

По программе курс словесности, если не ошибаюсь, должен был заканчиваться Гоголем; но Вышнеградский знакомил нас и с Тургеневым, подчеркивая, осторожно и слегка, господствующую черту «Записок Охотника», т.е. отвращение автора к крепостному праву. Для нас такие намеки были чем-то совершенно новым; весьма может быть даже, что мы их не вполне понимали, но привлекательными они казались нам уже потому, что были облечены некоторою таинственностью.

Сочинения мы писали для Вышнеградского очень охотно, но он относился к ним чересчур снисходительно, почти не указывая нам их недостатков. У меня осталась в памяти его похвала моему рассуждению о «Риме» Гоголя, вполне ребяческому и отличавшемуся только необычайною, для ученической работы, длиннотою.*

* Вышнеградский, Николай Алексеевич – педагог (1821-1872), старший брат [министра финансов] Ивана Алексеевича Вышнеградского. Образование получил в главном педагогическом институте. Преподавал в ларинской гимназии и в старших классах училища Правоведения русскую словесность. Получил степень магистра русской словесности за диссертацию: «О филологических исследованиях церковно-славянского наречия и преимущественно о грамматиках сего наречия». Преподавал в предварительном курсе института философские науки, а с 1849 г. читал педагогику. <...> В 1858 г. Вышнеградский обратился с планом устройства женского образования к принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому, при посредстве которого вскоре последовало открытие в Петербурге первого женского Мариинского училища, начальником которого был назначен Вышнеградский. В 1862 г. по типу этого училища утвержден устав всех женских гимназий ведомства учреждений Императрицы Марии. По почину Вышнеградского в 1860 г. при мариинском училище был открыт педагогический класс, из которого в 1863 г. образовались педагогические курсы. – Ср. «25-летие петербургских гимназий ведомственного учреждения Императрицы Марии 1858-1883 годов» (СПб., 1883); В.П. Острогорский, «25-летие женских гимназий» («Вестник Европы», 1883, № 4). – *Русский биографический словарь*

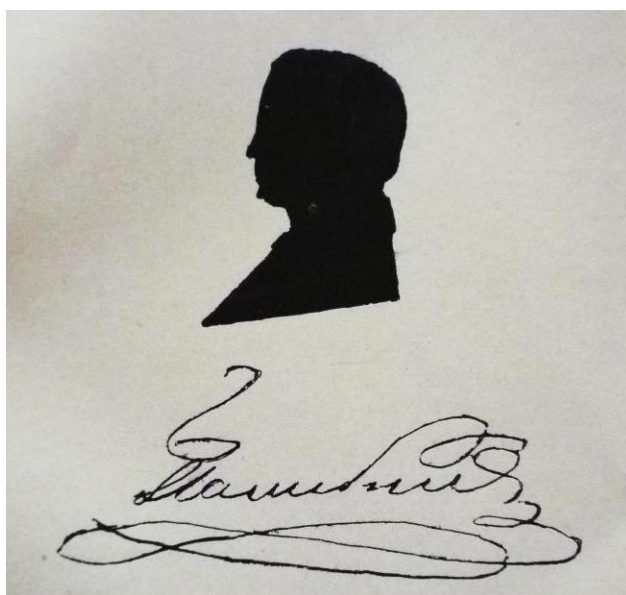
Юридических предметов в III-м классе читалось четыре: энциклопедия законоведения, римское право, государственное право и местные законы остзейских губерний. Профессором энциклопедии был *К.А. Неволин*. Он преподавал ее по своей известной книге [*«Энциклопедия законоведения»*], без всяких почти разъяснений, и успел пройти только общую часть, так что с историей развития права и идей о праве мы вовсе не знакомились.

Книга Неволина была, в свое время, большим приобретением для русской науки, но к преподаванию она вовсе не была приспособлена, в особенности когда слушателями были малоразвитые мальчики (некоторым из нас при переходе на старший курс не было еще 16-ти лет), привыкшие заучивать, «зубрить» уроки. Написанная философским языком гегелевского времени, она затрудняла нас на каждом шагу, приводила нас в совершенное отчаяние и усваивалась нами, в конце концов, наполовину механически.

Больше пользы принесли нам чтения Неволина (в I классе) по истории русского законодательства; самый предмет был гораздо более легкий, да и мы несколько созрели и не были более новичками в юридической сфере. И здесь, однако, много вредило нашим успехам монотонное, едва слышное чтение профессора, полнейшее безучастие его к слушателям. Весьма может быть, что это зависело отчасти от слабого здоровья Неволина, скончавшегося вскоре после окончания нами училищного курса.

Римское право, во всех трех классах старшего курса, читал *В.В. Шнейдер* – точно так же, как и латинскую словесность, т.е. добросовестно, но неумело. Мы уважали профессора, но не любили его предмет и не отдавали себе даже ясного отчета в необходимости его для юристов. Несравненно ниже Шнейдера стоял *Палибин*, читавший государственное право. Его курс был ничем иным как рядом выписок из подлежащих томов свода законов (I-го, II-го, IX-го). Об основных началах государственного права, о фазисах его развития, о положении его в Европе мы не знали ровно ничего – зато должны были заучивать предметы ведомства каждого министерского департамента, каждого губернского и уездного присутственного места.

Прослушав *Палибина* или, лучше сказать, выдолбив наизусть его записки, мы удерживали в памяти хоть какой-нибудь запас имен и фактов; из лекций *Генцшеля* по местным законам мы не выносили даже и этого. Он читал по-немецки и читал так, что его никто не понимал; экзамен по его предмету был чистою формальностью, точно так же как и по *Межевым законам*, который во II-м классе читал *Ф.Л. Малиновский*.



Профессор Никифор Алексеевич Палибин (1838-61)

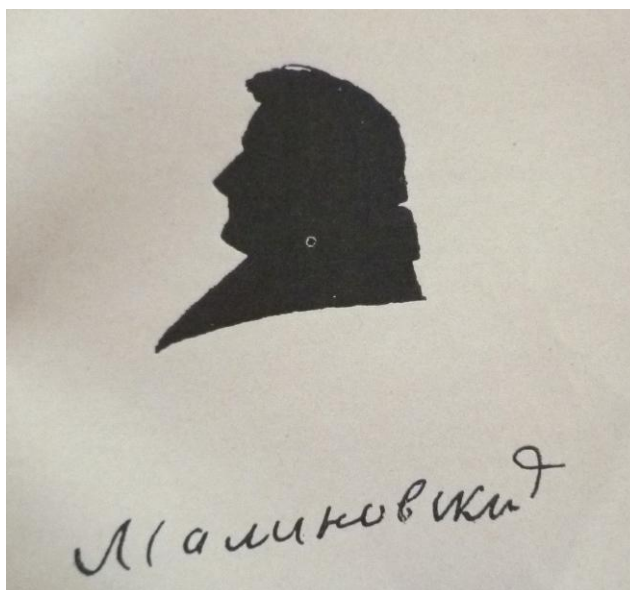
При Генцшеле, по крайней мере, сидели смирно; при Малиновском и этого не было; воспитанники обращались с ним более чем фамильярно.

Эти два диковинные преподавателя исчезли уже в мое время. Место Генцшеля занял, без шума, новый инспектор классов, Ф.Ф. Витте, читавший (по-русски) по образцу Палибина и успевший возбудить в нас глубокую ненависть к предмету*.

Малиновский, говоря училищным языком, провалился со скандалом.

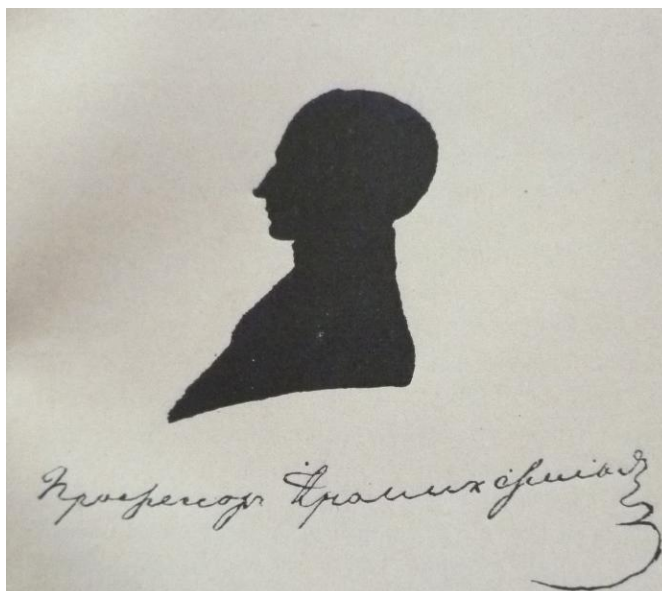
На экзамен межевых законов, при переходе нашем из II-го класса в первый, был приглашен настоящий знаток их, Максимович, заведывавший межевыми делами в департаменте министерства юстиции. Ему нетрудно было доказать, что мы ничего не знаем. Нас наказали за чужую вину, заставив нас прослушать курс межевых законов во второй раз, в I-м классе; преподавателем их был назначен тот же Максимович, ничего не сделавший для примирения нас с предметом. Скучные сами по себе, межевые законы сделались еще более скучными в дельном, но сухом, мертвенном изложении нового профессора.

Во II-м классе мы стали слушать, кроме римского права, местных и межевых законов, церковное право, законы о финансах, гражданское право, уголовное право, судебную медицину, гражданское судопроизводство и уголовное судопроизводство; в I-м классе преподавались те же предметы, с прибавкой еще истории русского законодательства и повторительного курса по русскому праву. Церковное право читал М.И. Богословский; мы слушали его без всякого интереса.



Преподаватель Феофилакт Лукич Малиновский (1839-54)

* Федор Федорович Витте (1822-1879) поступил в 40-х годах, по окончании Педагогического института в Петербурге в Дерптский университет на юридический факультет и в 1847 г. защитил там магистерскую диссертацию о положении иностранцев в России (*Die Rechtsverhältnisse der Ausländer in Russland von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1649. Dorpat, 1847*). В 1851 г. защитил там же докторскую диссертацию на латинском языке по международному уголовному праву (*Meditationes de iure criminali respectu iuris internationalis institutae. Dorpati Livon, 1851*). Это была первая появившаяся в России работа по международному уголовному праву. После защиты диссертации в 1852 г. поступил на службу в Министерство иностранных дел, где ему пришлось заниматься главным образом международным частным правом. В 1862 г. был назначен попечителем Киевского учебного округа, а в 1864 г. — главным директором Комиссии по образованию в Царстве Польском, в 1866-м — попечителем Варшавского учебного округа. — Из Интернета



Инспектор классов и профессор Александр Иванович Кранихфельд (1841-58)

Законы о финансах и гражданское право читал А.И. Кранихфельд, до крайности плохо; это было нечто вроде палибинского курса государственного права, т.е. парафраза действующих законов, без всяких исторических и догматических толкований. Профессор, вдобавок, был совершенно лишен дара слова и не умел поддержать своего авторитета даже теми внешними средствами, к которым прибегали некоторые из его товарищей.

При нем более чем при ком-либо другом из преподавателей старшего курса (за исключением, конечно, Малиновского) процветало школьничество. Так, например, он имел привычку входить в класс тотчас после звонка и со звонком же приостанавливать лекцию, почти на полуслове, причем всегда произносилась фраза: «но об этом в следующий раз».

Бывали случаи, когда эта фраза говорилась вполголоса кем-либо из учеников, прежде чем ее успевал сказать профессор; случалось и так, что в момент входа его в класс там не было ни одного слушателя, а через несколько секунд в дверях появлялась голова какого-нибудь шалуна и слышались слова: «здесь ли почтенный профессор? началась ли лекция почтенного профессора?» – после чего гурьбою вваливались в класс все воспитанники.

Тогда нам все это было смешно – но теперь досадно вспомнить, что в таких малоискусных руках находился такой предмет как гражданское право. Не менее досадно и то, что нас не умели заинтересовать судопроизводством, хотя его читали бывшие воспитанники училища, знакомые с потребностями учеников – притом люди очень дельные, заслужившие на службе самую почетную известность.

Гражданское судопроизводство преподавал при мне во II-м классе *Н.И. Стояновский*, в I-м — *В.В. Фриш*.^{*}

^{*} Из curriculum vitae на сайте genrogge.ru:

Стояновский, Николай Иванович, вып. 1841 г. Корицей судебной реформы. Автор «Учреждения судебных следователей» и «Наказа судебным следователям», т.е. узаконений, положивших начало отделению судебной власти от администрации. Почти единолично выполнил труд составления основных начал нового уголовного судопроизводства; в качестве статс-секретаря департамента гражданских и уголовных дел Государственного Совета, написал весь журнал Совета об основных положениях этого судопроизводства. Заняв пост товарища Министра юстиции, сыграл главную роль при выработке окончательного текста новых судебных уставов и введении их в жизнь; по особому Высочайшему повелению был уполномочен представлять Государственному Совету все объяснения и соображения о преобразовании судебной части. <...> С 1867 г. Стояновский присутствовал в Уголовном Кассационном департаменте Сената, а с 1875 г. состоял первоприсутствующим этого департамента, положив много труда для установления практики новых судебных мест. В 1875 г. последовало его назначение членом Государственного Совета; сперва он присутствовал в департаменте законов, а затем был председателем департамента духовных и гражданских дел. Как в Сенате, так и в Государственном Совете, принимал самое деятельное участие в комиссиях, разрабатывавших различные законопроекты особой важности. <...> По окончании Училища Правоведения, Н.И. Стояновский сохранил с ним самую тесную связь, сперва как преподаватель уголовного и гражданского судопроизводства, затем как член Совета Училища Правоведения. <...> Стояновский вошел в историю Училища Правоведения с почетным наименованием «Собирателя правоведской семьи».

Второй профессор, вышедший из училища в 1844 г., такого развернутого curriculum vitae не удостоился. На сайте genrogge.ru отмечено лишь: Фриш Владимир Васильевич, IX-м классом; тайный советник; сенатор. † 1890 г. По деятельности В.В. Фриша (в компании с Г.Н. Мотовиловым!) удалось найти такое упоминание в связи с реформированием судебной системы при Александре II (при этом автор публикации плотно поработал в Российском государственном историческом архиве, СПб, в фонде 1405 «Департамент Министерства юстиции»):

<...> Наибольшее значение имело авторитетное мнение экс-председателя С.-Петербургского коммерческого суда В.В. Фриша, который прямо выступил против уничтожения коммерческих судов и разработал проект «О торговых судах и торговом судопроизводстве», положенный в основу последующих проектов по торговому судоустройству и судопроизводству. <...> Проект Фриша предполагал расширение территориальной подсудности коммерческих судов до размеров округа окружного суда. Состав суда предлагалось формировать по образу окружных судов. Специально подчеркивался принцип смешанного состава суда. К «судьям-юристам» предъявлялись такие же требования, как к судьям окружного суда, а к «торговым судьям» — как к мировым судьям. Участие «торговых судей» выгодно отличало торговые суды от общих судебных мест, поскольку наиболее приближало их к «суду совести». <...> Наиболее активно идею Фриша поддержали Г.Н. Мотовилов (председатель департамента С.-Петербургской Палаты гражданского суда), А.А. Книрим и Н.А. Тур (соответственно, председатель и товарищ председателя С.-Петербургского коммерческого суда). <...> Однако Комиссия В.П. Буткова [(Комиссия для окончания работ по преобразованию судебной части)] не прислушалась к мнению практиков, посчитав их доводы неубедительными.

<...> В соответствии с Высочайшим распоряжением по докладу К.И. Палена 14 января 1871 г. при Министерстве юстиции была учреждена Комиссия для преобразования коммерческого судопроизводства под председательством В.В. Фриша. В состав комиссии вошли представители от министерств Юстиции и Финансов, Второго отделения, столичных биржевых комитетов. Наиболее активно в Комиссии работали А.А. Книрим, Г.Н. Мотовилов, Г.К. Репинский, Ф.М. Маркус, Н.А. Тур, составившие «малый отдел комиссии». <...> В основу своей деятельности Комиссия положила проект Фриша «О торговых судах и торговом судопроизводстве», а главным редактором проекта, выработанного Комиссией, стал А.А. Книрим. Уже 5 июля 1872 г. проект Устава торгового судопроизводства был направлен на отзыв в различные государственные органы и биржевые комитеты. Проект состоял из двух частей, насчитывающих 246 статей; первая часть регламентировала учреждение торговых судов, вторая — торговый процесс. Согласно проекту предполагалось создать систему торговых судов, состоящую из двух звеньев. Первое звено состояло из торговых судов и торговых отделений окружных судов (в местностях, где ранее не было коммерческих судов), второе — из одной торговой судебной палаты в С.-Петербурге. Состав и комплектование торгового суда в основном проектировались такими же, как и в предыдущем проекте Фриша. — Архипов И.В. Коммерческие суды и судебная реформа 1864 года // «Правоведение». 1999, № 4



Сенатор Петр Алексеевич Zubов

При всем искреннем моем уважении к тому и другому, я должен признаться, что преподавание им не удавалось; по форме оно было значительно лучше, чем преподавание Кранихфельда, но по типу существенно от него не отличалось. Мы очень любили самих учителей, но не любили их предмета и оставались к нему холодными даже тогда, когда начались (в I-м классе) практические упражнения, т.е. примерные доклады дел, по печатным сенатским запискам. То же самое следует сказать и об уголовном судопроизводстве, преподавателем которого был покойный *П.А. Zubов*.*

* Zubов, Петр Алексеевич – сенатор, тайн. сов., родился в Вологодской губ. 24 мая 1819 г., образование получил в Императорском училище правоведения, куда поступил в 1835 г. при самом его учреждении. <...> В 1847 г. на него возложено было исправление обязанностей обер-секретаря в 1-м отделении V департамента Сената, в 1853 г. он был назначен за обер-прокурорский стол и в том же году помощником статс-секретаря Государственного Совета, а с 1858 г. в чине д.с.с. и звании статс-секретаря Государственного Совета он уже управлял всеми делами департамента гражданских и духовных дел в Государственном Совете; при этом на него возложено было управление делами бывшего департамента военных дел, а также производящимися в гражданском департаменте делами уголовными и о правах состояния. <...> Весь успех его службы был прямым последствием дарований, необыкновенного его трудолюбия и беззаветной любви к своему делу. Специалист-практик в области уголовного права, З. не был исключительно только чиновником. Практика у него шла в тесной связи с продолжением изучения самой науки; это было тем естественнее, что во все время секретарства в Сенате и Государственном Совете, более 10-ти лет, он был преподавателем уголовного судопроизводства в училище Правоведения.

Служба его в канцелярии Государственного Совета совпала с тем моментом, когда канцелярия приняла особенно деятельное участие в разработке великих реформ, и З. с увлечением предался этому труду. Кроме управления делами департамента гражданских и духовных дел, в котором З. был не только докладчиком всех его дел, но и редактором всех решений, исходивших из этого департамента по делам уголовным, на него (1860 г.) возложен был труд особенной важности, о котором он всегда вспоминал с удовольствием и исполнению которого отдал всю свою энергию и всю свою многолетнюю опытность: ему поручено было все делопроизводство по внесенному в Государственный Совет главноуправляющим II отделением Собственной Е. В. Канцелярии проекту устава судопроизводства по преступлениям и проступкам (1860 г.), а в самый разгар работ по исполнению данного поручения З. был назначен членом-редактором в Высочайше учрежденную при государственной канцелярии комиссию для составления проектов законоположений по судебной части в Российской империи (1862 г.). При создании этих законоположений, как равно и при составлении впоследствии (1864 г.) судебных уставов, З. был одним из самых замечательных работников. <...> – *Русский биографический словарь ИРИО, изданный под наблюдением А.А. Половцова*

И к нему мы отнеслись с сочувствием, которого он вполне заслуживал – но не выносили из его лекций и практических указаний ясного, наглядного представления о деле, нас ожидавшем.

Конечно, тогдашнее русское судопроизводство, чисто канцелярское и бумажное, и само по себе было чем-то мертвенным и мертвящим, а говорить о других процессуальных формах наши учителя, по всей вероятности, не имели права; но оживить преподавание все-таки было возможно. Критического отношения к существующим судебным порядкам в лекциях судопроизводства не было и тени, а между тем и оно не было невозможно, как мы сейчас увидим по примеру Калмыкова. Насколько выдавался Вышнеградский из числа преподавателей не юристов, настолько же превосходили других профессоров юридических наук А.П. Загорский и П.Д. Калмыков. Первый читал (и читает до сих пор, по прошествии тридцати слишком лет) судебную медицину, второй – уголовное право. Под именем судебной медицины во II-м классе проходила физиология, что было, конечно, вовсе не лишним, особенно ввиду наших, более чем слабых, сведений по естественной истории; настоящий судебно-медицинский курс начинался уже в I-м классе и заканчивался тем, что нас водили один раз в Мариинскую больницу, для присутствия при вскрытии трупа (громадное большинство думало при этом только о том, как бы стоять подальше от секционного стола и поменьше видеть страшное зрелище).

Не знаю, в какой степени А.П. Загорский был мастером своего дела – но мы слушали его с большим вниманием, благодаря живому, удобопонятному изложению, пересыпаемому множеством примеров и анекдотов.

Гораздо более глубокое влияние имел на нас *П.Д. Калмыков*. Всегда серьезный, почти мрачный, но изысканно вежливый и деликатный, он поражал нас сдержанно-страстным отношением к своему предмету, выражавшимся во всем – в голосе, в тоне, в образной речи, в пафосе, с которым он говорил об уважаемых им ученых (например, о Фейербахе – конечно, о криминалисте, а не об авторе «*Wesen des Christenthums*») или восставал против несимпатичных ему форм уголовной кары (например, против смертной казни, против телесного наказания и наложений клейм).

Это последнее, в тогдашнее время, было не совсем безопасно для профессора, но Калмыков не останавливался перед подобными соображениями. Он, очевидно, хотел передать слушателям не только свои сведения, но и часть своего настроения.



Профессор Петр Давыдович Калмыков (1838-60)

Не скажу, что бы это ему особенно удавалось, что бы мы его всегда понимали, вполне проникались его образом мыслей; кое-что, однако, врезывалось нам и в память, и в душу, и мы выходили из его класса не только с сознанием приятно проведенного времени – как после лекций Загорского и Вышнеградского, но с пробужденною на время мыслью, с тяжелым чувством чего-то неладного в окружающем нас мире.*

Учились мы у Калмыкова усердно и довольно успешно; в его преподавании нам были доступны даже немецкие философские теории, не была страшна даже знаменитая «лестница наказаний», наводившая ужас на столько поколений молодых юристов. Уголовное право было *единственным* предметом, по которому мы вынесли из училища не бессвязные обрывки знаний, а нечто стройное и целое.

Охота, с которой мы слушали Калмыкова, свидетельствует о том, что, несмотря на всю нашу неразвитость и неподготовленность, хорошие профессора могли бы сделать из нас по меньшей мере порядочных учеников. Почему же у нас было так мало хороших профессоров? Несправедливо было бы винить за это одно училищное начальство.

Многие из наших преподавателей были в то же время профессорами петербургского университета (Шнейдер, Кранихфельд, Неволин, Калмыков); негде, может быть, было и взять лучших, более способных.

* Калмыков, Петр Давыдович – профессор энциклопедии законоведения и государственного права, род. 27 октября 1808 г., ум. 18 марта 1860 г. <...> Калмыков в 1827 г. поступил на философское отделение Петербургского университета. В ноябре 1827 г. последовало Высочайшее повеление избрать в русских университетах двадцать молодых людей и отправить их сначала на три года в Дерпт, а затем – еще на два года за границу, для приготовления к занятию кафедр по юридическим наукам. В числе шести студентов, избранных, в силу упомянутого Высочайшего повеления Петербургским университетом, был и П.Д. Калмыков, едва прослушавший лекции на первом курсе, но выдержавший при Академии Наук испытание, которое дало ему право ехать в Дерпт. В июле 1828 г. молодые люди отправились в Дерпт.

О Калмыкове уже через год от дерптских профессоров был получен отзыв, что он вполне подготовлен для самостоятельных занятий, почему 24 ноября 1830 г. он уже уехал за границу <...>. По возвращении в Россию 29 июня 1834 г. П. Д. Калмыков немедленно причислен был ко Второму отделению Собственной Его Величества Канцелярии, 7 августа 1835 г. назначен преподавателем по кафедре энциклопедии законоведения и русского государственного права, а 4 сентября 1835 г., без представления диссертации, только по выдержании экзамена и защите тезисов, был признан доктором прав; 27 марта 1837 г. возведен в звание ординарного профессора. Энциклопедию законоведения он читал до самой своей смерти, а государственное право лишь до 1850-1851 г. когда этот предмет поручен был его ученику, В.А. Милютину; в 1838-1860 г. П.Д. Калмыков читал в Училище правоведения уголовное право, а в 1851-1860 г. в Александровском Лицее историю русского права; кроме того, с 31 января 1840 по 2 октября 1849 г. он был директором первой гимназии в Петербурге и принес этому заведению огромную пользу; к сожалению, эта должность отнимала у него много времени и неблагоприятно отразилась на количестве трудов, которые успел Калмыков издать.

<...> Лекции его по энциклопедии законоведения произвели сильнейшее впечатление на слушателей; гр. Сперанский неоднократно на них присутствовал и остался очень доволен молодым профессором; он убедился, что истинно философское направление в преподавании прав обеспечено для Петербургского университета. По приглашению некоторых сенаторов Калмыков читал в небольшом частном кругу курс по философии права. Энциклопедию права Калмыков определял, как «обзор юридических наук в общей их связи» и делил на догматическую и историческую части; в первой он стремился дать систематическое изложение общих оснований или истин права, в том виде, как они сознаются учеными в настоящее время; во второй – изложить их действительное, историческое развитие. Догматическую часть он не успевал обыкновенно довести далее изложения учений философов древности; но его чтения тем не менее оказывали огромное влияние на развитие слушателей. Обладая отличным знанием классических языков, Калмыков изучил древних философов в подлинниках; изложение его отличалось ясностью, простотою, стройностью, глубоким философским взглядом и живым отношением к вопросам и требованиям современной действительности; по отзывам одного из учеников П.Д. Калмыкова, проф. И.Е. Андреевского, его курсы по философии права не уступали лучшим курсам по той же специальности и в Германии. – *Русский биографический словарь ИРИО, изданный под наблюдением А.А. Половцова*

Правда, Кранихфельд читал в университете только законы о финансах, но кафедру гражданского права занимал там, если не ошибаюсь, Неволин, в училище без того уже имевший два предмета. Правда, государственное право читалось в университете Калмыковым, но зато тамошний преподаватель уголовного права, Яков Баршев, во многом, по-видимому, уступал Калмыкову, и если бы мы выиграли от замены Палибина Калмыковым, то еще больше, может быть, проиграли бы от замены Калмыкова Баршевым.*

Главная разница между университетскими и училищными лекциями заключалась, я думаю, в том, что те же профессора читали иначе, когда имели перед собою студентов, а не мальчиков (не столько по возрасту, сколько по положению и привычкам). У нас профессор поневоле превращался в учителя, отвечающего не только за знания учеников, но и за тишину и порядок в классе. От него требовали беспрестанного спрашиванья уроков, т.е. чего-то весьма мало сходного с университетским преподаванием. Я нисколько не удивился бы, если бы узнал, что большинство профессоров относилось к нам с некоторым пренебрежением, смотрело на нас сверху вниз; что-то подобное виделось нам уже тогда, например, во всей манере Неволена. Не этим ли и объясняется и тот факт, что ни один из профессоров-юристов не старался возбудить в нас охоту к самостоятельным занятиям?

* Баршевы Сергей Иванович и Яков Иванович — два брата-криминалиста; родились в семье священника в Москве — первый 17 сент. 1808 г., а второй 23 апр. 1807 г., учились в Моск. духовной семинарии, но курса не окончили, потому что в 1829 г. в числе трех лучших воспитанников академии были отправлены в Петербург для обучения правоведению при II отделении собственной Е. И. В. канцелярии. Здесь под непосредственным руководством Сперанского, Балугьянского и Корфа молодые люди занимались у бывших профессоров Куницына, Плисова и Клокова; кроме того, они слушали в Петербургском университете лекции римского права, а также древнего и новых языков. Через два года Баршевы вместе с другими, обучавшимися при II отделении, были отправлены на 3 года в Германию для усовершенствования. Посещали они различные университеты, но центром занятий избрали Берлин, университет которого блистал в те времена громкими именами немецкой науки. Здесь они слушали лекции гегелианца Ганса, Савиньи, Эйхгорна, Гефтера и др. В 1834 г. Баршевы и товарищи их — Калмыков, Неволин, Никита Крылов и др. — вернулись в Россию и в особо назначенной комиссии под председательством Сперанского блистательно выдержали экзамен на доктора прав.

<...> Яков Иванович Б. по получении в 1834 г. степени доктора права был сначала причислен к II Отделению в качестве члена комиссии, организованной для перевода Свода Закон. на немецкий язык, а в следующем году назначен экстраординарным профессором уголовных и полицейских законов в петербургском университете. В 1837 г. его произвели в ординарные профессора, и тогда же он был приглашен профессором юридических наук в Александровский лицей, где он был также инспектором некоторое время. Преподавал он вместе с тем правоведение в старшем классе пажееского корпуса, а впоследствии, по оставлении университета, преподавал уголовное право и в училище правоведения. В университете Яков Иван. Б. читал до 1856 г. Затем состоял в чине тайного советника при кодификационном отделе государственного совета. Як. Ив. был видным профессором. Хотя ему ставили в упрек, что он обращал недостаточное внимание на положительное законодательство, не вдавался в казуистику, но курс его, построенный на подробном сравнительном рассмотрении учений главнейших криминалистов, являлся стройным, отлично обработанным, приносившим большую пользу слушателям. Владевший глубоким богословским образованием Як. Ив. Б. стремился подвергать философские воззрения криминалистов всесторонней критике. Отменно точный, неумолимо строгий к самому себе, к тщательному исполнению своих обязанностей, он был строг и крайне требователен к слушателям. Считаясь грозой на экзаменах, он вместе с тем внушал к себе и любовь, и благородное уважение. Написал Яков Ив. Б. немного. Его курс «Основания уголовного судопроизводства с применением к российск. уголовн. Судопроизводству» (СПб., 1841) в свое время и в своей области имел такое же значение, как и курс его младшего брата, Серг. Ив. <...> — *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*

IV.

Неблагоприятное для нас мнение профессоров, если оно действительно существовало, было во многом заслужено нами, хотя, конечно, мы были, как говорится, без вины виноваты. Взгляд на ученье, выработавшийся в нас на младшем курсе, усложнился теперь только одним новым элементом, во всем другом оставаясь неизменным. Этим новым элементом была мысль о *чине* и о тесно связанной с ним служебной карьере.

При выпуске из училища ученики первого разряда, т.е. лучшие, получали чин титулярного советника, ученики второго разряда – чин коллежского секретаря, ученики третьего, и последнего, разряда – чин губернского секретаря. Этот порядок существует и теперь, но чины давно уже утратили свое прежнее значение, между тем как тогда от них довольно существенно зависело движение по службе. На причисление к тому или другому разряду влияли все баллы, полученные на старшем курсе (как по ученью, так и по поведению). Отсюда главный стимул, побуждавший нас к занятиям.

Не скажу, чтобы между нами сильно было развито служебное честолюбие, но мы все или почти все (говоря – почти все, я делаю исключение не в пользу самых прилежных учеников, к которым принадлежал и я, а в пользу наиболее развитых, как, например, упомянутый уже мною Билинский) смотрели на службу преимущественно с точки зрения личного успеха и личных выгод (выгод *законных*; ко взяточничеству у нас существовало законное отвращение – единственная «идеальная» черта, переходившая от одного поколения правоведов к другому). Другого взгляда на службу никто не старался в нас развить, а самостоятельно дойти до него мы не имели случая.

Время тогда вообще было глухое, умственное движение почти прекратилось, а редкие его отголоски не доходили до нашего слуха. Газет мы не читали (да и какие тогда были газеты?), в журналах, когда они попадались нам в руки, просматривали, большей частью, только беллетристику. Нашим любимым развлечением был французский театр, нашим любимым чтением – французские романы, в особенности Дюма (отец). Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас слышал, до выхода из училища, имя Белинского, хотя со времени его смерти прошло весьма немного лет.

Замкнутые в тесные рамки, чуждые всякого общественного и научного интереса, постоянно слыша не только в училище, но и дома о служебных успехах наших предшественников, мы поневоле останавливались мыслью на самой понятной и привлекательной для нас стороне нашего будущего служебного поприща. Мы учились для репетиций и экзаменов, со всеми их последствиями, мало думая о том, как нам придется применять приобретенные знания и надолго ли нам их хватит.

Здесь я сделаю небольшое отступление. Много переменялось после меня в училище и переменялось к лучшему; не думаю, однако, чтобы дух, господствовавший при мне в училище, исчез всецело и без остатка. Традиции учебного заведения, особенно закрытого, очень устойчивы; они ослабевают, принимают другой оттенок, смешиваются с новыми веяниями, но редко вырываются с корнем. В настоящем случае их поддерживает, вдобавок, одно весьма важное обстоятельство: сохранение за училищем его привилегий (под этим именем я понимаю не только право на чины, но и сравнительную легкость и краткосрочность курса и в младшем, и в старшем отделении). Отдавая своих детей в училище, многие родители и теперь руководствуются, между прочим, внешними выгодами, им предоставляемыми; понятно, что эта точка зрения отражается иногда и на самих детях. Не преобладанием ли ее объясняется тот факт, что училище, за пятьдесят лет своего существования, выставило так мало ученых-юристов?



*Константин Петрович Победоносцев, выпускник Училища правоведения,
Обер-прокурор Святейшего синода (художник А.В. Маковский, 1899 г.)*

Университетскую кафедру занимал, если я не ошибаюсь, только один из бывших правоведов (К.П. Победоносцев*) и то недолго и с сохранением места в судебном ведомстве. Единственный ученый труд его – руководство по гражданскому праву – имеет практическую ценность.

Юридических книг и даже статей, написанных правоведами, можно насчитать крайне мало. Конечно, можно обладать солидным юридическим образованием и применять его единственно к судебной деятельности. Такие образованные практики встречаются и между правоведами, но их немного, и не из училища, большею частью, они вынесли охоту и привычку к изучению юридической литературы. Если правоведы, в разное время преподававшие в училище практическое судопроизводство, так редко оказывались мастерами своего дела, то и это, может быть, следует приписать особенностям училищного строя и склада, от влияния которых немногим удастся освободиться.

* Победоносцев Константин Петрович, вышел из училища в 1846 г., IX-м классом; действительный тайный советник; ст.-секретарь Е.И.В.; сенатор; член Государственного совета; почетный член Академии наук; доктор гражданского права. С 1860-го по 1865г. читал гражданское право в Московском университете; преподавал законоведение Августейшим сыновьям Императора Александра II, а в 80-х гг. Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу. Автор многочисленных работ, как научно-юридического, так и духовно-нравственного и исторического содержания. К первым относится капитальный «Курс гражданского права», который обнимает собою особенную часть этого права и излагает русское законодательство сравнительно с римским правом и законодательствами других европейских народов; содержит он и весьма ценные указания на русскую судебную практику, как дореформенных, так и новых судов. Вплоть до октябрьского переворота 1917 года «Курс» являлся главнейшим руководством для юристов, занимавшихся гражданскими делами, причем влияние его сказывалось и на решениях гражданского кассационного департамента Сената. Обер-прокурор Святейшего Синода 1880-1905 гг. Ордена – Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира I ст. и другие. †1907 г. – genrogge.ru

Для исполнения той задачи, в виду которой было основано училище правоведения – для очищения и поднятия судебного ведомства – не требовалось больших и глубоких знаний; поэтому она и была осуществлена правоведами. Теперь наступили другие условия, для которых нужна другая подготовка – и эту подготовку легче получить в университете, чем в училище правоведения.

В связи с практически-служебным духом, выработанным полувековой жизнью училища правоведения, состоит, быть может, и крайне небольшое число правоведа, ставших сколько-нибудь выдающимися деятелями на других поприщах, кроме судебного. Посчастливилось правоведам только в музыке, если не количественно, то качественно: [Александр Николаевич] Серов и [Петр Ильич] Чайковский – имена, бесспорно, крупные. В литературном мире мы можем назвать имена покойного И.С. Аксакова, А.М. Жемчужникова, В.В. Стасова, А.Н. Апухтина – и только; в мире науки – Д.А. Ровинского и покойного В.О. Ковалевского. Ни там, ни здесь – ни одной звезды первой величины.

В мире пластических искусств искать правоведа было бы напрасно; не оставили они заметного следа и в мире земского самоуправления. Более чем странно, конечно, было бы видеть в этом нечто вроде обвинительного пункта против училища; заслуги специального учебного заведения измеряются тем, насколько оно достигает своей прямой цели, а не числом и искусством работников, поставляемых им en passant [(мимоходом)], на другие дороги. Характеристичным указанное нами явление все-таки остается. Не все же бывшие правоведа посвящают себя навсегда судебной деятельности; многие из них бросают ее довольно скоро – и вот между этими многими и могло бы найтись больше сил, способных выдвинуться вперед в новой, свободно выбранной, профессии, если бы развитие, вынесенное ими из училища, было менее односторонним.

Интересно сравнить училище правоведения, в этом отношении, с Александровским лицеем. Курс учения в последнем оставлял и оставляет желать еще большего, чем курс учения в училище; отсутствие ясно определенной специальности помешало лицу произвести, в какой бы то ни было отрасли государственной службы, переворот вроде того, которым судебное ведомство обязано правоведам. В истории русского общества, русской мысли лицеисты занимают зато более видное место, чем правоведа.

Через тридцать лет после Пушкина и Дельвига в лицее окончили курс Салтыков и Мей; из лица вышел такой земский деятель и педагог как покойный барон Н.А. Корф; имена лицеистов можно встретить между академиками, между нашими философами и социологами; лицей дал России несколько государственных людей, в полном смысле этого слова (достаточно назвать князя М.А. Горчакова), чего никак нельзя сказать об училище правоведения. Это еще не значит, чтобы лицей, в последнем счете, должен быть поставлен выше училища правоведения; я хотел указать только на различие в результатах, зависящее от различия в духе и традициях. Узкая специализация, свойственная училищу, принесла в свое время несомненную пользу; весь вопрос в том – имеет ли она какую-нибудь raison d'être [(смысл жизни)] в настоящем и будущем?

Возвращаясь к моим воспоминаниям. Умственная апатия, царившая между нами, весьма мало была возмущена даже восточною [(Крымскою)] войною. Когда война началась, мы нимало не сомневались в быстром и успешном ее окончании; могущество России было для нас аксиомой, не допускавшей никакого спора.

Так же точно, по-видимому, смотрело на дело и наше начальство; на переходном экзамене из немецкой словесности, происходившем в 1853 г., нам задавали написать сочинение на тему: «1453 und 1853», прямо вызывая нас таким образом на шовинистические восторги*. Когда война приняла неожиданный оборот, когда, одно за другим, стали приходить известия о наших неудачах, мы испытывали нечто вроде тупого удивления; мы не могли понять, как это все случилось. Нам было грустно и как будто бы стыдно, но более сильное чувство нами не овладевало.

Лицеисты оказались более впечатлительными, чем мы; из числа молодых людей, окончивших курс в лицее в декабре 1854 г., шестеро (если не ошибаюсь) поступило в военную службу, а из моих товарищей (мы окончили курс в мае 1855 г., в самый разгар севастьяпольской борьбы) их примеру последовал только один, да и то мне не помнится, чтобы он попал на театр войны.**

Впечатление, произведенное на нас смертью императора Николая, было похоже на то, которое произвели на нас битвы при Альме и Инкермане; мы были удручены каким-то смутным беспокойством, каким-то безотчетным страхом, но очень скоро забывали и то, и другое среди маленьких событий нашей ежедневной жизни. О возможных последствиях войны, о возможном значении нового царствования никто из нас и не думал. Бóльшую беззаботность насчет всего общего, прямо нас не касающегося, трудно себе и представить. С этою беззаботностью мы оставили училище; чистота наших политических взглядов – если только это выражение применимо к отрицательной величине – удовлетворила бы самого строгого из тогдашних «сердцеведов».

Затаенная, но тем более сильная вражда к начальству неизбежно должна была укрепить и развить между нами чувство «товарищества», в специфическом, школьном значении этого слова. Не выдавать друг друга, поддерживать друг друга в пассивном противодействии училищным властям, не отставать от массы, когда она решила, например, не готовить слишком трудного урока – это было общее, для всех обязательное, правило; но некоторые из нас исповедывали его с настоящим фанатизмом, другие (в том числе и я) подчинялись ему без всякого увлечения. Мне [сейчас] кажется, что правы были скорее первые.

* К.К. Арсеньев имеет в виду окончание в 1453 г. Столетней войны, когда Англия потеряла все свои ранее завоеванные территории во Франции, кроме г. Кале. А 4 века спустя, в начале Крымской войны (1853 г.) Англия стала противницей России, вместе с Францией и Турцией.

** Идентификация сего героя требует трудоемких розысков по curriculum vitae 27-ми выпускников 1855 года (т.е. исключая автора сих воспоминаний). На трудоемкость и возможность легко промахнуться указывает следующий пример. Вместе с К.К. Арсеньевым училище окончил барон Павел Оттович Тизенгаузен (?-1886). В то же время в Интернете имеется ссылка на:

Пауль барон фон Тизенгаузен (Paul Baron von Tiesenhausen) род. 10 января 1837 г. в поместье Итфер (Itfer), в Эстонии; ум. 12/24 ноября 1876 г. в Мюнхене. Один из художников-маринистов. Впервые стал писать картины уже в зрелом возрасте. В 1854 г. окончил школу при Домском соборе в Таллинне и поступил на службу в армию. После крымской войны, в которой он принимал участие, барон покинул армию по собственному желанию в чине лейтенанта и поступил в 1859 г. в мюнхенскую академию художеств, где вначале работал с пейзажистом Карлом Мильнером. <...> Пауль фон Тизенгаузен является одним из немногих мюнхенских художников-маринистов и считается лучшим из них. К сожалению, туберкулез не дал времени развиться таланту этого художника. Из книги Wilhelm Neumann «Baltische Maler und Bildhauer des XIX Jahrhunderts. Biographische Skizzen mit Bildnissen der Künstler und Reproduktionen nach ihren Werken. Riga 1902. S. 152-153».

Не спутал ли ненароком К.К. Арсеньев, при написании своих воспоминаний и в отсутствие связей с однокашниками, своего бывшего коллегу Павла с другим Тизенгаузенем – Паулем?

В понятии о товариществе, как оно вырабатывается в особенности на почве закрытых и худо управляемых учебных заведений, есть, без сомнения, много искусственного, фальшивого; но, при отсутствии других идеалов и соединительных звеньев, ценной и благотворной может быть и идея товарищества, возвышая молодого человека над уровнем ежедневных житейских мелочей, приучая его жертвовать личным в пользу общего, служа для него источником необходимого в юности одушевления и энтузиазма.

Для правоведов первого времени товарищество имело еще и ту хорошую сторону, что являлось, переживая окончание курса, охраной против соблазнов, с которыми была сопряжена тогдашняя служба в судебном ведомстве. Степень устойчивости товарищеской связи была, впрочем, весьма различна; в нашем выпуске она распалась очень скоро, между тем как в других, близких к нему по времени, она хорошо держится до сих пор. У нас ей повредила, между прочим, именно та умственная пустота, с которою мы оставили училище. Каждый стал пополнять эту пустоту по-своему – и через несколько времени между нами, за немногими исключениями, оказалось мало общего. И в этом отношении на нас отразилась эпоха, с которою совпали наши учебные годы – эпоха столь же печальная для училища, как и для всей России.

Двух недостатков, обыкновенно приписываемых правоведам и лицеистам, наш класс был совершенно чужд: никто из нас не был расположен к фатовству и франтовству, никто не страдал корпоративным самомнением, т.е. высокомерным отношением к другим учебным заведениям. Всего меньше мы приписывали себе превосходство над студентами; скорее наоборот, мы готовы были признать за ними преимущество развития и знания.

Что касается до фатовства, то ему не благоприятствовало, прежде всего, наше общественное положение. Аристократов по происхождению в нашем классе не было почти вовсе (единственный между нами князь [Петр Алексеевич Хованский] был членом захудалого рода); к богатой или высокопоставленной семье не принадлежал никто. Наши отцы были большею частью либо помещики средней руки, либо чиновники, более или менее крупные по чину*, но не по занимаемому месту.

Теперь, насколько мне известно, правоведа трудно не иметь собственного мундира; у нас он составлял величайшую редкость, мы почти все не выходили – разве на каникулах – из казенного белья и казенного платья (и то, и другое было очень порядочное; кормили нас так же хорошо). Наши вкусы были, вообще говоря, довольно скромны; мы были очень рады позволению ходить на балкон Михайловского театра и сидеть там в рядах так называемой смешанной публики. Скромны были и самые кутежи, которые случались, притом, весьма редко, и в которых принимали участие весьма немногие.

Завзятыми чиновниками и карьеристами мы, при выпуске из училища, так же не были; формализм не мог развиваться в нас уже потому, что мы были юристами более по имени, чем на самом деле, и мечты о карьере отличались скорее наивностью, чем настойчивостью, и вовсе не были похожи на намерение пробить себе дорогу во что бы то ни стало. Наше душевное состояние, в момент выпуска, походило всего больше на лист белой бумаги; исписать его тем или другим должна была уже дальнейшая жизнь.

Меня могут спросить, почему я ничего не сказал до сих пор о попечителе училища, принце Петре Георгиевиче Ольденбургском? Отвечу на этот вопрос с тою откровенностью, которую я вообще считаю для себя обязательною. О значении, которое имел для нас покойный принц, у меня не сохранилось никаких определенных воспоминаний.

* Поступать в училище могли только дети дворян, записанных в пятую или шестую часть родословной книги, и дети служащих, достигших, по меньшей мере, чина полковника или действительного статского советника. Между этими двумя категориями наш класс распределялся почти поровну. – *Примеч. К.К. Арсеньева*

Он посещал училище, в мое время, довольно часто (хотя и не так часто, как прежде), но результат этих посещений не был для нас заметен. Мы очень его уважали, несколько его боялись, хотя лично от него меры взыскания исходили редко; мы не приписывали ему прямо всех тех распоряжений и порядков, которые казались нам тяжелыми и несправедливыми, но если бы этих распоряжений и порядков не было, то наше отношение к нему было бы, по всей вероятности, более сердечным.

Позже, после выпуска из училища, когда все темные стороны училищной жизни сделались для нас чем-то безвозвратно прошедшим, мы приучились ценить в его высочестве преимущественно основателя училища, честно сослужившего свою трудную службу, и этим путем наши чувства слились с чувствами всех других правоведов. Спешу прибавить, что здесь, как и во всем остальном, я говорю только от собственного имени. Мне кажется [однако], что взгляд, только что мною выраженный, принадлежал в то время не мне лично, а всем моим товарищам, но может быть, я ошибаюсь; ручаться, конечно, я могу лишь за самого себя.

Из воспоминаний князя В.П. Мещерского*

<...> Восьми лет [(в 1847 г.)] меня отдали с братом [Александром] во вновь открывшиеся тогда приготовительные классы училища Правоведения. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский купил на свой счет барский дом Неплюева, на Сергиевской, и там открыл два класса, с французом Бераром, пруссаком Штейном и Шильдером немцем, как воспитателями. Это было своего рода пострижение, но настоящее: мои длинные кудри были беспощадно уничтожены казенным цирюльником навсегда, и, обстриженные по-солдатски, мы поступили под строгую дисциплину школы. Тогда директором училища Правоведения был старик Пошман; он доживал свой век и процарствовал над нами только несколько месяцев. Но помню, что его фигура и его имя были авторитетны.



Князь Владимир Петрович Мещерский

* Воспоминания Владимира Петровича Мещерского (1839-1914) были изданы в 1897-м (части 1 и 2) и 1912-м (часть 3) годах. Переизданы в 2003-м в издательстве «Захаров».

Из curriculum vitae: Мещерский, князь, Владимир Петрович, выпущен в 1857 г. IX-м классом; действительный статский советник, камергер; писатель, публицист. Издавал [реакционную] газету «Гражданин». † 1914 г. – genroge.ru

С его смертью назначили князя Голицына, из бывших военных. Он на нас произвел впечатление своею сухостью и холодностью... При нем кончился 48-й год, и до нашего тихого детского убежища мира и послушания стали доходить смутные слухи о чем-то неладном в училище. Это неладное заключалось в брожении умов в старших классах, в отдельных скандалах, которые делали воспитанники немилым из воспитателей и профессоров, — князь Николай Семенович Голицын оказался слабым и ненаходчивым, — и пришлось в 1849 году сделать *coup d'état* (переворот), т.е. Голицына сменить и искать кого-нибудь пострже.

Помню, что тогда у нас ходили слухи о том, что Государь училищем недоволен и что найдены были будто косвенно замешанные в истории Петрашевского, разыгравшейся в 1848 году. Этого строгого человека нашли в рижском полицмейстере, полковнике Языкове. Его произвели в генералы и отдали ему училище Правоведения. Помню, как вчера, его появление к нам в приготовительные классы. Он не вошел, а влетел, как ураган, поздоровался и затем, с глазами навыкате, будто бы для придания себе вида строгости, стал обходить наши классные столы. Я стоял с руками, положенными на стол. Он подошел ко мне, ударил по обеим рукам: как сметь так стоять? — рявкнул он, — руки по швам!

Другому то же самое сделал — тот расплакался, и затем, сказавши так: смотрите у меня, вести себя хорошо, а не то расправа будет короткая! — вылетел из класса, оставивши нас в положении овечек, испуганных внезапно расходившеюся грозой.

Это было первое впечатление нового режима, коего, разумеется, мы не понимали ни смысла, ни причины, так как пребывали, благодаря отеческой строгости Папá Берара, нашего старшего воспитателя, в самой строгой дисциплине. Дисциплина была, действительно, строга. Она усилилась с появлением Языкова тем, что за то, что мы ходили не в ногу в строю, нас ставили за черный стол во время обеда или завтрака.

Характерным проявлением тогдашней школьной дисциплины врезалась в память мою происходившая каждую субботу после всенощной церемония «*petite-censure*» [(маленькая критика)], как называл ее наш Папа Берар. Она была и торжественна и страшна. Папа Берар с ассистентами, в лице двух воспитателей, входил к нам в класс и садился за стол. Начиналось чтение баллов и нашего журнала поведения. Все грехи недели нам припоминались, с подобавшим внушением или наказанием. Высшею мерою наказания были розги. Бравый преображенец, унтер-офицер Илья Иванов являлся в лазарет, и там происходила экзекуция.

Как вчера, помню голос Папа Берара, читавшего такого рода наставления:

— Monsieur NN, a ete mis a la table noire avoir p<iss>e dans son lit!

— Monsieur NN, — обращался он к виновнику, — quand donc cesserez vous de p<isse>r dans votre lit?

После троекратного такого постановления бедного NN приговаривали к розгам.

— Александр Иванович, — обращался Папа Берар к воспитателю Шильдеру, — il faut administrer a Monsieur ZZ, une petite correction.

И ZZ отправлялся в лазарет для экзекуции. Но замечательно, что ZZ от этой дурной привычки отделался.*

* Пропуски в оригинале. Речь идет о неаккуратном отправлении воспитанниками [правильнее, в единственном числе, поскольку речь идет о monsieur NN! — МК] естественных надобностей [это не «неаккуратное отправление естественных надобностей», а классифицируется как болезнь, «недержание мочи» — МК]. — Примеч. ред. издательства «Захаров»

Мы попробовали восстановить пропуски и перевести реплики Папá Берара:

— Месье NN, был поставлен за черный стол (сие понятие см. выше — МК), как описавшийся в постели!

— Месье NN, когда вы перестанете писаться в постели?

— Александр Иванович, месье NN необходимо провести небольшую коррекцию.

Но вот настали опять беспокойные времена в стенах училища. Языков становился грозным.

Об этой грозе дошли до нас некоторые странные рассказы. Один из них особенно поразили наши детские души. Вскоре после вступления своего в должность директора Языков совершил коренную реформу в воспитательном персонале училища и, так сказать, в самой дисциплине. Реформа эта заключалась в том, что почти весь штатный персонал воспитателей был заменен гвардейскими и армейскими офицерами, и во главе, так сказать, дисциплины и ее представителей, воспитателей, — был поставлен в новой должности инспектор воспитанников... Выбор пал на артиллерийского подполковника с самою внушительною фамилиею, Рутенберга. Его наружность гармонировала с его именем: высокого роста, худой и сухой, с резким подбородком, с медленною и всегда одинаковою походкою, он являлся перед воспитанниками всегда суровым, всегда строгим, и улыбался раза два в году, что, впрочем, не помешало нам со временем питать к этому страшному человеку уважение.

С назначением офицеров стали предъявляться к воспитанникам строгие требования почти военной выправки и дисциплины, и прежние патриархальные, добродушные отношения воспитанников к воспитателям заменились отношениями скорее формальными и строевыми... Эта перемена реформы вызвала несколько одиноких протестов со стороны воспитанников более либеральных, и сажание в карцер на сутки стало учащаться.

Языков, как мы детскими умами понимали по доходившим до нас рассказам, хотел что-то сломить и все усиливал свою строгость после каждого отдельного случая неповиновения и строптивости...

И вот, вследствие такой системы усиления наказаний, произошел следующий драматический эпизод. Один воспитанник 4-го класса — с 4-го класса воспитанники считались освобожденными от телесного наказания, гуляя по залу, с застегнутою на три пуговицы сверху курткой и с руками в боковых карманах — два кармана были строго воспрещены, мирно беседовал с своим товарищем. Подходит к нему дежурный офицер, останавливает его и приказывает ему застегнуть куртку и руки вынуть из кармана, а левый карман велит зашить.

— Я разве вам мешаю? — отвечает воспитанник, не вынимая руки из кармана, а другую руку переведя в промежутки между расстегнутыми пуговицами куртки.

— Прошу не рассуждать, — отвечает офицер, — и исполнить приказание.

— Не хочу, — отвечает воспитанник.

— В карцер марш!

Виновный посажен был в карцер.

Офицер доложил Рутенбергу, Рутенберг — Языкову. Языков приходит в сильное возбужденное состояние и решает, по-видимому, что пришла минута показать себя во всей строгости своей власти. Он стремглав летит в залы училища.

— Строиться! — раздается по обеим залам младшего и старшего курсов его страшный голос.

Три старшие класса входят в зал младшего курса. Затем он зовет всех наличных учителей-профессоров и воспитателей, затем строит все классы в карэ, и вдруг раздается команда: скамейку и розги. Когда принесли скамейку и розги, Языков велит привести провинившегося из карцера и объявляет ему приговор: за дерзость относительно офицера вы переводитесь из четвертого класса в пятый [(младший)] и будете высечены.

Виновного высекли 20-ю розгами публично. Затем его исключили из училища.

Впечатление эта небывалая в стенах училища казнь произвела страшное. И надо сказать, что этим страшным эпизодом положен был конец эпохе брожения умов в училище и сразу все подчинилось стихии дисциплины; после этого ничего подобного не повторялось, как казнь, и ничего подобного не повторялось, как проявление бунта.

Несколько лет спустя я узнал, что столь страшно наказанный воспитанник поступил в военную службу, был на войне и считался отличным офицером и порядочным человеком.

В 1850 году 15 августа, 11-ти лет с половиною, я надел трехуголку правоведа. На долгих привез нас старый слуга моего отца в Петербург из деревни, — брата моего для помещения в тогдашний знаменитый пансион Эммэ, а меня в училище Правоведения.

Имение моего отца было в 120-ти верстах от Петербурга, в Ямбургском уезде. В нем считалось около 500 душ. Об этой деревне Мануилово вспоминается, как о рае земном. Слово: «рай» — здесь вовсе не метафора. Благодаря раннему поступлению в училищную жизнь — в 8 лет, благодаря умственному богатству семьи моих родителей, в 11 лет я был развит не менее, чем мои товарищи 14-ти и 15-ти лет, а в этом возрасте уже много в душе зарождается не только впечатлений, но и мыслей серьезных.

Во мне было сознание ясное и светлое, что наша деревня была именно раем, по совершенному отсутствию зла и по изобилию самых светлых и, так сказать, сладких душевных впечатлений; там царила какая-то чудная гармония в людях и во всех проявлениях жизни, и ее следы в душе были так глубоки, так сознательны, что остались живыми на всю жизнь. Этот след был 10 и 20 лет спустя тем недоумением, тем непониманием, с которым я со всех сторон знакомился со сказками и толками о зверстве крепостного права, о люто-сти помещика.

В нашей деревне чуть ли не с пеленок я видел помещика только в лице моего отца, и этот помещик был не только отцом, но был ангелом и добрым гением для своих мужиков: когда я стал рассуждать и понимать, я этого ангела узнал не по своим впечатлениям, а от мужиков, по тысячам проявлений их обожания к нему. Я видел и понимал, что мой отец не только в каждом мужике уважал человека, во Христе брата, но родного, близкого ему, милого ему сына, а с другой стороны я стал видеть и понимать, что другого значения, как родного отца, мой отец для крестьян не имел. И в этой, именно, семейной связи с крестьянами мы росли. Мы знали чуть ли не всех крестьян по имени, знали каждую заботу, или печаль, или радость в крестьянских делах, ни разу за ряд лет не пришлось слышать о крестьянине, наказанном моим отцом или его управляющим; а о помощи тому или другому сколько я слышал речей в устах моего отца.

До 1850 года в деревне с нами жила моя бабушка, вдова великого Карамзина, с двумя незамужними дочерьми. Величавая и стройная 70-летняя Екатерина Андреевна Карамзина была самым ярко-светлым олицетворением приветливости и любви к окружающему ее миру. От нее веяло правдою и благородством, и я живо помню, как для каждого она являлась каким-то величественным и в то же время прелестным образом барыни-праведницы. Тут же в полуверсте была большая больница воспитательного дома. Главный ее доктор был гомеопат и чудный человек, любивший крестьянина и любивший добро.

В семи верстах была наша Опольская церковь, с симпатичным и почтенным батюшкою, прекрасно служившим и приезжавшим служить к нам по праздникам всенощные. И вот, взаимная связь всех этих хороших и прекрасных лиц и составляла ту полную и чудную жизненную гармонию, которой на человеческом языке другого названия дать не могу, как именно: земной рай.

С этими впечатлениями земного рая в душе попал я на 7-летнее заключение в училище Правоведения при Языкове. При переходе из приготовительных классов в училище Правоведения пришлось почувствовать разницу воспитательного режима.

В руках нашего доброго Папа Берара мы чувствовали себя как будто в своем доме, в своей семье; каждый из нас сознавал свою детскую личность не только существующую для наших воспитателей, но до известной степени им близкою: между ими и нами бывал постоянный обмен впечатлений, и самая строгость никогда не теряла характера семейного, дружеского или отцовского обращения...

При поступлении в училище, в грозные руки Языкова, пришлось с нашими ощущениями проститься; мы скоро поняли и почувствовали, что становились номерами, под которыми справляли свою функцию воспитанника. Мы сразу постигли, что смешно, дико, немыслимо было бы представить себе нашего брата воспитанника идущим к директору с душевным вопросом. И то же самое чувство мы начали испытывать относительно инспектора Рутенберга, относительно воспитателей и относительно учителей...

Во всем были внешние отношения, внутренних не было; оттого семилетняя жизнь в училище началась и продолжалась для каждого с тем духовным запасом материала, с каким его снабдили дома, в своей семье, и не раз, вследствие этого, приходилось замечать, как грубели и черствели те из наших товарищей, родители которых были вне Петербурга и которые вследствие этого запирались на целый год в училищные стены, как в клетку, без освежения домашнею жизнью, то есть жизнью сердца.

Ни разу, например, пока он был жив, наш инспектор Рутенберг не появлялся среди нас иначе, как в определенные часы; ни разу не изменились ни его походка, ни его движения, ни его слова. То же самое относительно Языкова, хотя он являлся иногда невзначай, не в определенное время; если невзначай, это был все тот же блюститель внешнего порядка, совершенно равнодушный к тому, что у каждого из нас было на душе.

Всего выразительнее в этом культе внешней дисциплины казался нам наш знаменитый законоучитель, священник Михаил Измайлович Богословский. Говорю: знаменитый – потому, что его знал весь Петербург за его строгость и за его особенную по характеру службу. Придет, войдет в класс, сядет на кафедру, прочтет урок и начнет спрашивать строго и беспощадно придирчиво и уйдет, причем до урока и после урока каждый должен был подходить под благословение и целовать руку, и все это молча и трепеща. Одна была разница: в какой рясе придет Богословский; мы ждали этого с нетерпением и страхом: если в зеленой – скверно, его строгость будет сердитая; в черной – легче было на душе: его строгость была мягче и подчас нарушалась улыбкою.

Самым беспощадным был учитель латинского языка П.М. Носов. Он ничего не знал, кроме мертво-строгого преподавания урока, и затем спрашивал с самою беспощадною формальностью, и единицы и двойки сыпались на нас без счета. Это было возмутительное преподавание; мы это чувствовали детьми, но для обрисовки курьезного взгляда на внутренний режим Языкова – не могу здесь не вспомнить, что как в течение 7-ми лет ни разу инспектор воспитанников не приходил к нам невзначай, так ни разу в эти 7 лет я не видел, чтобы инспектор классов (сперва Кранихфельд, а потом Ф.Ф. Витте) вошел в класс послушать, как учит учитель и какие у него отношения к воспитанникам.

Самыми симпатичными из воспитателей для нас были самые оригинальные, отличавшиеся своею грубостью, как воспитатель артиллерист Геруцот, принявший нас в 6-й класс и умевший с удивительною грубостью и вспыльчивостью соединять ласку и доброту, и отставной военный полуфранцуз Мальо, которого мы любили, во-первых, за то, что он дежурил в лучший день недели, по субботам; он имел вкус к островам и доводил ее до самой утонченной пытки, которую он относительно нас придумал и которою гордился, а именно — подходить к кровати за четверть часа до ужасного утреннего звонка, стаскивать одеяло и говорить: спи скорее, mon cher, скоро звонок!

У нашего инспектора Рутенберга любимым словом, исходившим из-под его черных усов, были странные звуки: я вас вздеру. Вот он розгами распорядился неумело, и мы детьми понимали разницу между отеческим пользованием розгами нашего Папа Берара и между неумелым и взбалмошным обращением с теми же розгами нашего артиллериста-инспектора. Например, он вел за руку тихим шагом драть воспитанника, пойманного за курение, и тем же тихим шагом и тою же рукою вел на экзекуцию воспитанника за гадость. Когда дети понимают разницу в проступках и видят, что воспитатели ее не делают, тогда розги теряют свое благородное педагогическое значение.

Дисциплина у нас, как я сказал, была почти военная. На улице мы обязаны были отдавать честь всем военным, а Царской фамилии и генералам становились во фронт. После завтрака нас обучали офицеры военному строю и маршировке, и от времени до времени Принц приезжал делать нам смотры. И, надо сказать правду, эта военная школа давала блестящие результаты: мы держали себя стройно и имели бравый вид, несколько не тяготясь строгими требованиями выправки, к нам предъявляемыми.

Около февраля месяца начиналось особенное подтягивание; нас одевали в новые куртки, и мы в 1851 году впервые узнали, что ждем Государя и для этого нас облачают в новые одеяния. Но прошел и 51-й год, прошел 52-й год, а Государь не приезжал. Наступил февраль 1853 года. Как вчера, помню один из этих дней. Мы сидели в классах около 3-х часов. Вдруг послышалась какая-то страшная суэта: кто-то пробежал опрометью по зале, затем вбежал к нам в класс один из сторожей и, запыхавшись, прокричал: Государь приехал. Трудно передать, что мы в эту минуту испытали. Каждому из нас в первый раз в жизни предстояло лицом к лицу, совсем близко увидеть того самого Государя, которого вид на улице издали производил на нас какое-то необыкновенное действие благоговейного страха. Учитель наш замер, и мы все замерли.

Учитель немецкого языка стал что-то нам говорить, но совсем растерянно, очевидно, мы его не слушали, и он сам – мы это видели – не слушал себя. Он и мы всецело отдались ожиданию того великого, что сейчас должно свершиться. Большие стеклянные двери выходили в наш рекреационный зал. Вдруг послышался шум, сердце у каждого забилося, мы оглянулись и видим сквозь стеклянные двери, как идет Государь. Он был в сюртуке конногвардейского полка, с эполетами, и шел он тихим и ровно величественным шагом, и стекла нашей двери дрожали; за ним вприпрыжку семенил Языков, затем инспектор и дежурный офицер.

Но вот входит Государь в класс и останавливается.

– Здравствуйтесь дети, – сказал он нам громким и приветливым голосом, глядя на нас ласково.

Этот чудный, ясный и в то же время именно ласковый взгляд помню, как вчера. Наше «здравия желаем, Ваше Императорское Величество» было не только громкое, но и восторженное. Затем Государь стал глазами обходить каждого поочередно, как бы рассматривая нас и проверяя наши физиономии. Мы все глядели ему прямо в глаза, стоя молодцами, с руками по швам.

В другом классе, обозревая физиономии, Государь остановился на одном воспитаннике, глядевшем как-то исподлобья, приблизился к нему и ласковым голосом спросил его: а у тебя разве совесть не чиста, что ты не хочешь глядеть твоему государю в глаза? Затем, поклонившись учителю и спросивши, чему они учатся, Государь послал нам поклон головою и пошел в следующий класс.

В одном из классов, где преподавалась география, учитель Кайпш так испугался присутствия Царя, что на вопрос Государя: что преподается, он ответил – Егор Кайпш, Ваше Величество.

– Что? – повторил Император, никогда не слыхавший про такое имя науки, и уже инспектор классов должен был выручить бедного, растерявшегося учителя, сказавши: география, Ваше Величество.

Когда Государь кончил осмотр классов и, пройдя по спальням, стал направляться к лестнице, тогда мы все из классов выскочили и неудержимым потоком понеслись провожать Государя до подъезда. В сенях, когда ему подали его старую, изношенную шинель, с небольшим потертым бобровым воротником, Государь протянул руку Языкову и сказал ему: спасибо, ты мне из правоведов сделал молодцов. Разумеется, многие бросились бежать за санями чуть ли не до Прачешного моста. Языков, сияющий от восторга, отпустил нас по домам. Когда Государь ему протянул руку, он стал на одно колено и поцеловал ему руку. Опала с училища Правоведения была снята, а лежала она на нем с 1848 года.

<...> Возвращаюсь к училищным воспоминаниям.

Маленькие причины ведут иногда к крупным последствиям. Двумя классами ниже меня был тогда А.Н. Апухтин. В это время, несмотря на свои небольшие годы, у нас об Апухтине говорили. Около него группировались любители словесности: издавался маленький рукописный журнал, в коем Апухтин, если не ошибаюсь, играл роль редактора и главного сотрудника.

При этом все мы знали тогда Апухтина за талантливого юмориста. Уже ходившие по рукам в переписываемых наскоро рукописях сатирические мелочи заставляли нас смеяться самым искренним смехом. Смешные стороны того или другого товарища были предметом его неисчерпаемой музыки смеха. В этом смехе были три черты: остроумие, добродушие и порядочность. Они никогда его не покидали потом во всю его жизнь. Об Апухтине-лирике тогда мы не имели понятия.

Но вот умирает геройскою смертью Корнилов. Известие это производит в Петербурге сильнейшее впечатление. Языков, наш директор, приходит к нам и, обращаясь по поводу этого печального события к Апухтину, просит его написать на смерть Корнилова стихотворение. Вдохновиться такою смертью было нетрудно, и вот Апухтин написал на смерть Корнилова свое, чуть ли не первое, лирическое стихотворение. Языков повез его к Принцу Ольденбургскому. Принц показал его Императору; оно переписывалось всеми, всеми читалось, и вот впервые имя Апухтина как поэта вылетело из затвора училищных стен в свет. Этот первый успех решил участь литературного творчества Апухтина. Он себя уверил, что его призвание лирическая поэзия. Между тем мы, его товарищи, уже тогда совсем другого были мнения о характере его таланта: мы его считали комиком и сатириком.

Владение стихом у Апухтина в то время уже было поразительное: его стихотворение на смерть Корнилова, богатое именно этим красивым созвучием, естественного лиризма тем не менее не имело. А все-таки с этой минуты у Апухтина в его творчестве случился переворот; его комизм отошел на второй план; он остался уделом тесного кружка приятелей, а официально, для света, он стал лирическим поэтом, и навсегда. А на самом деле он лириком никогда не был.

Упоминаю об этом эпизоде потому, что, благодаря ему, русская литература лишилась, по моему твердому убеждению, второго Гоголя; лириков, как Апухтин, явилось потом много, но комиков и сатириков его силы и по сей день я не встречал ни одного.<...>

Общий образовательный курс мы кончили в училище Правоведения в 4-м классе. Кончили мы его с грехом пополам, как-нибудь и кое-чему научившись. Это кое-что заключалось в законе Божиим, в истории, географии, алгебре и геометрии, в физике с естественными науками, в языках: латинском, русском, французском и немецком – и в географии... Кроме того, в число общеобразовательных предметов входили логика и психология.

Большая часть предметов преподавалась по заведенному шаблону, а потому, разумеется, преподавалась плохо. Переходя в старший специальный юридический курс, мы не запомнили ни одного из наших учителей — по чему-нибудь оригинальному. Или по каким-нибудь впечатлениям, которые они могли бы произвести на наши молодые натуры; мы просто отходили от них, как от машин, перестававших действовать, и духовные связи с учителями порывались в минуту, когда кончались отношения ученика к учителю.

В этом отношении надо припомнить, что должности инспектора классов и его помощника были в наших глазах полнейшею синекурою. Как я говорил, мы не видели этого инспектора сидящим за уроками и поверяющим собственным впечатлением нашего учителя. Об Языкове и говорить нечего; он так мало имел общего с нашим учебным курсом, что никогда в него и носа не совал. В итоге получалось безответственное и бесконтрольное самодержавие наших учителей, которым они пользовались только для того, чтобы не изменять своим шаблонам и своей мертвенности, так сказать, в преподавании.

Для пояснения этого примером могу сослаться на самого себя: как я поступил в училище плохим математиком, так и вышел из него; а между тем в конце общего четырехклассного курса по математике со мною был такой курьез: по алгебре и по геометрии учил нас один учитель; по алгебре я имел 7 баллов, по геометрии 12 баллов. Очевидно, это была нелепость. Ибо если я был плох по алгебре, то не мог быть отличным по геометрии; я был плохим в том и в другом. А громадная эта разница оттого, что в геометрии я вызубривал задачи наизусть, ничего в них не понимая, и это зубрение признавал достойным 12 баллов тот самый учитель, который находил меня плохим по алгебре только потому, что в алгебре я всего вызубривать не мог.

Иностранные языки преподавались плохо, так что, разумеется, если домашнее воспитание не давало знания языков французского и немецкого, то уж выучиться им в училище было невозможно, ибо система изучения языков была немало похожа на обучение попугаев. Из истории ничего не оставалось в памяти обдуманного, переработанного; характеристики эпох и лиц не интересовали учителя, и неизвестно почему от зазубриваемых страниц учебников оставались в памяти только клочки текста, в роде, например, конца истории Персии, по учебнику Шульгина: «и пожар Персеполиса, как светоч погребальный, осветил развалины великого царства от Ефрата до Инда».

Шульгин этот был у нас не учителем, а профессором истории в высших классах. Самым резким воспоминанием об нем в каждом из нас оставался тот факт, что он во время лекций оплевывал весь пол кафедры. Про него, как характеристика его метода обучения, не изменявшегося из года в год, сложилась легенда вступления в курс истории, не лишенная комизма. «История, — начинал он свою первую лекцию ежегодно, — есть систематическое изложение достопамятных событий. По-видимому, такое определение не совсем точно, ибо то, что для иного достопамятно, то для другого не достопамятно.

Так, открытие компаса есть событие достопамятное для морехода, а открытие картофеля есть событие достопамятное для земледеля. Итак, определение, что история есть систематическое изложение достопамятных событий, не совсем точно, потому что не все достопамятное для одного достопамятно для другого. Я указал на примеры открытия компаса и картофеля и мог бы указать еще на многие другие, но, тем не менее, однако, за неимением другого, более точного, и это определение может быть признано за достаточное».

И эту ерунду мы помнили, но характеристики Карла Великого или Карла V мы себе не усваивали, и историю, например, я приобрел, как знание, только чтением вне уроков исторических книг дома.

Закон Божий преподавал во всех классах наш духовник, протоиерей Богословский. Он в особенности ценил занятия в младших классах, признавая нас неспособными передавать содержание урока своими словами. Расставаясь с младшими курсами, мы не выяснили себе: прав или не прав был Богословский, предпочитая учение наизусть собственному стилю. В массе учеников он предвидел, под видом толкования собственными словами, неряшливость и небрежность в обращении с учениями катехизиса и с текстом Евангелия: серьезность предмета требовала точности в его изложении. Вот с какой точки зрения являлся у нас вопрос: не был ли прав наш строгий законоучитель?

У нас, в подтверждение этого сомнения, ходил комический рассказ об ответе о. Богословскому одного из товарищей наших, Романова, шепелявившего и произносившего свою фамилию: Ломанов. Отвечает он из закона Божьего и должен передать рассказ о явлении Христа по Воскресении Своем на озере Тивериадском. И вот его рассказ собственными словами: «Однажды Иисус Христос [отплавился](#) на [Тивелиадское](#) озеро и там увидел Своих учеников, и [сплашивает](#) у Симона [Петла](#): Симоне, ты Меня любишь? А Симон Ему отвечает: Господи, Ты знаешь, что я тебя люблю».

Богословский слушал этот рассказ своими словами, видимо сердясь, и, наконец, после слов Романова: «Ах, Господи, я Тебе уже сказал, что Тебя люблю!» – вышел из терпения, назвал Романова глупцом и влепил ему двойку. И мы никогда не могли сказать, что Богословский не был прав, выйдя из себя от такого глупого рассказа своими словами. Но тот же Богословский иногда требовал от нас обратного. Приходит он раз на урок в черной рясе, следовательно, в духе, и говорит нам: ну, сегодня я вам прочту одну молитву, а вы слушайте ее со вниманием. Мы слушали.

Чтение продолжалось полчаса. После чтения он к нам обращается и – о, ужас! – говорит: ну вот, к следующему разу вы мне эту молитву запомните и своими словами передайте. Мы в отчаянии: кто слушал невнимательно, кто спал, кто слушал, но никак не мог запомнить всего, что было в этой молитве. Страх обуял нас великий. В особенности в отчаянии были наши зубрилы: не по чему было вызубрить. Спасителем класса явился я и обратился к нашему семейному священнику Казанского собора отцу Морошкину, и рассказал ему наше горе. Он, по моим приблизительным к тексту молитвы словам, догадался, что это должна быть, так называемая, первосвященническая молитва, и дал мне книжку, в которой молитва эта была помещена.

Оказалась та самая. Я привез книжку в училище на пользование всем. И о, удивление Богословского! Он рассчитывал нас озадачить и поставить в тупик, но ошибся в расчете. Как нарочно, первым был вызван я; я отвечал молодцом и получил 11 баллов.

Курсы логики и психологии по старым запискам мы учили наизусть, очень многое совсем не понимая. Помню мой блестящий ответ на экзамене, приведший Принца нашего в восторг, об авторитете, за что получил я 12 баллов, но помню также, что больше половины не понимал того, что так блестяще тараторил.

Гораздо яснее бывал Богословский, когда он прибегал к конкретным приемам, например, к такому: встает один воспитанник и отвечает так себе, мямля и ища слова. Богословский слушает не в духе. В одном месте воспитанник говорит фразу, затем, спохватившись, что соврал, говорит: то есть, и затем говорит противоположное тому, что им было сказано раньше; таким образом, «то есть» у него соединяло два антитеза. Богословский вспылал и, прогнав его, сказал: ты умный человек, то есть ты дурак. С той минуты мы сразу поняли, что «то есть» не может соединять два противоречия, а между тем эта привычка грешить против логики и говорить: это черное, то есть, виноват, белое, у многих бывает.

Переходя в старший курс и получая вместо серебряных золотые нашивки, мы испытывали известное благоговение к нашему новому положению. Это благоговение происходило от сознания, что теперь мы перестали иметь дело с учителями, а будем иметь дело с профессорами. Старший курс являлся нам с характером святилища наук. И действительно, за немногими исключениями, состав профессоров у нас в то время представлял собою нечто внушительное по личностям, его составлявшим.

Самый почтенный из профессоров, носивший название заслуженного, был профессор римского права Василий Васильевич Шнейдер. Это был и симпатичный, и оригинальный тип, коего в теперешнее время смешно было бы найти и след. В нем жил дух римлянина золотого века Рима и в то же время жил человек со всеми оттенками благородства и деликатности, с одной стороны, и высокого образования – с другой... Хотя он был немец, но никогда никому из нас в голову не приходило на этого старика смотреть, как на немца: он все время в течение трех лет нам представлялся фантастическим римлянином. Личность его могут характеризовать следующие запомненные мною эпизоды. Как-то раз во время лекции Шнейдер торжественным голосом объявил нам, что он будет от нас требовать в следующий раз на репетиции.

Когда он кончил, кто-то на задней скамейке громко сказал: ого! Это «ого» привело старика в ярость.

– Тот, кто сказал «ого», – вдруг объявил с кафедры Шнейдер, – свинья!

– Я сказал «ого», Василий Васильевич, – заявляет виновный.

– Вы сказали? – отвечает Шнейдер.

Затем, посмотрев пристально на воспитанника, старик принял свое прелестно-доброе выражение лица и сказал мягким голосом:

– Ну, так простите старика, что он вспылil!

Трудно выразить, каким благоговением мы в эту минуту преисполнились к старику.

Второй эпизод характеризует его отношения к образованию вообще. Надо сказать, что в новой истории и вообще в том мире, который был вне наших учебников, мы были очень необразованны. Я был, благодаря моей семье, образованной и всем интересовавшейся, чуть ли не первый по образованию, так сказать, общему.

Как-то пришлось Шнейдеру заговорить о Франции и коснуться вопроса бурбонской линии. Для большинства это оказалось *terra incognita*. Шнейдер спрашивает: а кто теперь единственный прямой потомок королей Франции? Все молчат: знающих не оказалось. Тогда я говорю: герцог Бордосский.

– Или, – говорит, просиявши, Шнейдер.

– Граф Шамбор, – отвечал я.

Надо было видеть радость старика.

– Bravo! Вы – образованный молодой человек, – сказал Шнейдер и с тех пор стал со мною особенно любезен.

Третий эпизод еще характернее. Зная, какую цену старик придавал замечательным датам из римской истории, и из римского права в особенности, мы запомнили день смерти императора Юстиниана. Когда настала эта годовщина, старший нашего класса, перед началом лекции, подходит к старику и говорит ему с торжественною физиономиею: класс мне поручил, Василий Васильевич, вам засвидетельствовать свое глубокое сочувствие по поводу сегодняшней годовщины смерти великого Юстиниана. Старик чуть не прослезился от умиления и пришел в такое благодушное состояние духа, что при репетиции всем порекомендовал хорошие баллы.

Здесь кстати вспомнить, что Император Николай, еще в начале своего царствования, когда ему сказали, что у нас мало профессоров вообще по юридическим наукам, велел создать профессоров и для этого приказал учредить профессорский институт при Дерптском университете. Сказано – сделано. Лучшие кандидаты юридических наук прикомандировывались, по окончании курса в Москве и Петербурге, в Дерпте и там проходили, кажется, двухлетний курс в профессорском институте.

Мы уже пользовались плодами этого института. Он дал несколько замечательных профессоров в области юридических наук и, между прочим, таких, как знаменитый Неволин, криминалист Калмыков, цивилист Мейер. Неволин представлял собою тоже оригинальный тип. Он преподавал нам историю законодательства и энциклопедию законоведения, для которой изданная им книга славилась в Германии чуть ли не более, чем у нас. Это был в полном смысле слова ученый. Как Шнейдер жил известную долю дня в римском мире, так Неволин жил целый день в мире юридических наук. Тихий, скромный, он никогда не имел с нами других отношений, кроме учебных и научных; каждому из нас невозможно было себе представить Неволина в частном быденном быту: как он ест, как он пьет; нам представлялось, что он всегда в мире юридических наук – и у нас, и у себя дома. Мы питали к нему особое уважение. Оно усилилось вследствие следующего эпизода, благодаря которому нравственный авторитет Неволина для нас сильно возрос.

Один из плохих воспитанников был вызван Невוליным отвечать заданный урок. Выходит он и, кроме программы, берет вырванные из книги энциклопедии листки и преспокойно начинает по ним отвечать. Продолжалось это минуты три. Мы видели, как Неволин пристально стал смотреть удивленным взглядом на отвечавшего воспитанника, чего с ним никогда не бывало, а воспитанник как ни в чем не бывало, с нахальством продолжает читать из листков, ничего не опасаясь, пока мы чуяли приближение грозы.

– Господин студент, – вдруг прервал его Неволин, называвший нас всегда студентами, что нам очень льстило, – дайте мне вашу программу.

Воспитанник невозмутимо швыряет листки под кафедру и подает профессору свою программу. Неволин берет программу, взглянул и затем возвращает воспитаннику программу, и при этом он снова на него взглянул... И вот этот взгляд, который помню и поныне, был событием в нашей нравственной жизни. В нем столько было презрения, столько было упрека от глубины души честного человека, что нам холодно стало от этого взгляда...

– Садитесь, – проговорил затем Неволин и не поставил ему никакого балла.

С этой минуты, в течение 3-х лет нашего старшего курса, никто и подумать не смел прибегать к такому обману при репетициях. Взгляд, полный презрения к обману, подействовал на наши души сильнее всякого слова, и вызванный через два месяца вновь НевOLIным на репетицию воспитанник отвечал, как мы все.

В том же духовном мире казался нам наш профессор уголовного права Калмыков, с тою лишь разницею, что он был красноречивее и диапазон его был всегда возвышенный. Мы сознавали и чувствовали, что Калмыков священнодействует, обучая нас уголовному праву: лицо его всегда было вдохновенно, голос его всегда был взволнован, и тоже, как Неволин, он казался нам немыслимым в простой жизни частного человека. В изложении его всегда было много фигурального, а в наших ответах он требовал от нас точности и ясного изложения.

Как вчера, помню его обращение к воспитаннику: скажите мне, такой-то, в кратких, но ясных словах содержание прошедшей лекции. Воспитанник начинает: в прошедший раз мы говорили... Калмыков его останавливает:

– Остановитесь, молодой человек: в прошедший раз не мы говорили, а я говорил.

Помню также его умное, вдохновенное лицо откинутым картинно назад, в позе оратора, изрекающим основу уголовного права, в виде римского изречения: *nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena lege!* – восклицал вдохновенный Калмыков (ни одного преступления без наказания, ни одного наказания вне закона, ни одного преступления без наказания по закону).

Помню драматизм его голоса, когда, объясняя нам преступление без умысла, он декларировал пример: женщина спала крепким сном; ребенок спал возле нее. Во сне несчастная мать видит, что она резывает гуся, она слышит крики гуся, хватает его за горло, гусь кричит еще сильнее, потом крики стихают. Мать просыпается и видит, что во сне она задушила своего ребенка, приняв его за гуся, в состоянии галлюцинации.

Должен признаться, припоминая наш специальный юридический трехлетний курс наук, что, за исключением тех профессоров, которых я назвал, и И.А. Андреевского, впоследствии заменившего умершего Неволлина, все остальные профессора и преподаватели были очень мало интересны и еще меньше авторитетны. Такие нужные для нас курсы, как гражданское и уголовное судопроизводства, преподавались бесцветно и мертво, а у профессора Палибина преподавание государственного права, например, всегда носило характер зубрежа, ничего общего не имевшего с серьезным и интересным изучением предмета.

Для вящей характеристики этого мертвенного и тупого, так сказать, преподавания нельзя не вспомнить такую, например, науку, как межевые законы. Два года мы проходили этот курс, и кто бы поверил, что огромнейшие литографированные записки мы выучивали наизусть, потому что ровно ничего в этих межевых законах не понимали, и никому в голову не приходило познакомить нас хотя немного с этим предметом на практике, то есть в натуре, дабы хоть сколько-нибудь мы могли понять хоть часть того, что мы попу- гаями зазубривали.

Кончая курс уже в возрасте умственного развития, соответствовавшего последнему курсу университета, мы ясно сознавали, до какой степени учебная часть, благодаря рутине и отсутствию живых и дельных руководителей учебного дела, была у нас запущена и печальна. Полное невежество директора Языкова в юридических науках в особенности и в педагогическом деле вообще, полное невежество в области общего образования – было, разумеется, главною причиною такого печального состояния нашего образования, и ничего не было удивительного, если, кончая курс и выдерживая экзамены, мы сознавали прежде всего, как плохо мы подготовлены были научно к карьере судебной и как мало мы знали из того, что мы вызубрили.

Про себя, например, я могу сказать, что, выдержавши перед выпуском 16 экзаменов и получивши на них круглые 12 баллов, я десятой части не знал отчетливо из того, что знал наизусть и усваивал одною лишь памятью, и именно на себе испытал, насколько вся система преподавания у нас юридических наук была бессмысленна, нелепа и, следовательно, столько же непроизводительна, сколько несостоятельна. Вызубренное наскоро столь же скоро улетучивалось из головы, и большую часть того, что я усвоил себе, как знание прочное, я приобрел вне училища, после выпуска – в чтении и на практике служебной. По поводу зубрежа припоминаю следующий характерный эпизод. У нас в классе было двое первых воспитанников по баллам: самый неспособный, Х., и самый способный, покойный теперь Христианович.* Кроме способностей он имел много ценных нравственных качеств.

* Христианович Сергей Филиппович, IX-м классом; действительный статский советник; член Петроградской судебной палаты. † 1884 году. Идентификация Х. требует трудоемких архивных розысков. В то же время первым в списке вышедших из Училища правоведения в 1857 г. (получил золотую медаль?) значится: Дьяконов Алексей Григорьевич, IX-м классом; надворный советник; товарищ председателя Киевской уголовной палаты. † 1866 году. А С.Ф. Христианович стоит на втором месте. – genrogge.ru

Видя, как его соперник Х. разрушает свое физическое здоровье, зубря целый день и почти всю ночь, чтобы получить те 12 баллов, которые Христиановичу давались в сто раз легче, он, то есть Христианович, обращается к Х. и говорит ему: брось так зубрить, я тебе конкурировать не буду и обещаю тебе никогда не иметь полных 12 баллов; и вот в исполнение этого обещания Христианович нарочно из двух предметов отвечает на репетициях ерунду и добивается того, что ему сбавляют два балла из каждого предмета.

Благодаря этому Х. мог спокойно оставаться первым по баллам до самого выпуска, и на долю самого неспособного выпал счастливый жребий золотой медали и надписи золотыми буквами на мраморной доске. По этому примеру дозволительно догадываться, что он повторялся не раз в анналах выпусков из училища, и потомству, вероятно, не раз передавались имена только наиболее зубривших и наименее понявших свои науки.

<...> В 1857 году нам предстояло окончить курс и выйти на службу в числе 16 человек. Очень ясно и живо помню это время. В младшем курсе при серебряных петлицах мы вели счет дням до перехода на старший курс; то был счет 4-летний; на старшем курсе мы стали записывать дни и вести им счет до выпуска, то есть трехлетний. Скоро стал наступать и этот давно желанный день. Для меня он имел значение выхода из 10-летнего заключения, ибо я пробыл 3 года в подготовительных классах, куда поступил 8 лет. Значит, выходил я на службу и в жизнь 18-ти лет и 5 месяцев от роду.

С чем же я выходил, с каким запасом духовного материала? Интересно мне припомнить. Я говорю о духовном запасе, потому что в физическом и материальном отношении, надо отдать справедливость нашей alma mater, запаса нам давали мало: очень плохо нас кормили для составления запасных сумм, очень плохо вели гигиеническую часть, совсем не заботились о нашем физическом развитии, очень плохо соблюдали главные условия чистого воздуха и т.д. Духовный запас, надо сказать правду, был лучше.

Главнейшим по ценности запасом был наш личный состав товарищей класса. Каждый из нас подходил к выпуску с чувством, что он прожил свои впечатлительные и восприимчивые годы юности в здоровой нравственно и честной духовно среде.

Огромное большинство нашего класса были не только, как принято говорить, добрые и честные малые, – нет, это были хорошие люди, это были честные люди в серьезном значении этого слова. Отчасти, думал я потом, этот хороший состав класса мог объясняться тем, что между нами не было воспитанников разных положений. Прежде всего, между нами богатых не было; все мы были детьми родителей с огромными средствами и, следовательно, не знали различия положения по карману. Это равенство весьма много способствует гладким и искренне товарищеским отношениям между всеми.

Я помню один эпизод, охарактеризовавший единство и товарищество нашего класса, по-моему, очень выразительно. Это было еще в младшем курсе. Кто-то из товарищей, по выходе воспитателя из физического кабинета, запер на ключ за ним дверь. Воспитатель пришел в ярость и потребовал, чтобы мы назвали ему, кто затворил дверь; мы отказались назвать; он пошел к Языкову, и это как раз было за день до отпуска на пасхальные праздники. Языков изрекает грозный приговор: оставить весь класс без отпуска до тех пор, пока не назовут виновного. Мы решили молчать, и со Страстной среды началось наше заточение в училище, с перспективою просидеть взаперти все праздники.

Надо полагать, что экономические соображения эконома перед необходимостью кормить целый класс взяли верх над педагогическими соображениями наказания, и в Страстную пятницу нас отпустили домой, не истребовав имени виновного. Во всяком случае, этот факт доказывает именно то, что я говорил: нравственный дух хорошего и честного товарищества.

Затем такой факт, как тот, который я привел насчет покойного Христиановича, который, чтобы облегчать положение товарища, желавшего быть первым, не менее красноречиво показывает, какой именно честный дух товарищества у нас господствовал.

На репетициях и экзаменах я держался для приготовления самой, по-моему, лучшей в практическом отношении системы: я подбирал двух-трех из тех моих товарищей, которые своих записок не имели и очень мало интересовались вопросом: какого класса они выйдут, и толковал им курс; ничего так не облегчает усвоение себе предмета, как именно этот способ; для меня он заменял лишнее чтение курса, а для моих слушателей он служил практическим способом наскоро заполучить сведения на семерку или восьмерку.

Первая разлука наступила в марте, когда нас, воспитанников 1-го класса, по обычаю распустили по домам готовиться к экзаменам. Это было лучшее время нашей жизни: товарищи расположились по маленьким квартиркам, похожим на студенческие, и мы там сходились для скромных чаепитий, с колбасою и сыром, и для зубрежа вместе. Зубреж в компании несравненно легче и веселее, и ежедневно встававшее солнце застигало нас еще сидящими за тетрадами.

Как вчера помню один эпизод со мною, доказавший лишний раз весь вред и всю очевидную тщету экзаменов. Часам к 6 утра я кончил готовиться к курсу; накануне я тоже спал часа два; закончив зубреж, я умылся и прямо приступил к утреннему чаю, с тем чтобы затем идти к 9 часам на экзамен. Прихожу на экзамен; сижу и чувствую, что в голове что-то неладно: мысли начинают бессвязно смешиваться, какое-то кружение чего-то в голове с ощущением, как будто это «что-то» кружится в пустоте; меня вызывают к столу с зеленым сукном, я машинально беру билет, подхожу к стулу, сажусь, смотрю в билет и вдруг – о, ужас! – чувствую, что я не только ничего не знаю, но что я даже припомнить ничего не могу: словно вся наука разом вылетела из головы.

Тогда, бледный как полотно, я подхожу к экзаменатору и говорю ему, что должен отказаться от экзамена: я совсем не владею головою. Это был осязательный признак острого переутомления. Мне разрешили уйти; я вернулся домой, заснул, проспал часов шесть и к вечеру вернул себе вместе с памятью и забытую науку; помню, что, по какому-то странному действию этого мозгового явления, усвоение забытого курса стало еще полнее и яснее, чем до эпизода, и я почти без перечитывания мог отвечать на особом экзамене, мне данном, и получить 12 баллов.

Как я сказал, нам приходилось держать 16 выпускных экзаменов. 16 экзаменов в промежутке времени немного более месяца! Это легко сказать, а если вникнуть в сущность дела и разобраться в нем, ум в 18-19 лет был в состоянии выдержать серьезно 16 экзаменов из разных юридических наук; ясно, что это не были экзамены, это были только упражнения памяти, как ясно было и то, что если бы этих экзаменов не было, мы бы прочнее усвоили себе те науки, по которым в заключение курса надо было сдавать через три дня заученные фолианты. Переутомление памяти и все, что она выигрывала, все это пропорционально проигрывало знание.

Из веселых минут припоминаю примеривание штатского платья. Фрак и сюртук я получил разрешение заказать у толстого и веселого, тогда самого модного портного, старика Шармера; помню, что он брал тогда за каждую пару 50 рублей. Наступил, наконец, и последний экзамен, после которого предстояло отправляться в баню и облечься в штатское платье. Мы прощались с училищем, надо сказать правду, без слез, но и не со злыми чувствами. Языков остался в нашей памяти каким-то типом взбалмошного человека, и если с кем-либо мы сердечно простились, так это с нашим классным воспитателем Евгением Федоровичем Герцогом. Это был сердечный, хороший и честный человек, которого мы не только любили, но и уважали; затем, такой профессор, как старик Шнейдер, тип художественный, влюбленный в свое римское право, чудный человек, и вот и все.



Банкет в ресторане «Донон», 1910 г.

Все остальные типы и лица сливались для нас в одну массу, довольно бесцветную, лиц, ничего не запечатлевших в наши молодые души. Счастливые и веселые, мы отправились, разумеется, гулять в Летний сад, с убеждением, или, вернее, с ощущением, что все гуляющие будут любоваться нашими щегольскими штатскими одеяниями. На душе было легко и весело. За месяц до выпуска нас распределили, по нашему желанию, по разным отделам службы в министерстве юстиции. Я попал во 2-е отделение 5-го департамента сената. У Донон состоялся традиционный после выпуска обед. Мы обедали с нашим экс-начальством. На мою долю в заключение веселого обеда выпало развозить чересчур послуживших Бахусу по домам. 11 мая был акт, и принц Петр Георгиевич Ольденбургский нам дал по золотой медальке с своим заветом: «respice finem».

Прежде чем кончить отдел моих училищных воспоминаний, я хочу вспомнить долг благодарной памяти к человеку, который был для нас, правоведов, в течение всей нашей воспитательной эпохи олицетворением совсем особенной доброты, совсем особенной любви к добру, правде и чести и запечатлел свой светлый простодушный образ в сердце каждого из нас не только как воспоминание, но и как завет.

Человек этот был наш Принц; этим кратким титулом мы все от мала до велика величали в стенах училища Правоведения принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Раздавая нам, при прощании с училищем, золотые медальки с надписью: respice finem, Принц наш заповедовал нам всегда взирать на конец дела. Но скромный и смиренный наш Принц никогда не подозревал, что он для нас своею личностью был прекрасным началом нашей воспитательной школы, началом, следовательно, нашей всей последующей и ответственной жизни труда и дела, жизни человека, гражданина и верноподданного.

У принца Петра Георгиевича была чудная мать, великая княгиня Екатерина Павловна. Ее душу, любящую и честную, отзывчивую и доверчивую, унаследовал сын ее принц Петр Георгиевич во всей ее полноте, и эту-то душу, прекрасную, высокую и честную, как у младенца, он отдал, можно сказать, нам, правоведам; в нашу alma mater он вложил эту душу, и мы этим гордились, считая себя детьми и семьей нашего принца. У принца было под начальством много воспитательных заведений, и мужских, и женских, но правоведы были его «вениаминами», были его собственными детьми. Принц ведь создал наше училище.

Нам передавали, как предание в училище, что в 30-х годах принц Петр Георгиевич, преисполненный заботою дать судебному ведомству в России честных и хороших слуг Престола, долго разрабатывал и лелеял эту мечту в душе, а затем пришел к Императору Николаю просить права ее осуществить. Император Николай его благословил на это дело, а затем, когда возник вопрос: на какие же средства будет поведено дело, принц сообщил, что дом он покупает на свои деньги и устраивает его. При этом будто бы Император Николай сказал принцу: «Ну, смотри, ты мне за твоих правоведов будешь отвечать».

Этот нравственный долг ответа за нас принц наш и принял пред своим Государем с особенным фантастическим, так сказать, убеждением, что русское дворянство, которое призвано было давать главный контингент будущих питомцев училища Правоведения, даст хороших и доблестных слуг Престолу. И принц нас не иначе называл, как своими правоведами, а мы принца иначе не называли, как «нашим» принцем. Этим «нашим» принцем он всегда был и для маленьких крошек и для выпускных «голиафов».

Полюбленный нами с детского возраста, он для нас имел прелесть и обаяние легендарного, так сказать, волшебного принца, принца – доброго гения и, затем, серьезное, реальное значение нашего главного начальника и попечителя. Уже на старших курсах училища мы поняли благодаря принцу, а жизнь последующая еще прочнее в нас утвердила ту же мысль, что ум не диво и не главное, а что главное – это сердце.

С умом сколько глупостей делает человек, а с таким сердцем, какое билось у нашего принца, что представляла его жизнь, как не ряд светлых и полезных для России дел и лет, в течение которых он этим сердцем столько вдохновил людей к добру и к чести, а говорить он был не мастер и политикою и мудрствованиями не занимался.

Мы знали из пережитого, что были Великие Князья с видными политическими ролями, но кто же из членов Императорской Фамилии сделал то, что принц сделал: из заботы, чтобы судьи в России стали честны, пожертвовать часть своего состояния на создание целого громадного училища Правоведения!.. Рядом с этим неистощимым для добра сердцем необыкновенна была и его скромность. Он себе ничего никогда не ставил в заслугу, ничего в себе не ценил: с утра до вечера отдавая всего себя на исполнение обязанностей, он не знал ни отдыха, ни самодовольства. У правоведов в наше время имелись две легенды: одна о создании училища, а другая о спасении училища Правоведения.

Вторая легенда гласила, что когда в 1848 году стали проявляться в некоторых учебных заведениях беспорядки политического свойства и что-то случилось тоже в училище Правоведения, Император Николай рассердился и хотел закрыть наше училище, но будто принц наш поехал к Государю и на коленях и со слезами умолял Его простить училищу и ему и что Император, тронутый до глубины сердца горем принца, пощадил его детище, хотя, как я выше писал, держал училище в своей опале и до 1853 года его не посещал. Явился Языков. Мы часто задавались вопросом: как такой взбалмошный человек мог приобрести доверие нашего принца?

Но потом мы поняли причину этого доверия. Принц так был счастлив приездом Императора Николая в училище Правоведения и тем «спасибо», которое он высказал Языкову, что всю заслугу возвращения училища к порядку и к милости Царской он приписал к Языкову. И это чувство его связало с Языковым надолго. А у нас воззрения были другие. Мы понимали, что и здесь опять-таки имели дело с проявлением необыкновенной скромности и смирения нашего принца.

А понимали мы это потому, что между нами никто не придавал Языкову значение спасителя училища, а все верили, что когда в училище пришла в среду воспитанников легенда о том, как принц выпросил у Государя прощение училищу и взял на себя ручательство за его, так сказать, возрождение, то в воспитанниках тогда, из любви и из уважения к своему принцу, родилась и упрочилась под влиянием чувства чести решимость не огорчать принца, а, напротив, радовать его и постоять за него хорошим поведением у Государя.

А принцу и в голову не приходило, что он был любовью, к себе внушенной, единственный виновник снятия с училища Царской опалы, и все приписывал заслугам Языкова. Скромность и смирение этого чудного старца принимали в нашем дорогом принце самые разнообразные проявления. Например, он как будто извинялся, когда делал кому-либо доброе дело. Глубоко я запомнил, как в 1854 году он обошелся с одним из моих товарищей. По домашним обстоятельствам воспитанник этот должен был выйти из училища из-за бедности своих родителей и поступил, надев солдатскую шинель, в ряды севастопольцев.

Принц его позвал к себе, принял, как сына родного, обласкал, расцеловал, благословил и отпустил, и едва тот вышел из кабинета принца, как принц за ним бежит и, догоняя его, начинает извиняться и просит его принять от него, как личное одолжение, маленький пакет. В этом пакете оказалась значительная сумма денег. И в извинение принц сказал эти чудные слова: я как отец, как отец, даю сыну.

Запомнил я другое проявление смирения в нашем принце. Один из классов наших составил заговор против нашего законоучителя, грозного протоиерея Богословского. По обычаю, все воспитанники должны были перед началом и после лекции подходить к законоучителю и целовать ему руку, получая благословение.

Класс постановил, в отместку Богословскому за его дурные баллы, к нему не подходить. Тогда Богословский вышел из класса и сказал: отныне моя нога в этом классе не будет. Событие огромного размера: целый класс подвергнуть анафеме. Воспитатель летит к Языкову; Языков летит к принцу.

Что же делает принц? Он приезжает в училище, собирает отлученный класс, говорит им от сердца: не хорошо, не почтительно. И затем приказывает классу идти за ним.

Принц приходит к священнику на квартиру. Богословский выходит к принцу. Принц говорит ему: я привел к вам блудных детей, я за них извиняюсь перед вами и прошу их простить, а затем первый подходит к священнику, целует ему руку и принимает благословение. Нужно ли говорить, что через весь класс прошел, как электрический ток, порыв благоговеющей любви к принцу, и каждый почтительно стал подходить к священнику, и каждый отдельно громко и убежденно произносил слова: простите меня, батюшка. Да, в любви, в простоте и в смирении была для нас, его детей, нашего отца и попечителя, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, его нравственная сила, — быть честным, быть верным слугою Царю и России, быть добрым и любить человека мы, правоведы, научились у нашего принца. И дорог он нам, как чудный и вечный идеал правоведа!

Выступили мы на государственную службу. Припоминая это начало службы, не скажу, чтобы она оказалась в каком-нибудь отношении приятною. Не скажу, чтобы мы вышли из училища хорошо образованными и с прочными познаниями; года два спустя после выпуска, когда сношения с людьми и большее внимание к политической жизни побудили меня к известной проверке степени своего образования, я должен был себя сознать очень необразованным и принялся за новый курс самообразования посредством чтения.

В особенности хромали мы, если можно так выразиться, общественным образованием. Например, иностранное государственное право нам совсем было незнакомо, в истории политической мы были донельзя слабы, история цивилизации нам была совсем незнакома и т.д. Но если запасы сведений были в нас плохи, нельзя сказать то же про запас жизненности и благих намерений. Мы, несомненно, вышли из училища живыми и чувствовали в себе не только жажду к деятельности, но и стремление к борьбе, мы рвались, так сказать, к такой деятельности, где бы и голова и душа работали...

Но этого-то именно нам не дала наша служба. Мы сразу очутились в какой-то физической и нравственной суше и духоте, под непосредственным начальством людей самого настоящего чиновничьего типа. В моем отделении 5-го департамента сената такими именно безусловно чиновниками-людьми оказались и секретарь, и обер-секретарь, а что есть разница между живыми и мертвыми людьми на службе, я это сразу понял, ибо во главе моего начальства стоял обер-прокурор Гольтгоер, который производил впечатление не только почтенного и симпатичного, но именно живого.

Впрочем, место исправляющего должность младшего помощника секретаря, с 18 рублями в месяц, было до того иерархически ничтожно, что я мог только сквозь многие призмы относиться к такому высокому начальнику, как обер-прокурору, и ценить разницу между его личностью и личностью моих прямых начальников.

Таким образом, сразу при поступлении в канцелярию сената явился вопрос: неужели для этой работы нужно высшее юридическое образование, когда не получившие никакого образования в этой же канцелярии играли роль док и представляли из себя своего рода делопроизводственный авторитет. Скука от мертвечины — вот было главное впечатление, с которым, вероятно, мы все начали свою службу по судебному ведомству. Не солгу, если скажу, что этот элемент скуки и мертвенности был тогда присущ всему судебному ведомству. Мои товарищи, поступившие не в сенат, а в министерство юстиции, — испытывали эту скуку еще в большей степени.

Объяснялась она весьма просто — характером нашего высшего начальства. В министерстве внутренних дел, например, сперва при Бибикове, а потом при Ланском была живая деятельность; в министерстве иностранных дел работа кипела; вообще, в эту эпоху, когда очень наглядно и осязательно везде загоралась жизнь новой эпохи, единственное министерство, которое не давало никаких проявлений новой жизни, было министерство юстиции. Главные начальствующие лица этого министерства были типы очень интересные, но все они, несмотря на то, что были типы, держали министерство юстиции в его безжизненной атмосфере. Министр юстиции был знаменитый граф Виктор Никитич Панин, уже тогда носивший название, данное ему Герценом, «трехполенный»^{*}. Граф Панин был совсем необыкновенный тип государственного человека.

По недоступности своей он был чем-то вроде полубога, по легендарной о нем молве он был каким-то мифологическим существом, почитание которого исключало всякую возможность даже думать, что он имеет что-нибудь общего с житейскою стороною служебного мира; все служившее в ведомстве его пребывало в сознании, что человека в чиновнике министерства юстиции не существует для графа Панина.

^{*} Намек на большой рост: поленья могли иметь длину до 1 метра.

Можно было думать, что он даже дорожил тем, чтобы никто не мог из среды его подчиненных представлять себя относительно его нечиновником, то есть человеком с обыкновенною жизнью; такие факты, как, например, резолюция графа Панина на прошение чиновника, ходатайствовавшего об отпуске: ему не нужно, а пусть едет в отпуск такой-то, никогда и не помышлявший об отпуске, именно свидетельствовали о том, что чиновник, как человек с заявлениями прав на жизнь внеслужебную, как будто для графа Виктора Никитича не существовал... Оригинальность этого типа тем более была замечательна, что рядом с этим граф Панин был несомненно самый образованный из тогдашних государственных людей и вне службы был самым веселым и оживленным собеседником. Но это «вне службы» не было большею частью дня графа Панина. В течение большей части дня он был министром юстиции, и служебный мир был для него каким-то отдельным от жизни священнодействием, коего он считал себя верховным первосвященником.

Это резкое отделение службы от жизни так было строго соблюдено графом Паниным, что про него говорили тогда, что он для разговоров с своими устроил у себя в двери кабинета окно, через которое разговаривал с семьей, чтобы никого из непричастных к служебному кругу не допустить в свой кабинет, как храм служителей священнодействия.

Не лишена была оригинальности, например, и ежедневная прогулка графа Панина. Кто в Петербурге в то время ее не знал, эту прогулку. Каждый Божий день по Невскому проспекту, в пятом часу дня, можно было встретить высокого старика, прямого как шест, в пальто, в цилиндре на небольшой, длинноватой голове, с очками на носу и с палкою всегда под мышкою. Прогулка эта была тем интереснее, что все видели графа Панина, но он никого никогда не видел, глядя прямо перед собой в пространство: весь мир для него не существовал во время этой прогулки, и когда кто ему кланялся, граф машинально приподнимал шляпу, но, не поворачивая и не двигая головою, продолжал смотреть вдаль перед собою.

Отсюда стал ходить в те времена анекдот про знаменитого комика Жемчужникова, который однажды осмелился решиться нарушить однообразие прогулки графа Панина: видя его приближение и зная, что граф притворился, будто что-то ищет на тротуаре, до того момента, пока граф Панин не дошел до него и, не ожидая препятствия, вдруг был остановлен в своем ходе, и, конечно, согнувшись, перекинулся через Жемчужникова, который затем как ни в чем не бывало снял шляпу и, почтительно извиняясь, сказал, что искал на панели уроненную булавку.

Не менее комичен анекдот про Жемчужникова, касающийся ежедневных прогулок министра финансов Вронченко. Он гулял ежедневно по Дворцовой набережной в 9 часов утра. Жемчужникову пришла фантазия тоже прогуливаться в это время, и, проходя мимо Вронченко, которого он лично не знал, он останавливался, снимал шляпу и говорил: министр финансов, пружина деятельности — и затем проходил далее.

Стал он проделывать это каждое утро, до тех пор пока Вронченко не пожаловался обер-полицмейстеру Галахову, и Жемчужникову под страхом высылки вменено было более его высокопревосходительство министра финансов не беспокоить.

Вторым типом, тоже необыкновенным, в министерстве юстиции был директор департамента Михаил Иванович Топильский, маленького роста, с седыми бакенбардами, с большими очками; он изображал собою полнейший тип чиновника древних времен. Но типичность его заключалась в том, что все в мироздании и все в ведомстве министерства юстиции для него сосредоточивалось в графе Викторе Никитиче Панине. Вне его и без него Михаил Иванович не жил, и, обратно, без Михаила Ивановича граф Панин не понимал жизни, он был его конфидендом не только по служебным делам, но и по домашним, хозяйственным делам, и без него, можно было сказать, ничто же бысть, еже бысть в министерстве юстиции.

Топильский перед целым ведомством являлся не рассуждающим, а исключительно исполнявшим не только волю графа Панина, но и дух его, и такие резолюции, как те, о которых я говорил — предложить другому вместо просившего уехать в отпуск, исполнял не только беспрекословно и немедленно, но он говорил чиновнику: вы обязаны подать рапорт и исчезнуть на все время отпуска. У Топильского не было ни убеждений, ни взглядов, ни намерений собственных; он ждал, чтобы иметь их по вопросам, при свидании с графом, а до этого отвечал: как граф решит.

Третий тип министерства юстиции был тогдашний товарищ министра Илличевский. Подходя по росту к своему министру, он потому представлял из себя тип, что во всем ведомстве сумел всякому внушить убеждение, что он ничего в полном смысле этого слова. Про Топильского все знали, что он думает, как граф Панин.

Про Илличевского все знали, что он никак не думает, и это до такой степени, что во время болезни или отлучки графа Панина, когда его должность в министерстве юстиции занимал управляющий министерством юстиции товарищ министра, он говорил: «не знаю», или призывал Михаила Ивановича и говорил ему: «Поступите, как приказал бы граф». Время, в которое я начал свою службу, было самое симпатичное время. Своею симпатичностью оно было кратковременно. Года два-три — не более, после которых люди как будто начали становиться злее и в особенности менее искренни. <...>

А.В. Михайлов. Из прошлого (Воспоминания правоведа)*
«Русская школа», 1900, №1

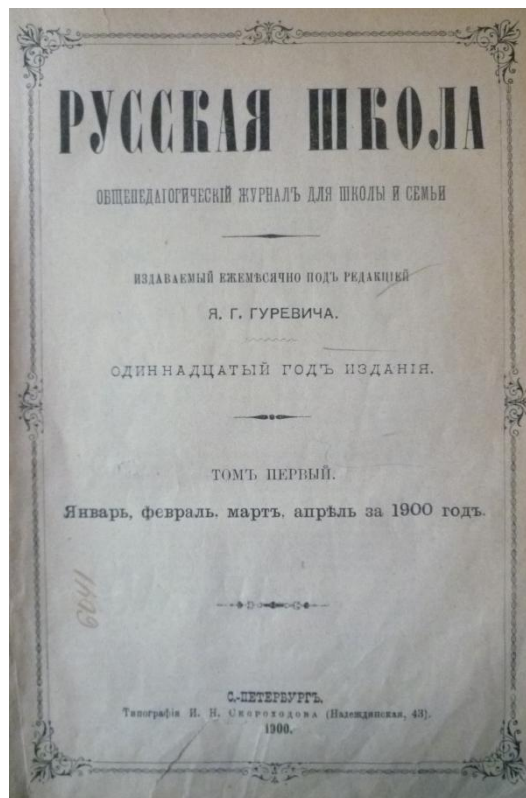
Писать свои воспоминания с некоторых пор стало у нас очень рискованным [[занятием](#)]. Масса мемуаров, исходящих от лиц, вовсе публике не интересных, вызвала уже в печати осуждение «писательского зуда». Нам пришлось слышать такое осуждение и от одного выдающегося литератора, заявившего, что уже дошло дело до того, что клоуны стали делиться своими воспоминаниями с публикой. Хотя мы и не сочувствуем такой насмешке, потому что ведь и клоун — человек, но упрек вообще множеству мемуаров мы разделяем.

Вот почему, если мы все-таки решились воспользоваться гостеприимством «Русской Школы», то только потому, что нами руководило вовсе не поползновение критиковать «Правоведение» или желание выставить свою личность, никакими правами на внимание читателя не обладающую, а только и только намерение воскресить в своих однокашниках черты прошлого, всякому человеку милого уже потому, что оно было и кануло в вечность.

С этой стороны мы и просим читателя посмотреть на наши воспоминания, под которыми следует скорее разуместь *впечатление* юности нашей, простив им все невольные ошибки и неточности, свойственные всякому субъективизму, но припомнив в то же время и то, что ничто так сильно в человеке и не сохраняется, как молодое, давно прошедшее.

* Воспоминания эти принадлежат перу покойного талантливого юриста Александра Владимировича Михайлова, безвременно скончавшегося в прошлом году, и были переданы нам покойным много лет тому назад с условием, чтобы они были напечатаны лишь после его смерти. Воспоминания эти, живо рисующие некоторые черты из прошлого Училища Правоведения, представляют, по нашему мнению, интерес не для одних «правоведов», но и для педагогов. — *Примеч. ред.*

Мы сочли возможным дать весьма живые воспоминания младшего коллеги Г.Н. Мотовилова, чтобы дополнительно привести подробности по обстановке и условиям, в которых Георгий Николаевич готовился, чтобы выйти в жизнь (в 1853 г.) блестяще подготовленным для работы по перестройке судебных учреждений. А.В. Михайлов (1842-1899) окончил училище в 1863 г., т.е. обучался позже Г.Н. Мотовилова, но многие преподаватели, охарактеризованные первым, служили в Училище правоведения, как мы уже видели, в период учебы и последнего. — *Примеч. М.И. Классона*



Наши воспоминания о Правоведении восходят к довольно раннему возрасту. Я помню себя еще 10-ти лет, когда родители задумали сделать меня «законником» – как тогда говорили. Слово это не вызывало во мне естественно никаких представлений. Отец часто говаривал: «будешь знать законы, будешь справедлив», но я, конечно, не радовался такому пророчеству, не понимая хорошенько ни что такое законы, ни что такое справедливость, не понимал, разумеется, тогда я и того, что понимаю и вижу теперь ежечасно, – что много есть правоведов, знающих законы, но несправедливых, – и справедливых, но не знающих законов.

Тем не менее «быть правоведом» мне нравилось, потому что встречаемые часто на улице треуголки почему-то особенно меня интересовали. У всех, думал я, одинаковые шляпы и шапки, значит – это обыкновенные люди, а вот у правоведов такие особенные какие-то лодки на голове, следовательно, – это особенные люди, и мне очень хотелось быть особенным человеком.

Не буду описывать ни поступления, ни первых впечатлений – все это всем известно и давно уже описано. Экзамен, маршировка, родительские посещения, казенный стол, дядьки и прочее, и прочее. Кто всего этого не пережил в любом заведении?

Остановлюсь на учителях и на товарищах. Воспоминания мои приурочиваются как-то с особенною силою к преподавателю истории и географии, в свое время грозе нашей, Аполлону Андреевичу Попову, прекрасно читавшему и то, и другое, как нам, по крайней мере, в то время казалось, отлично знавшему оба свои предмета, всегда справедливому в отметках и всегда интересному^{*}. Интерес этот к его лекциям в нас поддерживался тем, что рядом же с ним, в младших классах история средних веков читалась [Александром Федоровичем] Налётовым скучнейшим образом.

^{*} Как мы уже упоминали Попов, Аполлон Андреевич преподавал историю и статистику в Училище Правоведения (1853-1864), где с 1849 г. был воспитателем и преподавателем географии. Главное здесь, что Г.Н. Мотовилов мог учиться у А.А. Попова только географии.

Уже далеко не молодой, толстый, с зачесанными вперед на висках седыми волосами, шагавший по зале медленно и с развалцем, Налётов так же совершенно медленно и с развалцем влачил свои лекции, редко бывал справедлив в оценке наших ответов и кроме тоски и отвращения к истории (читал он по учебнику Стасюлевича) ничего не сумел вселить в своих юных слушателях, сплошь и рядом засыпавших на Меровингах, Каролингах и крестовых походах.

«Представь себе, шестерку влепил [(из 12-ти возможных баллов)] из истории, – жаловались мы, бывало, друг другу, – добро бы из чего-нибудь нужного, а то из истории!!» Из-за профессора самый предмет считался пустым и вздорным. Так мы все и вышли из заведения, не зная порядочно истории средних веков.

Совсем другое дело «строгий, но справедливый» Аполлон Андреевич, неизменно являвшийся на лекции бодрым, живым и подчас увлекательным и остроумным; но странное дело – расположить к предмету и он не сумел нас, потому ли, что вообще вселить в юношах любовь к истории в том виде, как она тогда читалась, вещь довольно мудреная – или потому, что с нами был очень сдержан и даже сух, не знаю, но тот факт, что история вообще считалась предметом и трудным, и не любимым – непреложен.

Перейдя на специальный курс юридических наук, мы в истории были все более или менее, как говорилось, «швах», что являлось немалым препятствием к уразумению римского гражданского и уголовного прав. Правда, истории иностранных законодательств нам, например, и вовсе не читали, но и для теории уголовного или гражданского права твердое знание истории было делом весьма существенным, но мы ее положительно знали *нетвердо*.

Были, конечно, натуры исключительные, занимавшиеся *особо для себя*, а не для экзаменов только – те знали, но они знали все хорошо, не одну историю, зато очень плохо следили за французским театром, никогда не посещали [ресторан] Бореля и совсем уж не знали Поль-де-Кока, которым мы прочие, натуры не исключительные, зачитывались.

Вообще, здесь у места вспомнить, что все мы тогда, в начале 60-х годов, принадлежали к двум лагерям. Впрочем, нет, исключительных, о которых только что сказано, знавших все хорошо, было так мало, что лагеря из них никак не составить бы. Пять, шесть воспитанников на класс – согласитесь, это не лагерь, не партия; все же прочие жили собственно Михайловским театром или оперой (где отличались тогда Мила, Мальвина и Барбó*) и усиленным чтением французских романов (Дюма-фиса [сына], Поль-де-Кока и др.), словом, всем тем, что уже давно блистательно воспроизведено и увековечено Щедриным.

Не удивительно поэтому, что учение истории, да и вообще учение составляло уже что-то постороннее, что-то мешающее *главному*, что-то такое, от чего нужно было только отделяться скорее и как-нибудь. Надо, однако, в защиту нашу сказать, что отклонение нас от театра и Бореля и расположение, приохочивание к наукам не входило в круг нашего воспитания, ни в стенах училища, ни дома. Ни между учителями нашими, ни между воспитателями не было вовсе заметно желания убедить нас к пользе и необходимости знания *вообще*. Напротив, сами эти воспитатели, *как на награду* за хорошее наше учение и поведение, указывали нам на отпуск в субботу, до всенощной, а отпуск в субботу был синонимом французского театра для громадного большинства из нас, – взгляд, вполне разделявший-ся и дома.

* Француженка Каролин Барбо (сопрано) в 1862-67 гг. выступала на оперных сценах Петербурга (в 1862 г. в Большом театре состоялась мировая премьера оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы», Барбо пела арии Леоноры).



Певица Каролин Барбо

Правда, строгий священник наш (тоже уже сошедший в могилу, протоиерей Богословский) сильно и резко порицал театр, относя его к «бесовскому наваждению», но таким порицанием, собственно, и ограничивалось все его приохочивание нас к наукам, из которых в его ведении, кстати сказать, находились два самых странных и непонятных для нас предмета – логика и психология.

Правда и то, что за учением следил наш попечитель, всеми тогда чтимый и искренно любимый, добрый принц Петр Георгиевич Ольденбургский, часто приезжавший на лекции, но, во-1-х, посещения эти не могли быть продолжительные, по массе его занятий, а, во-2-х, директор (А.И. Языков) уже вовсе в учебную часть не заглядывал. У этого генерала (довольно-таки аракчеевской формации) сидела в голове гвоздем одна несчастная мысль, всецело его поглощавшая; он во всех воспитанниках видел постоянно тайных хитрецов, пускающихся на разные «штучки», и эти «штучки» преследовались им ежечасно со рвением, достойным лучшего дела*.

Бывало, чуть рекреация – так и слышишь зычный его окрик «стройся!» Выстроив младший курс в шеренги, он подходил неслышно к нам, в военном пальто-сюртуке и мягких спальных сапогах, вторично окрикивая виновника какой-нибудь проделки и со словами – «опять штучки» обращался к инспектору, говоря: «Иван Самойлович, взять его», что означало отвод в дортуар для «наказания на теле».

Мучительны бывали эти порки и, кроме ожесточения, решительно ничего к генералу в нас не поселяли, вовсе не содействуя притом и формированию юристов! А науки, между тем, продолжали оставаться для нас чем-то посторонним, несносным, навязанным нам, и третировались нами, как неизбежное зло – в большинстве или как способ отличиться перед начальством – в меньшинстве.

* Как мы уже отмечали, боевой офицер, подавлявший в 1831-м вооруженное восстание в Варшаве и тяжело раненный, Александр [Петрович](#) Языков (1802-78) был назначен директором уже в чине генерал-майора, в 1849 году.

Что же мудреного, что мы любили театр и не любили науки? Ничего, конечно, тут нет мудреного, но вот что мудрено – то, что из нас вышли «государственные мужи», несмотря на то, что мы наук не любили. Вышли эти мужи, конечно, благодаря специальному курсу, где проходили все те знания, которые для государственного человека считались нужными. Этими-то знаниями мы и гордились, их нам приписывало общество, и эти-то знания нам и дали право на титул правоведа, места, чины, ордена, оклады и прочее, и прочее. Припомним же кое-что из знаний этих, припомним и лиц, их в нас насаждавших.

Был у нас один человек, один профессор на старшем, т.е. специальном курсе, хотя и очень недолго, которого мы все, за исключением разве уже завзятых двух, трех лентяев, горячо любили. Эта любовь отразилась на предмете, который он читал: многие знали отлично, а почти все удовлетворительно этот предмет.

Его мастерское изложение, хотя и не представлявшее чего-нибудь особенно самостоятельного (говорили, что он читал по [немецкому криминалисту, профессору Берлинского университета Альберту-Фридриху] Бернеру) было до такой степени увлекательно, в каждом его слове до такой степени виден был человек живой, много знающий вообще, а главное, в нем было так мало «учительского» чиновного, что быть на его лекции, записывать ее, считалось для большинства просто наслаждением.

По существу требований своих он был очень строг, т.е. взыскателен на экзаменах, но по форме, в обращении, очень снисходителен. Помню я, как на выпускном экзамене одному завзятному лентяю, кончившему курс 14-м [чиновным] классом только потому, что не было 15-го*, пришлось отвечать на билет о теории психического принуждения Фейербаха. Он понес невообразимую чепуху. Профессор долго слушал и наконец сказал: «Хорошо, это ваша теория; теперь расскажите теорию Фейербаха!» Профессор этот был В.Д. Спасович, а предмет – уголовное право**.

И странное дело: как юношество ни впечатлительно к внешности, сколько ни оригинальны были манеры и дикция его (сохранились они и до сих пор в его судебных речах), мы запоминали то, что он читал, а не только эти внешние приемы, тогда как у других профессоров главное и, пожалуй, единственное, что у нас в голове оставалось – это их внешние хватки.

* Выпускники, окончившие училище с отличием, получали чины IX и X классов (титулярного советника и коллежского секретаря) и направлялись преимущественно в канцелярии Министерства юстиции и Сената; прочие направлялись в судебные места по губерниям, в соответствии с успехами каждого.

** Спасович Владимир Данилович (1829-1906), преподавал уголовное право в 1861-64 годах. Г.Н. Мотовилов слушать его лекции, к сожалению, уже не мог.

Пятьдесят лет литературной деятельности дают обыкновенно повод к юбилею писателя, к чествованию его просветительной работы. Но и книга, не потерявшая и через много лет своего значения, имеет тоже своего рода право на юбилей, состоящий в доброй памяти о ней и в благодарном воспоминании о ее авторе. Одна из таких книг появилась более пятидесяти лет назад [(в 1863 году)]. Она называлась «Учебник уголовного права», и автором ее был Владимир Данилович Спасович. <...> На ней очень чувствовалось влияние Бернера, но целые отделы были обработаны самостоятельно, язык был образен и силен, картины яркие, а критический разбор Уложения о наказаниях 1845 года, составивший главу VII учебника, был первым и блестящим опытом серьезной критики законодательного сборника, который так повинен во многом, за что не всегда справедливо упрекали наш суд, и на смену которому после долгих, томительных ожиданий пришло новое Уголовное уложение, до сих пор, однако, не введенное в действие целиком. – А.Ф. Кони. Владимир Данилович Спасович

Так, тот из них, которому «вверено было» государственное право (Н.А. Палибин), имел привычку, точь-в-точь как учитель истории в «Ревизоре», взобравшись на кафедру, строить удивительные гримасы и перекидывать левую руку через голову на правое ухо, что при его маленькой, шарообразной фигуре, выходило очень смешным, и мы из всего им читанного весьма мало запомнили, кроме этого перекидывания руки, да вступительной фразы его первой лекции, т.е. текста первой статьи основных законов, которую он произносил необыкновенно серьезно, патетически выкрикивая слова «сам Бог повелевает!».

При всей серьезности его предмета, о личности его сохранились самые уморительные сказания. Так, рассказывали, будто он нашему священнику покаялся в том, что пошаливал с какой-то Катенькой, за что и был прозван этим, совершенно, впрочем, не подходящим к его фигуре, именем. И вот на экзамене один из учеников встал в тупик при вопросе: при ком издана дворянская грамота? Сидевший сзади профессора-экзаменатора, которого звали Никифором Алексеевичем, воспитанник вздумал подсказать и, вспомнив общеизвестную легенду о «Катеньке», стал показывать в спину профессора два пальца, давая тем знать экзаменуемому, что грамоту дворянскую издала Екатерина II, но каков же был ужас профессора, когда отвечающий брякнул: «при императоре Никифоре II-м».

Почтенный Палибин вскочил как ужаленный и накинулся на несчастного со словами: «да знаете ли батюшка, что такого императора в России не было, нет и быть не может!» (?) Некоторые уверяли, будто он сказал: «и никогда не будет». О воспитаннике, так отличившемся, сохранилось много сказаний самого невероятного свойства.

Так, говорили, будто еще на гимназическом курсе он, при переходе в 3-й специальный класс, ответил на вопрос, какое лучшее сочинение Шиллера – «Гёте». На экзамене из латинского языка на вопрос, что значит *rectus* [грудь] – он, видя, как директор, желающий ему помочь, показывает пальцем на свою грудь, отвечал, не запинаясь «Георгиевский крест!»

Читал Палибин по своду законов сухо, скучно, без малейшей тени теории государственного права, так что простым «отзубриванием» у него было необыкновенно легко отделаться. Скончался он, впрочем, очень жалостно: от огорчения, причиненного ему отставкой, которая последовала благодаря протесту старшего класса; нашлись храбрецы, заявившие, наконец, начальству о совершенной его бездарности. Этим собственно должны и ограничиться наши воспоминания «по кафедре государственного права».

Ни содержания, ни значения этой науки, ни отношения ее к другим – ничего этого, *как следует*, нам выяснено не было, а между тем государственное право числилось тогда во главе всех юридических предметов, да и по существу дела для всякого русского должно составлять фундамент юридических знаний. Затем шли другие «права»: римское, гражданское и церковное. Не касаясь вопроса о том, насколько последнее содействовало образованию государственных мужей и юристов, припомним, кем и как читались *jus romanum* и гражданское право.

Профессор *римского права* внушал к себе в нас особенное уважение. Он уже в университете составил себе громкое имя знатока этого права и римской литературы, но странно сказать, что у нас это уважение поддерживалось не столько способом изложения предмета, сколько осанистой фигурой, престарелыми годами и особенно медлительно важной расстановкой слов, произносимых почтенным покойным В.В. Шнейдером, его длиннополым синим вицмундиром со звездой и высоко торчащими на голове волосами.

При отсутствии всякой связи между римскою жизнью времен Цицерона и петербургскою – времен Барбó, при плохом знании нами истории и нашего собственного народного, государственного строя, мы не могли уважать его за *лекции*, довольно притом однообразные, из года в год читавшиеся по одним и тем же синим тетрадкам, но он был верным типом истого профессора-юриста, смотрящего на слушателей не как на школьников, а как на настоящих студентов, в германском, так сказать, значении этого слова.

Единственная фраза, которую он начальнически обуздывал нашу шумливость, была только следующая: «*ви* думаете, что вам *всэ* возможно («все» он произносил как «всѣ»), а я скажу, что вам *нэ* *всэ* возможно!» Нужно, впрочем, отдать справедливость: известные общие начала права, юридический склад ума и привычка к юридическому мышлению остались у нас от его лекций, и эти качества наши заметны бывают иногда и теперь в судебных решениях. В специальных юридических работах наших правоведов-юристов, само собою, знание римского права является полным и законченным (как, например, у А.А. Книрима), но тут уже, очевидно, приложено самостоятельное изучение, совершенно не зависимое от этих лекций и позднейшее.

Что касается права гражданского, то оно читалось, по Мейеру, здравствующим и поныне А.И. Вицыным (нынешним председателем Московского коммерческого суда) и читалось хотя и сухо, пожалуй, даже снотворно, благодаря необыкновенно тихой дикции лектора, но основательно, принимая однако это слово в самом тесном значении^{*}.

Все, что Мейер сказал, то и было сказано профессором, но не больше, а известно, что Мейером исчерпано собственно русское законодательство, с кратким прибавлением истории его из [[«Энциклопедии законоведения» Константина Алексеевича](#)] Неволлина, и только.

Затем, совершенно оставлены были в стороне торговое право и судопроизводство и сравнительное изучение иностранных кодексов. Кое-что, да и то в философско-историческом смысле, пополнялось другим профессором, читавшим энциклопедию законоведения – И.Е. Андреевским (бывшим ректором С.-Петербургского университета) очень интересно и занимательно, хотя и чуть-чуть выпренно; но этого придатка было, конечно, недостаточно^{**}. Юрист, не имеющий понятия, хотя бы общего, о чужестранных законах, юрист, не знающий торговых законов и судопроизводства, при самом блистательном изучении логики, психологии и церковного права – юрист неважный.

Вот почему, думается нам, мы и не имели в наше время вовсе правоведов, основательно знакомых с иностранными законодательствами и торговым правом; те же немногие юристы-правоведы, которые этим знакомством известны теперь, приобрели свои познания практически, уже по оставлении училища.

В виде придаточных предметов к этим трем правам – уголовному, гражданскому и римскому – были еще предметы очень интересные по своему содержанию, но поставленные во второй и даже в третий разряд, что означало право учеников получить из них неполные баллы; благодаря этому не только они не пользовались вниманием воспитанников, но, попросту говоря, их почти совсем не слушали, а профессоров ни в чем неповинных (наоборот, даже весьма почтенных) при всяком случае высмеивали и ни в грош не ставили.

^{*} Александр Иванович Вицын (1834-1900), магистр гражданского права, преподавал недолго, начиная с 1860 г., поэтому его Г.Н. Мотовилов уже не застал. «*Особая заслуга В. перед русскою наукою заключается в издании "Чтений Д.М. Мейера по гражданскому праву"* (5 изд., Москва, 1873)». – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

^{**} В то время кандидат наук С.-Петербургского университета по кафедре полицейского права Иван Ефимович Андреевский (1831-91) был приглашен в Училище правоведения для чтения лекций по кафедре истории русского права и энциклопедии в 1855 г., после смерти К.А. Неволлина.

Профессора эти были замечательны по своим познаниям, но, имея в виду науку и только науку, они не интересовались вовсе успехами ученика, зная, что право получить плохой балл утверждено за ним, так сказать, самим Богом; поэтому, они не были взыскательны, их не боялись и почти вовсе не слушали.

Как теперь вижу я единственного воспитанника нашего класса, П. Смиттена (вышедшего первым), который один всегда слушал обоих этих профессоров, на первой скамейке, и зато как же профессора эти бывали огорчены, когда Смиттен хворал: читая лекцию, они не знали, на ком остановить свой взор! Предметы эти, повторяю, очень интересные, были: философия истории и судебная медицина.

Что первая не пользовалась почетом у начальства, в то время почти исключительно военного, еще понятно (юристу, батенька, нечего философствовать, говорилось тогда, да, кажется, говорилось еще и очень недавно в университете), но что судебная медицина для юриста считалась чем-то второстепенным, то объяснялось разве тем, что вскрытие трупов представлялось делом, пожалуй, станového, а никак не правоведа, самим Провидением готовимого в сенаторы.

Так мы и вышли, ничего не зная из судебной медицины, а добрый профессор наш (А.П. Загорский) наставил нам всем по одиннадцати и двенадцати [баллов], зная, что по правилам решительно все равно, что 9, что 12, наставить же нулей не хотел, конечно, потому, что не «проваливать» же молодому человеку своего «титularного» из-за третьеразрядного предмета!

Профессор философии истории Брикнер был построже, но и он мало интересовался учениками. Видимо любящий свой предмет, следящий за всем тем, что по истории пишется, он читал хорошо и, конечно, не его вина в том, что не приохоченные к истории вообще, в младшем курсе, зная притом, что предмет второразрядный, мы больше обращали внимание на его маленькую, вертлявую фигурку, с длинными волосами и крикливый женский голос, чем на содержание лекций. Раньше его тот же предмет читал П.В. Павлов.*

Как бы то ни было, пробел в том и другом знании – пробел чувствительный. Философия истории должна быть принадлежностью всякого образованного человека, а судебная медицина – необходимость для юриста. Нет ничего удивительного поэтому, что наши практики (правоведы) при всякой экспертизе на суде, сплошь и рядом, отличались и отличаются замечательным невежеством по судебной медицине; исключение, нам, по крайней мере, известное, составлял лишь К.К. Арсеньев, но зато он вообще и всегда выходил из ряда правоведов по блистательной и всесторонней своей эрудиции, сделавшей из него выдающегося адвоката и публициста.

Последний предмет, о котором следует упомянуть, на старшем курсе были «местные законы». Под ними разумелось не вообще местное законодательство в России, в том числе, например, финляндское, которого у нас никто не знает, да, кажется, и знать не хочет, а исключительно законы остзейские.

Такая милость к «баронам», вероятно, происходила от того, что инспектором классов в то время был, тяготевший к остзейцам, Ф.Ф. Витте, который сам же и читал эти законы. Чтение это, хотя и с примесью выдержек из истории Швеции и образования германского и рыцарского прав, было однако далеко не удовлетворительным. Строгим его назвать нельзя было (говорили, будто он сам сказал раз про себя: «я кос, но добр» – это «но» нас очень потешало), но и добрым и внимательным к нам его тоже не считали.

* Ординарный профессор русской истории в Университете св. Владимира (Киев) Платон Васильевич Павлов в конце 1859 г. был переведен на службу в С.-Петербург членом Археографической комиссии. Одновременно с тем некоторое время читал в Училище правоведения курс всеобщей истории (в старшем классе). Посему Г.Н. Мотовилов слушать его уже не мог.

Чувствовали мы, что сидит тут на кафедре чиновник-немец, с крошечными косыми глазами, смотрящими из-под высокого выпуклого лба, гораздо более помышляющий о своей карьере (что он и доказал, пробравшись, впоследствии, в попечители Варшавского учебного округа), чем о нас и о своем предмете; ходил он вечно с портфелем под мышкой, в коротеньком виц-мундире, очень узких брюках на штрипках и всегда как-то томительно однообразно кряхтел, держа руку за жилетом; оперу «Жизнь за Царя» называл, как уверяли, «Жизнь за Государя Императора» и прочее, и прочее.

Из лекций его мы усвоили себе немного, тоже отчасти благодаря тому, если не ошибаюсь, что предмет тот числился во втором разряде, но помню хорошо, что, излагая законы о наследстве, он делил вдов на детных и бездетных, и эта «остзейская детная вдова» немало нас сместила.

Наконец, были еще два профессора французской литературы St. Julien и межевых законов – А.М. Троицкий. И тот, и другой предметы были в положительном загоне. St. Julien, одна фамилия которого невольно обращала нашу школьную мысль к бутылке красного вина, наполнял лекции более болтовнею, оглашая притом и классы, и залы необычайно пискливым, упорным и жирным кашлем, которым он же мешал, по субботам, нам и прочей публике, смотреть и слушать в Михайловском театре Лемениля, Вольнис, Тетара и прочих знаменитостей того времени, так как аккуратно посещал французскую комедию в качестве постоянного критика Journal de St.-Petersburg.

Впрочем, в существе своем он был симпатичным французом и мог бы по праву называться «добрым малым», если бы не был безусловно седым и порядочно-таки старым. Знал он французскую литературу хорошо, но, к сожалению, говорил таким неясным фальцетом, что расслышать его было почти невозможно. Курса у него не было, записывали из нас двое-трое и как мы сдавали только экзамен – одному Богу известно! Как уже замечено, курс этот мы более проходили на Михайловской площади.

А.М. Троицкий – добрейший из всех наших преподавателей, впоследствии редактор «Журнала Министерства Юстиции» и обер-прокурор Межевого департамента Сената (давно уже умерший) – всю выучку нас межевым законам сосредоточивал, как-то странно, на одном дне, в конце учебного года, когда перед выпускными экзаменами мы с ним отправлялись на Петровский остров с астрольбиею учиться землемерной съемке.

Такое занятие с душой-человеком, очень тучным и похожим на моржа (за что и прозвали его моржом, а межевые законы – моржовым правом), на свежем воздухе, притом на островах, поблизости от ресторана, заканчивалось, разумеется, повальной попойкой и всеобщим весельем, но причем тут собственно были межевые законы – сказать трудно. Баллы, конечно, ставились снисходительные, так как вслед за поездкой наступал и экзамен, но кто из нас, правоведов, теперь знает эти темнейшие и длиннейшие законы – сказать еще труднее. Веселое время!

Затем, если прибавить гражданское и уголовное судопроизводство, то вот и все предметы, которым нас учили на специальном, трехклассном курсе. Гражданское – читалось Владиславлевым, доканывавшим нас сроками, т.е. законами о процессуальных сроках («скажите о сроках», – стереотипно протягивал он в нос, обращаясь к каждому воспитаннику), а уголовное – Я.Я. Чемадуновым, всегда очень интересным и собиравшим около себя целую толпу своими рассказами в рекреацию.

Как видите, предметов было немного, но и они задавали нам работу и тревогу к экзаменам. Нужно было сдать все в полтора месяца, чтоб получить «титюлярного», а там место, непременно, если только возможно, в департаменте Министерства Юстиции (ближе к «источнику»), а там и карьера.

Перебирая теперь все, все хвалы и порицания, заслуженные и незаслуженные правоведами, невольно останавливаешься на складе всех нас, на духе заведения. Говорилось в обществе много об аристократическом характере нашего воспитания, о нашем, так сказать, белоручестве, говорилось и о фатовстве, но все это, по правде сказать, довольно-таки преувеличено. Начать с того, что, строго говоря, воспитания даже никакого и не было, если под ним разуместь *образование характера*; не существовало вовсе воспитательного общения между нами и гувернерами, уже потому, что эти последние попадали в училище без всякого особого призвания к педагогии, не готовились они к ней, да и не были они педагогами.

В большинстве случаев это были люди военные, смотревшие на место воспитателя в Правоведении просто как на карьеру, совершенно так же, как будущие их питомцы впоследствии смотрели на судейское кресло. Сделать человека, образовать слугу *своей родины*, а не начальства только, воспитать судью, прежде всего *нелицеприятного* – совсем не входило в прямую их задачу, а шли они просто, кто в дежурные, кто в классные воспитатели, из-за жалованья и казенного угла и, конечно, по протекции.

Поэтому и отбывали они свое гувернерство ровно настолько добросовестно, насколько требовал чисто внешний распорядок: смотрели за тем, чтобы мы не шумели, чтобы не ходили расстегнутыми или с длинными волосами, чтобы не поздно болтали в постелях, ложась спать, чтобы не валялись в тех же постелях вставая, чтобы не курили в душники, чтобы не опаздывали из отпуска, чтобы на улице отдавали, кому следует, честь и т.д.; словом, проделывали весь необходимый ритуал везде принятой тогда дрессировки.

Никакими такими общими, всем педагогам обязательными, принципами они не обладали и не руководствовались, никакое одно руководящее начало их не связывало между собою, а каждый из них был, так сказать, молодец на свой образец.

Один, например, все беседы с нами ограничивал стереотипною фразою «не в голос, господа, не в голос», что означало – шумите потише (Шустов), другой только и делал, что повторял: «не ловко, господа, не ловко, не ловко» (Риттер); третий (француз Баккара) занимался усиленно спиритизмом и столоверчением и на назойливые приставания воспитанников так же стереотипно отвечал: «*tenez votre langue captive*» [(*держите язык за зубами*)], четвертый (Э.Х. Шнейдер) предавался исключительно физике, которую, впрочем, и читал нам очень толково, будучи замечательным естествоведом, пятый, наконец, (Малмó) занимался усердно раздачею воспитанникам щелчков, выделявая преобильно на головах наших средним пальцем правой руки так называемую им почему-то «*грушу*», но за всем тем, что собственно занимало эти головы, какие были наши знакомства, какими вопросами мы интересовались, что читали, одним словом, как складывался наш внутренний, духовный мир, – об этом гувернеры наши и не думали.

Кто больше всех других желал иметь влияние на душу нашу – это священник (протоиерей М.И. Богословский), По крайней мере, его беседы нередко выходили за пределы урочных часов лекций, но, при всем его уме, он по званию своему так далеко стоял от нашей жизни, что и здесь никакого действительного сближения произойти не могло.

Аскетический угол зрения во всем, что не духовное, что не церковь, деспотический при этом нрав, все это, в связи с томительным нашим стоянием в церкви, а во время говения и с противною пищею на постном масле, только отталкивало нас от Богословского.

Проповеди его по праздникам и воскресеньям были всегда очень талантливы, но, как всякия проповеди, забывались нами моментально по оставлении церкви. Кроме того, зачастую, он предпосылал обедне еще беседу с нами на текст из Священного Писания; это происходило в рекреационном зале, но и эти беседы по обстановке своей не очень-то нас к себе привлекали.

Не говоря уже о значительной сухости этих поучений, их приходилось выслушивать стоя, выстроившись в шеренгу, вдоль которой прохаживался сам поучающий, необыкновенно как-то скрипя сапогами, что естественно нас развлекало и сосредоточивало мысли только на одном вопросе: да скоро ли он кончит, скоро ли перестанет скрипеть! Прибавьте к тому, что отпуск в перспективе, т.е. возможность удрать домой, еще более обострял наше нетерпение.

В конце концов, гувернеры наши были к нам все-таки ближе, а некоторые из них остались положительно друзьями своего выпуска, как, например, Н.Н. Гартман (бывший директор Лицея)*. В качестве дежурного воспитателя (тогда еще военного), он был нашей, так сказать, утренней зарей, с прибавкой некоторого грома. В 6 ч. утра будил он нас резким голосом, сдергивая одеяла и покрикивая: «вставайте, вставайте, что вы тут сидите, как китайская богородица». А «богородица» лениво поднималась, протирала глаза и вслед за удалением гувернера снова заваливалась на боковую.

Знали наши гувернеры об успехах правоведов на службе, т.е. о карьерах, сделанных уже вышедшими воспитанниками и, конечно, о таких успехах сообщали нам, да и сами эти вышедшие нередко являлись в училище во всем блеске своего служебного положения (*si jeune et si bien decoré* – [так молод и такой роскошный мундир]), а это одно переносило нашу завистливую мысль, само собою, на ту же карьеру, на тот же успех, а так как успех этот давался далеко не одним трудом, не одними знаниями, но и знакомствами, а знакомства, в свою очередь, должны были завязываться в элегантных гостиных, в хорошем обществе, то нечего и удивляться тому, что наши вкусы уже в училище развивались именно в сторону таких знакомств в хорошем обществе.

Тесная, живая связь спланивала это общество и нас, как по привилегированному (дворянскому) нашему происхождению, так и по развлечениям этого общества, ибо тот самый французский театр, который нас манил к себе эротическою своею стороною, составлял в то же время единственный общественный ресурс и наших папенок, маменек, братцев и сестриц, притом он так облегчал знание французского языка, правильнее – болтовню на нем!

Вот и все, чем исчерпывался тот аристократизм и то фатовство, в котором нас нередко упрекали, в сущности, как видите, довольно невинные, если бы не дальнейшая жизнь и нравы самого общества.

Войдя в эту жизнь, правовед уже на практике убеждался, что карьера зависит далеко не от одного труда и знаний, а если подчас они для нее и необходимы, то при самом старательном их приложении все-таки ничего не поделаешь без ловкости и известной юркости; убеждался он в том, что одно *знание* ничего не значит, т.е. в том, в чем мы убеждаемся поминутно и сейчас, что успех зависит от многого такого, что с знанием ничего общего не имеет, и что благо государства и общества, законность, правосудие и прочие прекрасные вещи, вычитанные им в книжках, могут стать для него не целью жизни, а только средством приобрести имя, положение, популярность и прочее, что не себя нужно отдать этим прекрасным вещам, а их нужно и можно эксплуатировать *для себя*, для своей карьеры; коль скоро же эта карьера сделана, то не все ли равно, процветают правосудие и государство или нет?

– “Да и что такое, в сущности, государство и правосудие, – говаривал мне один товарищ, вечно французивший, тот самый, о котором сложилась легенда про императора Никифора II-го, – согласись, *mon cher*, que tout cela au fond n’est qu’une blague [(что это по существу шутка)]”, мне бы вот из «моржового» права не провалиться, да пристроиться в министерстве, а ты тут с своим государством”. Кто его знает, может быть, он прав был!

* Николай Николаевич Гартман служил директором Александровского лицея в 1877-92 гг., после своей службы надзирателем в Училище правоведения, но стал бывшим к моменту публикации сих воспоминаний.

Раз убедившись в значении карьеры, правовед само собой уже науку откладывал несколько в сторону, а с нею и независимость убеждения; являлась погоня за протекцией, решимость выдти в люди во что бы то ни стало, выгодные браки, сноровка сделать приятное, угодное тому, кто посильнее, кто повлиятельнее, и вот юноша, так сказать, «без роду, без племени» в короткое время становился воротилою, *persona grata*, сам начинал считать себя аристократом, сам уже оказывал протекцию таким же, как он, уже совершенно не справляясь ни с наукой, ни с знаниями однокашника.

И такая-то протекция окрещивалась почтенным именем товарищества, а видное служебное положение – карьерой, завоеванной личным трудом и личным талантом, хотя тут же рядом стояли такие же товарищи и труженики и способные, но не сгибающиеся, которых, однако, оттирали и которые так и остались только при приятном воспоминании о правоведении и при горьком сознании, что «бабушка им не ворожила». Никакой такой карьеры они сделали (нельзя же, *mon cher*, говорили счастливицы, *всем* делать карьеру) – эти прямые и прозябают теперь где-нибудь, в скромных уголках нашего обширного отечества, утешаясь, вероятно, воспоминанием о милом сердцу их училище...

Справедливость требует, однако, заметить, что все, только что сказанное, относится далеко не к большинству правоведов и что, мысленно оглядывая все прошлые тридцать лет, вызывая образ тех товарищей, которые ныне действуют на видных поприщах или только недавно сошли со сцены, невольно говоришь себе: однако, уже и тогда в них замечались задатки недюжинных способностей и даже ярких талантов и, вглядываясь в них попристальнее, видишь ясно, в сущности, те же черты, которые и тогда выделяли их из толпы школьников.

Вот, например, Чайковский, симпатичнейший «Петя Чайковский» (Петр Ильич). Уже тогда музыка резко отделяла его от остальных. Всегда задумчивый, чем-то озабоченный, с легкой, но обворожительной улыбкой, женственно-красивый, появлялся он среди нас, в курточке с засученными рукавами и целые часы проводил за роялем в музыкальной комнате. Играл он превосходно; не хуже его, но совсем в другом роде играл и Безродный (Леонид Васильевич).

Насколько в игре первого виден был серьезный музыкант, настолько игра второго была блестящим, салонным исполнением модных пьес и как уже тогда в нем зарождался модный человек большого света, – каковым он и стал впоследствии, необыкновенно быстро сделав карьеру при министерстве графа Палена и Бурлакова, – так и в Чайковском видны были зачатки солидного музыканта, будущего творца гениальных, всемирно известных симфоний.

А вот и Герке, Август Антонович (ныне сенатор) – так же большой любитель и знаток музыки, или Закревский, Игнатий Платонович (бывший обер-прокурор), известный в свое время и как публицист, и как первый мировой судья в Петербурге, или еще Боглебов, Николай Петрович; Иванов, Аполлон Викторович; Желеховский, Владислав Антонович; Голубев, Иван Яковлевич; Горшкевич, Карл Михайлович (сенаторы), Бутовский, Петр Михайлович (ныне товарищ министра юстиции). Все они уже тогда отличались большою выдержкою характера, усидчивостью, солидною начитанностью и способностями, ярко отличавшими их от других. Талантами блистали и правоведы, не сделавшие служебных карьер, но тем не менее впоследствии получившие всеобщую известность, как, например, А.Н. Апухтин, В.Н. Герард, А.Н. Турчанинов и другие.

Существовало мнение, будто закрытые заведения мешали развитию и заглушали способности своих питомцев. Относительно Правоведения это положительно несправедливо: громадное большинство талантливых юношей проявило и за стенами училища свои способности, чему, конечно, немало содействовал общий подъем интеллигенции начала шестидесятых годов, к которым и относятся наши воспоминания.



24-го Августа 1866 г.

Прошение П.В. Полочанинова, поверенного Г.Н. Мотовилова, о внесении сыновей последнего в Симбирскую дворянскую родословную книгу*

Всепресветлейший, Державнейший Великий Государь Император

Александр Николаевич,

Самодержец Всероссийский, Государь Всемиловитвейший!

Просит по доверенности Председателя С. Петербургского Окружного Суда коллежского советника Георгия Николаевича Мотовилова штабс-капитан Петр Васильевич Полочанинов, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:

1. Вследствие прошения генерал-майора Александра Андреевича Дувинга, внуку его, а моему доверителю Георгию Николаевичу Мотовилу выдана 27 ноября 1842 года за № 381 копия с определений Симбирского дворянского депутатского собрания, состоявшихся 1796 г. января 21, 1818 г. июля 17 и 1842 г. ноября 19, из которой видно, что предки доверителя моего и сам он внесены в шестую часть дворянской родословной книги Симбирской губернии.

2. Но сыновья доверителя моего, Мотовилы Николай и Василий, рожденные от законного его брака с сестрой моей Екатериной Васильевной Полочаниновой, к роду Мотовиловых еще не причислены и в родословную книгу не внесены. Почему и предоставляя при сем два метрических свидетельства, выданные 24 мая 1863 года из С. Петербургской духовной консистории о рождении означенных детей моего доверителя: Николая за № 3109 и Василия за № 3110, выпись постановлений Дворянского депутатского собрания, выданную мне доверенность, копии с этих документов и три листа гербовой бумаги, по 40 копеек серебром каждый, всеподданнейше прошу:

* Сей документ и ниже приведенные подготовила к публикации в «Судебном вестнике» (Ульяновск), №3, 2012 г. зам директора – нач. отдела использования и публикации документов Госархива Ульяновской обл. к.и.н. Г.В. Романова. Причем сия высокопоставленная архивистка проморгала грубейшую ошибку своей подчиненной – вместо первого слова обращения к Государю – «Всепресветлейший» (видно из скопированной нами шапки прошения) последняя забабалаха при оцифровке – «**Всероссийский**»!!! Мы эту хрень, конечно же, исправили.

Была в сей публикации и другая хрень:

МОТОВИЛОВА СОФЬЯ ИВАНОВНА (1863, Рус. Цильна — ?), в замужестве Классон. Вместе с мужем Р.Э. Классоном организовала один из первых марксистских кружков в Петербурге. На одном из собраний кружка в квартире Классонов познакомилась В.И. Ульянов и Н.К. Крупская.

Неужели эти горе-публикаторы не могли найти в Интернете год смерти Софьи Ивановны? Не удосужились они прочитать и выступление Н.К. Крупской на вечере памяти Р.Э. Классона, где о «выдающейся организаторской роли» его первой жены почему-то не было сказано ни слова! На самом деле, роль Софьи Ивановны в «марксистском салоне» на Охте заключалась в том, чтобы, как хозяйке квартиры, организовать чай и блины для гостей. — Примеч. М.И. Классона

Дабы повелено было: Мотовиловых сыновей Георгия Николаевича Мотовилова Николая 9-ти и Василия 8-ми лет, причислив к роду Мотовиловых, внести в дворянскую родословную книгу и выдать каждому из них метрические свидетельства и представленную мною копию с определения Дворянского собрания 24 августа 1866 года.

ГАУО. Ф. 45. Оп.1. Д. 74. Л. 7-7 об.

Входящий №70 от 14 июня 1883 г.

**Прошение вдовы Г.Н. Мотовилова о внесении
в Симбирскую дворянскую родословную книгу дочери Надежды**

Симбирскому Дворянскому Депутатскому Собранию
Вдовы тайного советника
Екатерины Васильевны Мотовиловой

Прошение

Покойный муж мой Георгий Николаевич Мотовилов внесен был в Дворянскую родословную книгу Симбирской губернии, а также сыновья наши Николай и Василий.

Но дочь наша Надежда, рожденная 28 ноября 1871 года, еще не внесена.

Представляя при этом копию с метрического свидетельства о ее рождении, покорнейше прошу Дворянское Депутатское Собрание о внесении моей дочери Надежды в родословную Симбирского дворянства книгу и выдать мне о том свидетельство или копию определения Собрания.

Вдова тайного советника Екатерина Васильевна Мотовилова

ГАУО. Ф.45. Оп.1. Д.74. Л.50.

Копия свидетельства о рождении дочери Г.Н. Мотовилова Надежды

Свидетельство

По указу Его Императорского Величества от С.Петербургской Духовной Консistorии дано сие свидетельство о том, что в метрической 1871 года книге Сергиевского всей Артиллерии Собора под № 112 показано: у Председателя Департамента С. Петербургской Судебной Палаты действительного статского советника Георгия Николаевича Мотовилова и законной жены его Екатерины Васильевны, обоих православных, дочь Надежда родилась двадцать восьмого ноября, а крещена третьего декабря тысяча восемьсот семьдесят первого года.

Восприемниками были: почетный мировой судья Карсунского судебного округа Дмитрий Петрович Родионов и вдова статского советника Варвара Алексеевна Гудим-Левкович, мировой судья Городищенского судебного округа Александр Николаевич Мотовилов и вдова капитана Анна Александровна Мотовилова, действительный статский советник Николай Георгиевич Мотовилов и дочь ротмистра Александра Петровна Кондратьева.

Причитающийся гербовый сбор уплачен. Сентября 16 дня 1871 г.

Чин консистории архимандрит Корнилий.

Столоначальник П. Павлов.

ГАУО. Ф.45. Оп.1. Д.7. Л.51.

Вынужденное послесловие М.И. Классона

Судебная реформа, проведенная в годы правления Александра II, в которой активно участвовал и Г.Н. Мотовилов, преподносится судебными же деятелями того времени как великое благодеяние для России (см. выше речи и воспоминания того же А.Ф. Кони). В то же время в этой «бочке меда» имеется и немалая «капля дегтя». Речь идет о параллельно осуществлявшихся так называемых административных (т.е. бессудных) высылках и ссылках.

Причем они распространялись не только на студентов и интеллигентов, вполне легально протестовавших против беззаконий, творившихся при Александре II, но и на все население (в т.ч. и крестьян), если его представители осмеливались подать хотя бы «челобитную на высочайшее имя».

Дадим соответствующую выдержку из Википедии:

Судебный устав 1864 года вводил единую систему судебных учреждений, исходя из формального равенства всех социальных групп перед законом. Судебные заседания проводились с участием заинтересованных сторон, были публичными, и отчёты о них публиковались в печати. Тяжущиеся стороны могли нанимать для защиты адвокатов, имевших юридическое образование и не состоявших на государственной службе.

Новое судоустройство отвечало потребностям капиталистического развития, но на нём всё ещё сохранялись отпечатки крепостничества – для крестьян создавались особые волостные суды, в которых сохранялись телесные наказания. По политическим процессам, даже при оправдательных судебных приговорах, применяли административные репрессии. Политические дела рассматривались без участия присяжных заседателей и т.д. В то время как должностные преступления чиновников оставались неподсудными общим судебным инстанциям.

Вместе с тем, осуществить судебную реформу удалось далеко не на всей территории Российской империи. В труде М.М. Ковалевского указывалось, что во многих губерниях судебная реформа проводилась со значительными отклонениями от Судебного устава 1864 г. Это касалось и судов присяжных, которые во многих губерниях так и не были введены. В частности, суды присяжных не избирались в губерниях, городах и районах, где не было введено местное самоуправление; на национальных окраинах, где население плохо говорило по-русски; а также в Сибири и на Кавказе, ввиду их большой удаленности от столицы [*Russie a la fin du 19e siècle, sous dir. de M. Kowalevsky, Paris, 1900, p. 111*].

Если в отношении обычного гражданского и уголовного судопроизводства судебная реформа привела к положительным результатам, включая большую открытость и демократичность судебных процедур, то того же нельзя сказать о судопроизводстве в отношении «политических дел». В этой сфере в эпоху Александра I фактически происходил рост полицейского и судебного произвола.

Например, следствие по делу 193 народников (процесс 193-х по делу хождения в народ) тянулось почти 5 лет (с 1873 по 1878), и в течение следствия они подвергались избиениям (чего, например, при Николае I не было ни по делу декабристов, ни по делу петрашевцев).

Как указывали историки, власти держали арестованных годами в тюрьме без суда и следствия и подвергали их издевательствам перед создаваемыми огромными судебными процессами (за процессом 193-х народников последовал процесс 50-ти рабочих).

А после процесса 193-х, не удовлетворившись вынесенным по суду приговором, Александр II в административном порядке ужесточил судебный приговор – вопреки всем ранее провозглашенным принципам судебной реформы [Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Л.-М., 1926-1928, т. 11, с. 171; Покровский М. Русская история с древнейших времен. При участии Н. Никольского и В. Сторожева. М., 1911, т. 5, с. 242].

Ещё одним примером роста судебного произвола в политической области является казнь четверых офицеров – Иваницкого, Мрочка, Станевича и Кеневича – которые в 1863-1865 гг. вели агитацию в целях подготовки крестьянского восстания [Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Л.-М., 1926-1928, т. 11, с. 141]. В отличие, например, от декабристов, которые организовали два восстания (в Петербурге и на юге страны) с целью свержения царя, убили нескольких офицеров, генерал-губернатора Милорадовича и едва не убили брата царя, четверо офицеров при Александре II понесли такое же наказание (казнь), как и 5 лидеров декабристов при Николае I, всего лишь за агитацию среди крестьян.

В последние годы царствования Александра II, на фоне роста протестных настроений в обществе, были введены беспрецедентные полицейские меры, по существу отменившие действие и Судебного устава 1864 г., и законов о местном самоуправлении [Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. М., 1964, с. 237]. Власти и полиция получили право отправлять в ссылку любое показавшееся подозрительным лицо, проводить обыски и аресты, без согласования с судебной властью, выносить политические преступления на суды военных трибуналов – с применением ими наказаний, установленных для военного времени.

Назначенные в губернии временные генерал-губернаторы получили исключительные полномочия, что привело в ряде мест к чудовищному произволу, от которого страдали не столько революционеры и террористы, сколько мирное население [Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. М., 1964. с. 91-95]. Историк А.А. Корнилов в 1909 году характеризовал эти меры правительства Александра II как «белый террор» [Корнилов А.А. Общественное движение при Александре II (1855-1881). М., 1909, с. 252].

Кстати, «процесс 193-х» проходил с октября 1877-го по январь 1878 года в Особом присутствии Правительствующего сената, когда Г.Н. Мотовилов опять служил в Петербурге, вернувшись из Москвы. Поэтому Георгий Николаевич мог в принципе обмениваться репликами и мнениями с коллегами по поводу этого громкого судебного дела...

Приведем заодно статью «Административная высылка и ссылка» из Большой энциклопедии под ред. С.Н. Южакова (1904 г.):

Эти наказания имеют ту общую черту, что оба ограничивают свободу лица в выборе местожительства. Высылка есть воспрещение жить в определенном месте, с правом выбора себе местожительства во всех других местах, а ссылка – удаление лица в какую-либо определенную местность Европейской или Азиатской России с обязательством безотлучного пребывания в течение назначенного срока.

Наш закон смешивает оба термина, хотя для ссылки существует особый порядок, определяемый Положением о мерах к охранению государственного и общественного спокойствия (т. XIV, изд. 1890 г., приложение I к ст. Устава о предупреждении и пресечении преступлений [от 1890 г.], применительно к ст. 16, ст. 32-36).

Административной ссылке подвергаются лица, местной администрацией признаваемые за вредные для государственного и общественного спокойствия (как в местностях, объявленных в исключительном положении, так и в местностях, в исключительном положении не объявленных); губернатор или градоначальник, убедившись в необходимости ссылки известного лица, делает об этом представление министру внутренних дел, который передает дело на рассмотрение Особого совещания, состоящего из товарища министра, заведующего государственной полицией, двух членов от министерства юстиции и двух от министерства внутренних дел. Срок ссылки от 1 до 5 лет, и в течение этого срока сосланный находится под надзором полиции. <...>

Приведем и выдержку из упомянутого выше Устава о предупреждении и пресечении преступлений от 1890 г.:

РАЗДѢЛЬ ВТОРОЙ.

О предупрежденіи и пресѣченіи преступленій противъ общественнаго порядка и учрежденій правительства.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О непослушаніи, своевольствѣ и сопротивленіи властямъ законнымъ.

119. Полиція имѣетъ надзоръ, чтобъ никто въ противность должнаго послушанія законнымъ властямъ ничего не предпринималъ. Она пресѣкаетъ въ самомъ началѣ всякую новизну, законамъ противную. 1775 Ноябр. 7 (14392) ст. 237, 256; 1782 Апр. 8 (15379) ст. 56, 194, 236; 1839 Март. 23 (12165) ст. 21.

120. Въ случаѣ покушенія, клонящагося къ нарушенію спокойствія, полиція обязана увѣдомить о томъ Губернское Правленіе и Губернатора, не допускать приведеніе такового покушенія въ исполненіе и смирить нарушителя покоя по мѣрѣ данной ей власти, въ чемъ всякъ, по силѣ и возможности, обязанъ ей содѣйствовать. 1775 Ноябр. 7 (14392) ст. 237, 242. 256, 264; 1837 Юн. 3 (10303) § 56; (10306) § 8; 1839 Март. 23 (12165) ст. 23.

121. Полиція наблюдаетъ, чтобы благочиніе, добронравіе, порядокъ и все предписанное закономъ для общей и частной пользы было исполняемо и сохраняемо, а въ случаѣ нарушенія приводитъ всякаго, не смотря на лицо, къ исполненію предписаннаго закономъ. 1775 Ноябр. 7 (14392) ст. 224, 254; 1839 Март. 23 (12165) ст. 22.

122. Полиція имѣетъ попеченіе, чтобы молодые и младшіе почитали старшихъ и старыхъ, чтобы дѣти повиновались родителямъ, а слуги своимъ господамъ и хозяевамъ. 1782 Апр. 8 (15379) ст. 41, 154; (по Прод. 1906 г.) 1839 Март. 23 (12165) § 42.

123. Всякъ, имѣющій по службѣ военной или гражданской начальство, обязанъ строго наблюдать за сохраненіемъ порядка и должнаго повиновенія со стороны своихъ подчиненныхъ; а за ослушаніе и неповиновеніе взыскивать по всей строгости законовъ, подъ опасеніемъ, что всякое въ семъ случаѣ послабленіе, могущее подать поводъ къ разстройству подчиненности по службѣ, вѣднѣе ему въ дѣйствительное упущеніе по должности. 1787 Апр. 21 (16535) ст. 52; 1837 Юн. 3 (10303) § 56; (10306) § 8; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 423-427.

А теперь проиллюстрируем на двухъ живыхъ примерахъ сию бессудную меру – административную ссылку. И почерпнемъ мы ихъ изъ «Истории моего современника» В.Г. Короленко.

Первый примеръ (сюжет начинается в 1876 году – за 5 летъ до убійства Александра II):

Волненія в Петровской [земледѣльской] Академіи

Можетъ быть, подъ влияніемъ приезда министра [государственныхъ имуществъ П.А. Валуева директоръ академіи Ф.Н.] Королевъ решилъ принять меры противъ растущаго настроя молодежи. Меры эти онъ понималъ въ смыслѣ чисто гимназической дисциплины: при объясненіяхъ со студентами в канцеляріи или при встречахъ в паркѣ, на фермѣ или опытномъ полѣ онъ чаще делалъ студентамъ замечанія за неостриженные волосы, за беспорядокъ в костюмѣ, за непочтительную позу при разговорѣ с начальствомъ. Это было самое плохое, что можно было сдѣлать в его положеніи. Эти придирки способны были волновать и нейтральную в остальныхъ отношеніяхъ массу студенчества.

Помню одну сходку, на которой студентъ, по фамиліи Бердниковъ, рассказывалъ об одномъ изъ такихъ столкновеній с директоромъ. Многочисленная сходка волновалась и шумела. Между тѣмъ студентъ Бердниковъ, упитанный и самодовольный юноша, с румянцемъ во все пухлые щеки, былъ существомъ самымъ безобиднымъ, и впоследствии, наконецъ, изъ него вышелъ очень исполнительный чиновникъ.

Таких раздражающих мелочей, объединявших студенческую массу на вопросах школьного самолюбия и товарищества, набиралось много. Сторож казенных номеров довольно грубо остановил у входа даму, приехавшую к родственнику студенту: женщины не допускались в номера, а только в общую приемную, и нам в том нашем на-строении это казалось обидно: мы были уверены, что сами сумеем не допустить без-образий в своей среде... Некоторые студенты в тех же номерах стали замечать, что в их отсутствии кто-то обыскивает их вещи. Инспектора стали следить за аккурат-ным посещением лекций, в чем, в сущности, не было надобности. Наконец произошло событие, взволновавшее ту часть студенчества, которая была глубже затронута движением.

Некоторые из разыскиваемых студентов жили в Москве без прописки. И вот в ака-демической прихожей стали появляться облыжные извещения о получении на имя этих скрывающихся денег или посылок. Когда они являлись, администрация задерживала их и передавала в руки жандармов. Один случай такого ареста в конторе произошел ус-пешно и довольно тихо. В другом случае студент (кажется, Воинов), заподозрив ло-вушку, успел вовремя выскочить из канцелярий и побежал через двор к парку. За ним вы-скочил несчастный долговязый старик инспектор и бежал по двору, сзывая сторожей. Картина вышла жалкая и отвратительная. Помню, что на меня рассказ очевидцев об этом происшествии произвел впечатление, перед которым совершенно померкли чис-то школьные вопросы о стрижке волос, о выговорах Королева, о недопущении родст-венниц в номера и о столовой, которую студенты требовали передать в их заведыва-ние.

Начались непрерывные сходки. Собирались довольно откровенно в казенных номе-рах. Когда однажды явился субинспектор с сторожами, перед ним забаррикадировали дверь. Составлялся коллективный адрес с протестом. История уже длилась около двух недель: все не могли выработать текста этого адреса. У всех была потребность зая-вить, что отношения с академической администрацией вызывают негодование.

При этом только чисто школьные вопросы объединяли огромное большинство. Наш кружок этим не удовлетворился. Мы требовали также заявления о сыскной роли инспекции, а большинство на это не шло. Дело томительно затягивалось; занятия не шли на ум, нужно было как-нибудь решить кризис. После одной бурной сходки мы с [зна-комым студентом] Григорьевым заявили, что мы более в прениях не участвуем, соста-вим свой адрес и подадим его, хотя бы на нем были только две наши подписи. Нужно, чтобы кто-нибудь сказал правду. После этого мы удалились в мой номер, где я сгоряча составил заявление и подписал его.

Григорьев, видимо, не придавая значения тонкостям (что впоследствии причинило нам некоторые неприятности), совершенно одобрил основной мотив: отношения ме-жду администрацией и студентами основаны на глубоком недоверии и взаимном не-уважении, а в последнее время приняли совершенно недостойные формы: инцидент с попыткой ареста студента такого-то заставляет нас смотреть на контору акаде-мии, как на отделение московского жандармского управления, а на представителей академической администрации, как на его послушных агентов.

Подписав заявление, мы вдвоем объявили, что без дальнейших прений приглашаем подписываться всех, кто согласен с его содержанием, но подадим его во всяком случае, при любом числе подписавшихся. Лист стал покрываться подписями. Первыми примк-нули члены нашего кружка архангельцы – братья Пругавины, Алексей и Виктор, Николь-ский и Личков. Вернер, живший в Москве, приехал нарочно, чтобы присоединить и свою подпись.

Вскоре набралось девяносто шесть подписей, и на этом дело остановилось. Большинство, находившее, что упоминание об арестах вводит опасные «политические» мотивы, сразу отшатнулось. Подписавшие выбрали Григорьева, Вернера и меня в качестве депутатов для представления адреса. Сходки прекратились. В академии наступила тишина.

Мы втроем отправились к директору. Он встретил нас серьезно и сухо, взял бумагу и стал читать ее с несколько пренебрежительным видом, в некоторых местах пожимая плечами. Но когда он дочитал до инцидента с арестами, на его бледном старческом лице вспыхнул вдруг густой румянец, который резко отграниченной полосой залил лоб и стал быстро подниматься по высокому черепу. Я даже испугался, опасаясь, что с ним может случиться удар. Но он овладел собой и сказал угрюмо:

— Вы задеваете такие мотивы, которых я с вами обсуждать не вправе... Ваше заявление будет передано в совет.

Мы откланялись и вышли.

В академии занятия пошли своим чередом; аудитории опять наполнились, но студенческая среда жужжала, как встревоженный улей. В академии было тогда около двухсот пятидесяти студентов. Значит, не подписалось и половины. Некоторые ожесточенно нападали на нас; говорили даже о каком-то контрзаявлении, которое собирался будто бы подать с кружком единомышленников тот самый студент Бердников, который так взволновал сходку рассказом о своем чисто школьном столкновении с Королевым. Многие останавливали нас при встречах и в аудиториях, горячо оспаривая адрес.

Помню особенно студента Аршеневского. Это был сын очень богатого помещика, толстяк, весельчак, отличный товарищ, бурш, кутила и довольно усердный студент. Горячо соглашаясь с чисто школьным протестом, он также горячо восставал против «ведения политики».

Мы с Григорьевым возражали, что это те же школьные мотивы, только на более глубокой нравственной почве. На Западе университеты неприкосновенны для полиции, а у нас инспектора собственноручно ловят своих питомцев для передачи жандармам.

Прошло недели две. Поздним вечером академический сторож принес мне официальную бумагу, в которой значилось, что товарищ министра государственных имуществ, светлейший князь Ливен вызывает студента такого-то для объяснения. Явиться — завтра же, в восемь часов утра, в гостиницу такую-то на Лубянской площади. Такую же бумагу получили Григорьев и Вернер, жившие в то время в Москве.

Вызов произвел среди студентов большое волнение. Несмотря на позднее время, товарищи прибегали ко мне с расспросами и рассказами. Слышно было от профессоров, что Ливен приехал в этот день и уже совещался с генерал-губернатором. Назавтра его ждут в академию. Так как я был довольно беспечен насчет костюма, то товарищи принесли мне ночью черную пару с иголки. Я надел рубашку с крахмальным воротничком, щегольской галстук и лоснящиеся ботинки; все это сборное. Меня снарядили точно на праздник, и в шесть часов утра следующего дня мы с Григорьевым отправились на выселковском извозчике, носившем шутовское название фиакра, в Москву. К назначенному часу мы входили в подъезд гостиницы, а через несколько минут после нас подъехал и Вернер.

Несмотря на ранний час, князя в гостинице уже не было. Швейцар указал нам его комнату и предложил подождать. Мы ждали час. На улицах уже разгорелось полное движение, а князь не приезжал. Тогда Григорьев предложил написать на лежавшем тут же листке бумаги, что студенты такие-то являлись по приглашению в назначенное время, но, не застав никого, кроме швейцаров, и прождав более часу, уезжают.

Мы поставили свои подписи и вернулись в академию. Впоследствии рассказывали, будто вскоре после нашего отъезда Ливен вернулся и, прочитав оставленную нами своеобразную визитную карточку, отправился к генерал-губернатору Долгорукову с заявлением, что из дерзкого поступка студенческих депутатов видит, что в академии готов вспыхнуть бунт. Поэтому разнервничавшийся светлейший князь требует войск для усмирения... Его успели успокоить.

Между тем в академии уже было получено распоряжение собрать всех студентов в актовом зале. Распространился слух, что мы арестованы, и это обстоятельство могло оказать плохую услугу делу успокоения студентов. Незнание о нашей участи чрезвычайно нервировало массу, напрягая до крайних пределов живучее и великодушное чувство товарищества.

Когда мы на извозчике подъехали к академическому крыльцу, студенты высыпали из здания и встретили нас прямо восторженно. Нам пожимали руки, нас обнимали, расспрашивали наперебой. Толстяк Аршеневский, выслушав наш рассказ, горячо обнял меня и сказал:

— Превосходно. Так и надо: вы поддержали честь студенчества. Теперь мы все с вами.

Оказалось, что в часы этой томительно» неизвестности кем-то предложен лист для дополнительных подписей. Теперь этот лист заполнился: к нашему заявлению присоединилась, за небольшим исключением, вся академия.

Часов, около двенадцати нас всех пригласили в рекреационную залу. К директорскому подъезду подкатила коляска. Первыми вызвали нас троих как депутатов. Князь Ливен принял нас в директорском кабинете в присутствии Королева, кажется, декана, профессора Собичевского, и своего чиновника.

Он заявил нам, что командирован по высочайшему повелению. Государь чрезвычайно огорчен нашим коллективным заявлением. Нам должно быть известно, что по нашим уставам студенчество не составляет корпорации. Коллективное заявление само по себе составляет преступление. Он требует, чтобы прежде всего мы принесли извинение в этом незаконном поступке. Он уверен, что остальная студенческая масса лишь слепо пошла за вожаками, и от нас зависит теперь вернуть ее на путь законности.

Затем он обратился к каждому из нас в отдельности, требуя ответа.

Общее настроение студентов, сказавшееся при нашей встрече, воодушевляло нас так радостно и внушило нам такую уверенность в полном единодушии, что мы, не задумываясь, ответили с искренней уверенностью: мы являемся не вожаками, а лишь выразителями мнений и чувств всех товарищей. Я прибавил к этому, что отрицать корпоративное чувство студенчества — большая ошибка: где есть известная масса людей, объединенных общими интересами идейными и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт, — признается ли он уставами, или нет. Ливен сделал вид, что приходит в ужас от этого крамольного заявления, и, слегка повернувшись к Королеву, сказал:

— Если действительно таков дух, господствующий среди студентов, то я уже не знаю, как я осмелюсь сообщить об этом его величеству... Академию останется только закрыть.

— Но пока, — прибавил он, опять поворачиваясь к нам, — он надеется, что мы честно дадим ему возможность удостовериться в том, что наши товарищи действуют вполне сознательно, а не слепо следуют за нами. Поэтому он ждет от нас честного слова, что мы, хотя отнюдь не арестованные, — подчеркнул он, — останемся в течение переговоров со студентами в директорской квартире, не стараясь каким бы то ни было образом влиять на товарищей.

Мы охотно дали требуемое честное слово. Помню, что в эти минуты я горячо любил всю эту молодую взволнованную массу товарищей, стоявших за нами. Я любил их всех вместе, любил и уважал теперь коллективное существо, называемое «петровский студент», «петровец». Мы глубоко верили в искренность и глубину общего порыва. Поэтому мы охотно обещали не пытаться влиять на решение остальных товарищей.

После этого нас удалили в особую комнату и приставили к ней какой-то караул. Вскоре у наших закрытых дверей послышался взволнованный голос профессора Климента Аркадьевича Тимирязева.

— Вы не смеете не пропустить меня: я профессор и иду к своим студентам...

Дверь раскрылась, и Тимирязев быстро вошел к нам. Торопливо пожимая нам руки, он заговорил сразу:

— Знаете, господа, я не могу согласиться в вашем заявлении со многим...

Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, еще молодой, подвижной и нервный, он был как-то по-своему изящен во всем. Свои опыты над хлорофиллом, доставившие ему европейскую известность, он даже с внешней стороны обставлял с художественным вкусом. Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали, и он совершенно овладевал аудиторией. Я рисовал для его лекций демонстративные таблицы, и каждый раз приходил к нему в деревянный домик, у самого въезда в академическую усадьбу, с таким же чувством, как когда-то к Авдиеву в Ровно.

У Тимирязева были особенные симпатические нити, соединявшие его со студентами, хотя очень часто разговоры его вне лекций переходили в споры по предметам «вне специальности». Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его нервной речи слышалась искренняя горячая вера. Она относилась к науке и культуре, которые он отстаивал от охватывавшей нас волны «опростительства», и в этой вере было много возвышенной искренности. Молодежь это ценила. Кроме того, мы были уверены, что его не менее нас возмущала сыскная роль инспекции...

Поэтому мы с интересом приготовились выслушать его замечание, но беседа была прервана в самом начале. Следом за Тимирязевым торопливо вбежал субинспектор и сообщил, что собрался совет и что его ждут в директорском кабинете.

Кажется, это свидание с нами возбуждало некоторую тревогу в близорукой администрации, хотя, конечно, если что-нибудь способно было пошатнуть нашу уверенность, то это могли быть слова Тимирязева. Но его точка зрения не совпадала с казенной. Впоследствии мы узнали, что Тимирязев резко протестовал против того, что Ливен опрашивает администрацию и даже полицейских, не имеющих никакого отношения к академии, ранее чем обратиться к совету. Вскоре началось заседание, и по временам до нас доносился звонкий голос Тимирязева, хотя слов разобрать было невозможно.

Когда Тимирязев ушел, дверь к нам опять открылась. Вошел местный исправник, по фамилии, если не ошибаюсь, Ржевский. Это был пожилой мужчина, белокурый с проседью, вообще какой-то белесый, что придавало ему добродушный вид. Войдя к нам, он отстегнул саблю и распустил пуговицы мундира, отчего вид у него стал еще добродушнее. Затем он попросил позволения присесть с нами, тотчас же вступил в разговор с видом снисходительного дядюшки, беседующего с племянниками:

– Ох-о-хо... Устал я с вами... Что делать... Сам был молод, сам когда-то учился и увлекался.

И из уст его полились бесконечные рассказы. Все они велись в тоне балагура, много выдавшего в жизни, старого воробья, которого не проведешь на мякине.

– Вот вы, господа, увлекаетесь Щедриным. Конечно, остроумный сатирик, громит чиновников и помещиков. А вам это и любо... Ну, а сам? Сам не что иное, как бывший советник вятского губернского правления. В Тверской губернии у него имение, и мне лично пришлось по долгу службы усмирять крестьян в его имении.

Он рассказал какую-то историю, в которой М.Е. Салтыков фигурировал якобы в роли крепостника. За этим рассказом последовал другой, третий, и все они были в том же роде, раскрывали некрасивую изнанку каких-нибудь «популярных деятелей».

Через некоторое время он заболтался до того, что рассказ о Салтыкове повторил уже относительно Тургенева: ему приходилось усмирять крестьян в Спасском-Лутовинове. Григорьев с присущей ему прямоотой дал ему почувствовать, что он завирается, и исправник стушевался.

Между тем в академии события шли своим чередом. После совета все начальство прошло в актовую залу, и здесь Ливен обратился к студентам с небольшой речью, в которой сказал то же, что говорил нам, погрозил закрытием академии, предложил принести от всех курсов извинение и удалился, предоставив дальнейшие убеждения профессорам. Нас опять вызвали к нему, и он потребовал продолжения нашего обязательства до завтрашнего дня. Ему, конечно, не приходит и мысли об аресте.

Если бы мы, например, согласились на сегодня удалиться в Москву и не вступать ни прямо, ни косвенно ни в какие сношения с товарищами до двух часов завтрашнего дня, то этого будет совершенно достаточно. Он поверит нашему рыцарскому слову и просит утром явиться к нему на квартиру его родственников, туда-то.

Мы согласились, и нам подали извозчика. Когда мы садились, кучка студентов бежала из здания и окружила нас. Подумали, что нас арестуют. Если бы это было так, то, без сомнения, товарищеское чувство вспыхнуло бы, как порох, и нас бы непременно отбили. Мы объяснили, в чем дело: мы не арестованы, а только отпущены на честное слово до завтрашнего дня. Студенты расступились, и мы уехали.

В Москве в этот день только и говорили в интеллигентных кругах об истории в Петровской академии. Стало уже известно к вечеру, что студенты приносят извинение, причем главным мотивом служит забота о нашей участи: мы серьезно пострадаем, если беспорядки будут продолжаться. Помню, как огорчило нас это известие. Мы как-то совсем не считались с последствиями для себя. Мы считали, что сказали правду, и нам хотелось устоять на ней до конца. Нам было обидно, что соображения лично о нас могли нарушить товарищеское единодушие и испортить моральное значение всей этой истории.

К двенадцати часам следующего дня мы были у Ливена. На этот раз он принял нас тотчас же в скромном кабинете своего родственника. Обращение его было чрезвычайно радушно и мягко. Впоследствии мы поняли, что тогда он нас боялся: мы могли еще и теперь испортить все дело...

Он сказал нам, что огромное большинство студентов уже поняло незаконность своего поступка, и он уверен, что все кончится для академии благополучно. Нас он просил только продолжить еще на сутки данное слово и оставаться в Москве. Григорьев ответил на это решительным отказом.

– Если, конечно, мы не будем арестованы... – начал он, но Ливен живо перебил его:

– Неужели вы думаете, что я приехал сюда с такими полицейскими мерами? Поверьте, ни о каком аресте не может быть речи...

Затем, взяв меня за руку (я сидел к нему ближе других), он стал говорить почти растроганным голосом, что встретил в нас противников, но противников честных: мы рыцарски сдержали слово, и ему не приходится раскаиваться, что он доверился нашей чести...

– Это дает нам основание рассчитывать, что и в вашем лице мы имеем дело с таким же противником, – сказал Григорьев.

Князь повернулся к нему и ответил торопливо, с оттенком как будто некоторого удивления перед смелостью студента:

– О, конечно, конечно... Итак, что же: вы согласны остаться еще сутки в Москве? Где вы будете в это время? На тех же квартирах?

Первым ответил опять Григорьев:

– Срок моего обязательства истекает в два часа. После этого я вернусь в академию.

Мы с Вернером ответили то же, после чего откланялись и вышли.

– Нас непременно арестуют до двух часов, – уверенно сказал Григорьев. Вернер, мягкий, благодушный, доверчивый, упрекнул его: «Ты всегда не доверяешь людям».

Через два часа нас действительно всех арестовали и препроводили в Басманную часть, за Красными воротами. Везли нас на двух извозчиках, причем Григорьев приехал значительно раньше нас с Вернером. Мы застали его в канцелярии части. С своей обычной открытой манерой он опрашивал у пристава: по чьему распоряжению мы арестованы? Нельзя ли посмотреть приказ?

– Это я не вправе сделать, – ответил пристав.

– Ну, так скажите, по крайней мере, кем подписан этот приказ?

– Обер-полицмейстером.

– И только?

Пристав взглянул на бумагу, привезенную арестовавшими нас полицейскими, и, понизив голос, сказал:

– По распоряжению высочайше командированного светлейшего князя Ливена.

Помню, что это открытие доставило мне нечто вроде сознания моральной победы: «правительство» в лице Ливена унизилось до хитрости и лукавого обмана... Ливен разыгрывал перед нами роль.

Провожатые получили расписки и уехали. Нас препроводили в камеру. Пристав извинялся, что вынужден бывшим офицерам (он говорил о Григорьеве и Вернере) отвести камеру в подвальном этаже: наверху все занято. Через несколько минут мы очутились в зловонном коридоре подвального этажа Басманной части...

Из нас троих Вернер раз уже испытал прелести ареста в московских частях и, как человек бывалый, старался «приготовить нас к худшему». Но когда нас ввели в камеру с сырыми стенами и с маленьким оконцем вверху вровень с землей, то оказалось, что из нас троих он поражен больше всех. С его слов мы «приготовились к худшему», для него же самого этот подвал оказался самым худшим сюрпризом. Вдоль стены под окном были нары, на которых лежали три грязных узких тюфяка, набитых соломой. Тюфяки были покрыты толстыми простынями из мешочного холста.

Но что привело Вернера прямо в содрогание, так это одеяла из серого арестантского сукна, по которым ползли огромные участковые вши, сразу кидавшиеся в глаза на темно-сером фоне одеял. Отодвинув эти постели, мы устроились на краях нар и стали пить чай из принесенных городовым оловянных кружек.

Так мы просидели довольно долго, прислушиваясь к разнородным звукам, несшимся из соседних камер. Тут были пьяные песни, крики, ругательства... С улицы то и дело приводили пьяных. Приводимые сначала шумели и сопротивлялись. Тогда городовые принимались их бить смертным боем. В коридоре раздавались пронзительные крики, сменявшиеся вскоре тихими жалобными стонами. Тогда дверь отворялась и усмиренного кидали в какую-нибудь общую камеру. Впоследствии я много раз писал об убийствах, совершаемых повсеместно в наших участках. И каждый раз мне вспоминался этот первый вечер моего первого ареста.

Усталость этих двух дней с их волнующими впечатлениями брала свое. Глаза у нас начинали слипаться. Наконец Григорьев первый решился расправить свою «постель»; он перекрестился шутливо три раза и кинулся на свое ложе, точно в холодную воду. Я последовал его примеру. Только злополучный чистеха Вернер долго сидел на краю нар, опершись плечом о стенку, и клевал носом, не решаясь на этот героический подвиг.

Так прошла моя первая арестантская ночь.

Высылка. – Я становлюсь государственным преступником

Дня через два меня первого потребовали в канцелярию части.

Поставив столик на нары и поднявшись таким образом к окну, мы могли видеть, что делается во дворе. Я как раз смотрел в окно, когда во двор части с грохотом въехала карета, из которой вышли два жандарма. Из этого мы поняли, что означает мой вызов. Высылают. Благодаря «открытому образу действий» Ливена мы совсем не были приготовлены к этому: приходилось уезжать без денег, без белья. На мне был чужой сборный костюм и легкое пальто, а туго накрахмаленный воротничок неприятно подпирал мою шею.

Сборы не заняли много времени. Мы крепко обнялись, и через полчаса жандармы доставили меня на Ярославский вокзал. Я не рассчитывал на такую стремительность, и мне было особенно грустно уезжать, не попрощавшись с сестрой в институте.

Меня ввели в битком набитый вагон третьего класса. В самом углу, у стенки, тоже между двух жандармов, сидел человек небольшого роста, с длинной черной бородой, напоминавший мне сказочного Черномора. Мы познакомились. Господин оказался Бочкаревым, земским деятелем из кружка И.И. Петрункевича. Перед самым отходом поезда на платформе произошел некоторый шум.

Оказалось, что несколько петровских студентов, карауливших у Басманной части, попытались войти в наш вагон, но их не пустили. Я видел, как мимо окон пронеслась фигура [студента] Эдемского, в его оригинальном охабне, высокой барашковой шапке, с большой дубиной в руках. Вероятно, именно эта живописная фигура обратила внимание сыщиков. Поезд вскоре тронулся.

<...> Среди ночи я вдруг проснулся точно от толчка и долго не мог сообразить окружающих меня обстоятельств. Мне приснилась мать, и острая тоска о ней теперь сжимала мое сердце. В вагоне было накурено и душно. Волны дыма застилали тусклый свет фонаря. Напротив меня и рядом клевали носом четыре жандарма. Я наконец сообразил свое положение, и мысль о матери ясно встала в уме. Все это время я мало думал о ней. Она больна, и как-то она встретит известие о моей ссылке, если оно появится в газетах. Нервная усталость этих дней сказалась: я почувствовал, что на глаза просятся слезы... Скорей на место, чтобы написать ей что-нибудь определенное...

А пока незачем поддаваться малодушию: другие мысли сменили и вытеснили тоску. Я не раскаивался. Несмотря на исполнившиеся двадцать два года, я испытывал мальчишеское чувство гордости: в Басманной части мне объявили формально, что я высылаюсь «по высочайшему повелению» в Усть-Сысольск, Вологодской губернии...

Мне вспомнилось первое «тайное собрание» в Измайловском полку. Тогда были мобилизованы полицейские силы одной полицейской части. Теперь против меня приведен в движение аппарат самой верховной власти... <...>

Далее Владимир Галактионович описывает все свои «этапы большого пути», периодически пытаясь выяснить у «властей предержащих» и самому осмыслить собственное положение «бессудного ссыльного».

Я строил планы переустройства своей жизни, связанные с более или менее туманными планами переустройства всего общества. С этими целями я и Григорьев занялись изучением сапожного ремесла, а мой младший брат [(тоже сосланный)] завел небольшую слесарную мастерскую. Очень вероятно, что через некоторое время мы с братом кинули бы жребий, и один из нас отправился бы «в народ» – я с Григорьевым в качестве странствующих сапожников, брат – слесарным мастеровым.

Это кончилось бы тем же, чем кончались сотни подобных экскурсий, то есть сознанием, что народная жизнь настоящий океан, управлять движениями которого не так легко, как нам казалось. Для меня лично это сопровождалось бы накоплением художественных наблюдений, и, вероятно, я скоро бы понял, что у меня темперамент не активного революционера, а скорее созерцателя и художника. Одним словом, степень тогдашней моей преступности даже у нас, с точки зрения даже наших законов, оставалась самое большее в области намерений и предположений, едва ли караемых.

Я был все-таки неблагонадежен?.. Конечно. И именно в той степени, в какой был неблагонадежен в то время любой представитель среднего русского культурного общества. – «Ваше величество, – писал Лавров в своем журнале «Вперед» Александру II. – Вы ходите иногда по улицам. Если навстречу вам попадет образованный молодой человек с умным лицом и открытым взглядом, знайте: это ваш враг»... {Цитирую по памяти.} И это было очень близко к истине.

Самодержавие это чувствовало. Бороться приходилось с настроением, разлитым в воздухе, а наша власть гонялась за отдельными проявлениями и привыкла стрелять по воробьям из пушек. Самые законы она стала приспосабливать к этой пальбе. Видя, что суд все-таки не так легко подчинить временным надобностям устрашения всего общества и что он не может стать достаточно гибким орудием борьбы не с поступками, а с настроением, власти выработали более послушный механизм.

Несколькими краткими законами в порядке верховного управления был создан или значительно расширен механизм так называемого «административного порядка». Эти краткие акты верховной власти можно было бы назвать настоящими «законами о беззаконии». Они вскоре получили вдобавок самое распространенное толкование, и с ними царствование Александра II, «творца судебных уставов», вступало на путь азиатского произвола во всем, что хоть отдаленно касалось политических мотивов.

<...> Спускался мягкий ласковый вечер, когда с пристани мы подъехали на двух извозчиках к губернаторскому дому в Костроме. Нас ввели в прихожую и заставили дожидаться его превосходительства. Из окна этой прихожей была видна широкая аллея прекрасного густого сада, и на ней я увидел фигуры двух пожилых мужчин. В аллею проносили еще косые лучи солнца, и оба господина, спокойно и, по-видимому, мечтательно разговаривавшие о чем-то, по временам останавливались, смотрели кверху на белые облака, плывущие по синему небу, и опять тихо двигались по аллее. Обе фигуры были интеллигентные и приятные и напомнили мне почему-то героев Тургенева.

К ним подбежал служитель в длинном сюртуке с медными пуговицами и сказал что-то, вероятно о нас. Один из собеседников, более высокий и более полный, кивнул головой, и оба они пошли опять в глубь аллеи, не желая, по-видимому, прерывать так скоро интересного разговора и мечтательного настроения.

Через четверть часа, однако, дверь из сада открылась, и оба господина вошли в переднюю. Жандармы вытянулись, старший подал бумагу. Господин, которого я мысленно назвал Лаврецким (из «Дворянского гнезда»), небрежно взял ее, небрежно прочел и сказал с выражением равнодушия и скуки:

– Ну что ж... Везите в тюрьму...

– Господин губернатор, – выступил я. – Вы отправляете нас в тюрьму... Могу я узнать, на каком законном основании?

Собеседник пониже ростом, которого я мысленно прозвал Михалевичем, с любопытством взглянул на меня, а потом на губернатора. Но тот ответил, пожав плечами:

– На том основании, что вы высылаетесь в административном порядке и должны переночевать в тюрьме, пока мы изготовим нужные бумаги и деньги для дальнейшего пути...

– А за что мы высылаемся? Наказание не может быть без вины.

На лице его превосходительства стояло то же выражение величавой скуки.

– Административная высылка, – сказал он, – не есть наказание. Это только презервативная мера, которую правительство в тревожные времена вынуждено применять в видах общественного спокойствия и удобства... Быть может, даже вашего удобства, – прибавил он, слегка поклонившись, и удалился в комнаты.

Тот, которого я назвал Михалевичем, с любопытством посмотрел на меня и на своего приятеля. И мне показалось, что во взгляде его мелькнула улыбка.

Через четверть часа жандармы вынесли бумагу, и мы шестером отправились пешком через весь город в тюрьму.

Второй пример – уже не с недоучившимся студентом-интеллигентом, а с крестьянином. Федор Богдан в 1879 г. был сослан в Глазовский уезд Вятской губернии за «подстрекательство крестьян к подаче необоснованных жалоб». Его историю В.Г. Короленко привел также в брошюре «Падение царской власти» (М., 1917).

Ходоки. – История Федора Богдана, дошедшего до самого царя

В ясный морозный день перед рождеством я застал у себя, вернувшись от [ссылко-го] Лазарева, только что привезенного нового ссыльного. Звали его Федором Богданом. Его только что привезли из Глазова, и он еще как-то растерянно оглядывался. Поселили его по соседству, верстах в полтора. Ко мне он пришел вместе с десятским для разрешения спора: Богдана схватили на родине, не дав ему собраться, и увезли в чем он был. Теперь в бумаге, при которой он был прислан, требовали, чтобы по доставке на место у него отобрали казенные вещи для возвращения в тюремный замок. Это была явная несообразность, но десятский боялся бумаги.

К счастью, на это нашлось средство. У меня тоже была бумага и перо, и я пустил их в дело: написал «отзыв» от имени ссыльного Федора Богдана, в котором изобразил, что так как Богдана выслали летом, в чем он был, а теперь стоят лютые морозы, то он не имеет возможности исполнить требование администрации. Десятский смотрел с благоговением на это мое бумажное колдовство и, получив бумагу, спрятал ее за пазуху и уехал удовлетворенный: бумага была против бумаги. А Богдан остался.

Это был пожилой крестьянин в украинской свитке и бараньей шапке. Он усердно кланялся мне, осыпая меня благодарностями и называя добрым паном. Я объяснил ему, что я такой же ссыльный, как и он, но Богдан качал головой и говорил, что он знает людей и хорошо видит, что «я ж таки ему не ровня». Этого тона он потом держался со мной все время, упорно называя меня паном. Родом он был из Киевской губернии, Радомысльского уезда, из большого села, название которого я забыл. Попал он сюда после того, как ухитрился подать прошение крестьян в собственные руки Александра II.

Через некоторое время среди других таких же крестьян-ходоков, поселенных частью в наших починках, частью в других местах Бисеровской волости, распространилось известие о том, что в починки прислали мужика, который видел царя и подал ему прошение. Вследствие этого к нам стали являться другие ходоки для разговоров и расспросов Богдана. Кроме Федота Лазарева и Несецкого, живо интересовавшихся его рассказами, тут были еще два брата Санниковы, уроженцы той же Вятской губернии, только более южного Орловского уезда, и Кузьмин, — помнится, Рязанской или Орловской губернии. Санниковы были хорошие плотники и взяли подряд на постройку часовни в селе Афанасьевском. Теперь они нарочно пришли оттуда.

И вот в избе Гаври, тесно набитой этими заинтересованными слушателями, Федор Богдан рассказал свою историю. Это было в праздник, и вся семья Гаври тоже свесилась головами с полатей...

Вот этот рассказ.

В Радомысльском уезде, Киевской губернии, крестьяне, кажется пяти обществ, вели давнюю тяжбу с помещиком Стецким. Дело было запутанное. Богдан был прекрасный рассказчик, и некоторые эпизоды в его рассказе выходили необыкновенно картинно и ярко. Но, как это обыкновенно бывает в таких случаях, юридическая сущность тяжбы исчезала. С одной стороны, взгляды крестьян, основывающихся на стародавних преданиях стариков, с другой — формальная казуистика помещичьих адвокатов и точные статьи закона. Отсутствие нужных документов, пропущенные сроки для обжалования — этого достаточно, чтобы формальный закон бесповоротно стал на сторону помещика. А крестьяне не хотят знать таких формальностей и апеллируют к высшей правде, которую видят в царе. Впрочем, как будет видно дальше, на этот раз и формальное право не так уж бесповоротно было против крестьян.

Как бы то ни было, крестьяне пяти обществ Радомысльского уезда решили, что им необходимо послать ловких людей в столицу. Для этого выбрали неграмотного Федора Богдана и в помощь ему двух грамотеев. Очевидно, главное лицо, на которое рассчитывали крестьяне, был именно Федор Богдан. И он блестяще оправдал ожидания земляков.

Приехали ходоки в Петербург и остановились у знакомого человека: дочь местного священника была замужем за купцом, торговавшим в Гостином дворе. По письму тещи, последний радушно принял крестьянских уполномоченных и указал им сведущего «письменного» человека. Тот по записке, взятой ими с места, составил несколько прошений, которые они и рассовали в несколько инстанций: в сенат, в министерство юстиции, в земельный комитет, председателем которого был великий князь Константин Николаевич. Ни царя, ни Константина Николаевича в Петербурге они не застали и сочли, что, подав просьбы всюду, куда было возможно, они исполнили свое дело. Так по крайней мере думали грамотные товарищи...

Проходили месяцы, а результатов не было. Тогда люди стали на Богдана и его товарищей смотреть косо. Стали толковать, что они только понапрасну извели много громадских денег, «бог зна на що».

Богдан не мог перенести этих людских покровов и решил ехать вторично в столицу. На этот раз он поехал один, так как он уже знал столичные порядки. Дорогой он узнал, что царь как раз в это время приехал в Москву. Он тоже отправился в Москву, нашел там человека, который на основании материалов с места состряпал прошение и научил, как его подать.

– Завтра, говорит, будет смотр на Ходынском поле. Дорога туда через Трухмальные ворота. Стань ты неподалеку от этих ворот и держи ухо востро. Полиция зорко смотрит, чтобы кто не прорвался на дорогу. Ну, тут уж как тебе бог даст. Успеешь на дорогу выскочить и стать на колени – твое счастье.

На следующий день вышел Богдан за Триумфальные ворота. Народу – видимо-невидимо. Но пришел он рано и успел стать в первых рядах. Стоит, прошение у него за пазухой. И вот вдалеке послышались крики «ура!..» Все ближе и ближе...

Трудно описать то захватывающее внимание, с каким другие ссыльные ходоки слушали этот рассказ. Когда Богдан дошел до этого момента, – помню, – в избе Гаври воцарилась такая тишина, что можно было слышать шуршание тараканов по закоптелым стенам.

Это было как раз то, о чем мечтали все крестьяне: мужик стоял в ожидании проезда царя, источника всякого права и всякой правды. Что будет?.. Даже невозмутимые починовцы затаили дыхание.

Богдан продолжал:

– Выехал царь из Трухмальных ворот, – дорога перед ним расчищена. Все видно... И тут уже спрашивать нечего. «Мала дытына» и та узнала бы, который царь: едет один впереди, двое за ним сзади на пол-лошади. А уже за теми остальная свита. Все генералы в звездах. Кругом аж блестит. Вот как стали приближаться к тому месту, где стоял Богдан, – тот перекрестился под свиткой, растолкал солдат и полицейских и внезапно, как заяц, кинулся наперерез, на дорогу. Полицейские побежали было за ним, да куда тут, – не догнали. Упал посредине дороги на колени, прошение над головой держит. А сердце в груди так и стучит... «як подстрелена пташка»... Что будет?..

– Ну-у! – вырвалось у одного из Санниковых торопливое восклицание...

Подъехал царь к тому месту, чуть-чуть своротил коня и объехал Богдана, что-то сказав адъютанту. И вся свита, как река на ледорезе, разделилась на две струи. Едут генералы, на Богдана смотрят с любопытством, а он стоит на коленях. Только царский адъютант повернул коня, подъехал к Богдану, когда свита проехала, наклонился к коня и взял из его рук прошение. Богдан придержал немного бумагу и говорит адъютанту: «Ваше высокое превосходительство. Будьте милостивы: не поверят наши люди, что я подал царю прошение. Нельзя ли мне дать квиточек (расписку)?» Адъютант выдернул из рук конверт и говорит:

– С ума ты сошел, мужик... Не знаешь разве, кому ты подал прошение... какой тебе квиток?.. Убирайся поскорее домой, а то плохо будет.

Повернул коня и поехал за царем. А к Богдану кинулась полиция.

– Не дай бог, что тут подеялось. Полицейские «як тыгры»... Подхватили двое под руки, сзади кто-то в шею толкает, а те его до земли не допускают, несут... Какой-то полицейский офицер, низенький да толстый, так тот спереди на него насккивает, «в очи сыкает, як жаба». Сам аж плачет: сукин сын хохол, весь парад испортил. Когда вынесли его с шоссейной дороги в поле, поставили на ноги, низенький к морде кинулся, да другой, высокий, его остановил, стал спрашивать: какой человек, откуда, по какому делу. Записал все и говорит: «Ну, поезжай теперь прямо домой. Сегодня в таком-то часу идет смоленский поезд. С ним и поезжай, да смотри, чтобы и духу твоего тут не пахло. Счастлив твой бог, что дешево отделался»... И отпустили.

Пришел Богдан на постоянный двор и думает: хоть я и подал прошение царю, но квитка у меня опять нет... Опять «неймут мені люде виры». Подумал, подумал и вместо Смоленского вокзала направился на Николаевский, а на следующее утро был в Петербурге, чтобы опять подать в земельный комитет, а если удастся, то и самому великому князю. Может, дадут и квиток... В Петербурге опять остановился у попова зятя. Стал спрашивать: великого князя нет. Пошел к его дворцу. Там нашелся добрый человек, который сказал, что великого князя действительно нет, но ждут скоро. А как приедет, то непременно будет в земельном комитете.

Вот дня через два хозяин прочитал в газетах: приехал. Богдан опять заготовил прошение и пошел в земельный комитет в здание «мырвитажа» (Эрмитаж). На лестнице остановил его швейцар и спрашивает: «Что тебе, мужик, нужно?» – Так и так, говорю, нужно мне в земельный комитет. – «Ступай на самый верх», А другой тут и говорит: «Смотри, он в царские покои затешется...»

– Да я ж, – спасибо, ваше благородие, понимаю: на самый верх... – А самого «аж кортыть», как бы на царские покои посмотреть. Не дошел доверху, гляжу: дверь черной кожей покрыта и медными цвяшками (гвоздиками) утыкана. Перекрестился я, открыл тихонько. Гляжу: за тою дверью другая, до половины стеклянная. И видно одну комнату, а за ней другую. И в другой комнате каких-то два «члена» (Богдан часто употреблял это почтительное слово).

Один сидит в качалке. Другой ходит по комнате взад и вперед. Ну, думаю, что будет. Не расстреляют же меня. Выждал, как тот пойдет от двери в другую сторону, тихонько открыл, вошел и стал около стенки у порога. Пошел тот назад, обернулся, увидел меня и говорит:

– Ба! Тут мужик стоит. – Повернулся и тот, что сидел, посмотрел и поманил меня пальцем. – Что тебе, любезный, надо?.. В комитет? Так это выше, на самый верх.

– Выбачайте, – говорю, я темный человек. Не знал. – «Ну, ничего, ничего, ступай. Покажите ему». Тот вывел на лестницу, показал наверх. Я рад, – думаю: вот царские покои посмотрел и ничего мне не сделали. Только жаль, поговорил мало. Пришел в комитет, стал спрашивать, куда подать просьбу, а тут как раз забежали: великий князь приехал. Пошел через комнаты мимо меня. Я бух на колени.

Великий князь остановился и говорит ласково: «Что тебе, голубок, надо?» – С прошением от нашей громады по земельному делу. – «Давай сюда». Подал я прошение, а сам все на коленях стою. «Что же тебе еще?» – Ваше императорское высочество, – отвечаю. – Я уже подал одно прошение в комитет. Да неймут наши люде виры... Будьте милостивы, квиточек мне. – Чиновники так на меня смотрят, видно съесть хотят. А князь засмеялся, оторвал кусок бумаги и тут же на столе написал: «такого-то числа прошение от Федора Богдана принял». И подписал: Константин. Сам я неграмотный, да после люди читали.

Вышел я из комитета радый, будто меня на небо взяли. Теперь уже мне люди повесят, как увидят квиток от самого великого князя. Положил его за пазуху, иду домой. Пришел домой, гляжу: а у моего хозяина сидит какой-то барин. Увидел меня и спрашивает: «Это он самый?» – «Он самый» – отвечает хозяин. Тот и говорит: «Здравствуй, землячок». – Здравствуйте и вы, – говорю. – Разве вы тоже с нашей стороны? – «А как же, говорит, прямо оттуда и приехал, да еще письмо тебе привез. Пойдешь со мной, так я тебе и отдам». – Вот спасибо, – говорю. Отозвал я хозяина на сторону и говорю ему: – Дайте сколько-нибудь из моих грошей. Надо земляка угостить. – Дал тот денег, пошли мы. Хозяин жил, может знаете, на Садовой улице. Вывел он меня на Невский проспект, по которому в царский дворец надо идти. Улица большая...

В каком же, думаю, постоялом дворе он тут остановился? Спрашиваю, а он не отвечает, только говорит: пойдём, узнаешь. Дошли до Морской, гляжу, заворачивает мой земляк. А на Морской канцелярия градоначальника. Я уже знал. Тут я себе думаю: «Пришло на тебя, Хведоре, лихо». Стал задерживаться да оглядываться. Как тут на встречу идет городской. Тот ему мигнул. Городской повернулся и пошел за нами. Тут уже я совсем догадался, а делать нечего: иду. Бумага, что дал великий князь, так у меня за пазухой и горит: думаю, – отнимут, и опять я без квитка останусь. Дошли до ворот. Стоит пожарный в медной шапке. Мой земляк свернул в ворота и меня пальцем манит: иди, голубок, иди. А тут сзади и городской в спину поштурхивает.

В канцелярии чиновники встретили Богдана смехом: «Что, говорят, привел-таки. Это он самый?» Потом ввели в комнату, где сидели два генерала: один градоначальник Трепов, другой, надо думать, его помощник Козлов. Повернулись ко мне.

«Ты Хведор Богдан?» – Я Хведор Богдан. – «Пишет ваш губернатор, чтобы прислать тебя на родину, чтоб ты тут с прошениями не рывся. Успел подать прошение?» – Успел, – говорю. – «А куда?» – Куда было надо, говорю, туда и подал. Министру юстиции, в земельный комитет... – «А еще куда?» – Подал и великому князю Константину Николаевичу в собственные руки... – Трепов аж повернулся. «Врешь, – говорит. – Когда же ты мог подать?» – Сегодня и подал. – Тот не верит, а помощник тихо говорит ему: «Верно, сегодня великий князь был в комитете»...

У Трепова аж усы торчком встали. «Вот, каже, сукин сын хохол»... А я думаю себе: сказать или не сказать про царя? Ну, что будет. – Еще, говорю, самому царю подал. – Трепов повернулся на стуле. «Врешь, – говорит, – царя и в Петербурге нет». – Я, говорю, подал в Москве такого-то числа на Ходынском поле у Трухмальных ворот. – Помощник говорит опять: «Верно. Такого-то числа был смотр». И стал тихо говорить Трепову: «Видите, он уже всюду подал. Уедет теперь сам».

А Трепов рассердился и отвечает: «Что тут рассуждать! Пишет губернатор, чтобы выслать, так надо выслать». И Федора Богдана выслали по этапу на родину, «чтоб он в столице с прошениями не рылся».

Богдан рассказывал все это по-украински, но, как человек, уже побывавший в России, он отлично применялся к слушателям, и все его понимали. Слова начальствующих лиц он передавал почти чисто по-русски, подражая даже интонации.

Я с интересом следил за выражением мужицких лиц при этом почти волшебном рассказе о том, как простой неграмотный мужик до царя дошел. Когда он рассказал об окончании его хлопот кутузкой и этапом, один из Санниковых хлопнул себя по колену и с досадой крикнул.

– Постой, – остановил его старший брат. – Не все ведь еще.

– Чего же тебе еще? Чай, сам видишь! – возразил тот.

– Да ведь прошение-то подано?

– Ну, подано.

– В собственные руки?..

– Верно... Послушаем, что дальше-то.

Рассказ, действительно, не был кончен, но и конец был не радостен. Прислали Богдана на родину по этапу вместе с ворами и разбойниками. Но прошения все-таки были поданы. Показал Богдан громадянам квиток великого князя. Громадяне оценили его услугу, и стал он у них первым человеком. Через некоторое время приехал в их местность какой-то «член» с поручением разобрать дело и склонить стороны к миру. Так по крайней мере понимали его миссию крестьяне. Приехал он и созывает громадян в волость. Сошлись мужики. Член и объявил, что часть спорной земли должна отойти к крестьянам, часть останется за помещиком.

И это уже был большой успех, но громадяне, видя, что прошения, поданные Богданом в собственные руки, начинают действовать, зашумели, надеясь, что теперь и вся земля может отойти к ним. Чиновник и говорит: «Нельзя мне говорить зараз со всеми вами. Выберите кого-нибудь одного». Громадяне стали кричать: «Пусть говорит Хведор Богдан». Богдан вышел к чиновнику и говорит:

— Когда уж царь прислал вас с такою милостью, то доложите государю-императору: общество просит, чтобы царь отдал нам всю землю...

Чиновник посмотрел на Богдана и говорит:

— А не жирно ли это будет? Сможете ли вы платить за всю эту землю?..

— Почему же, — ответил Богдан. — Если сможет платить помещик, то заплотим и мы. Он царю человек чужой. Сегодня он тут, а завтра уедет себе за границу, — ищи его. А мы — люди царские. Никуда не уйдем. Всей громаде можно лучше поверить, чем одному человеку.

Люди услышали это и зашумели: «Правда, правда. Хорошо говорит Хведор». Чиновник осердился.

— Так ты вот как рассуждаешь. Откуда такой умный сыскался? Да ты не тот ли Богдан, что тебя по этапу из Петербурга прислали? Так я с тобой и разговаривать не хочу... Давайте мне другого. Выведите его вон!

— Незачем меня выводить. Я и сам уйду.

Богдан вышел, а за ним пошли и все. «Когда не хотите говорить с нашим выборным, то и мы уйдем». Сборню — как вымело. Остался только чиновник, да староста и сотские...

По-видимому, это было на руку сторонникам помещика: дело было представлено, как бунт, а Богдан выставлен опасным агитатором. И стали с этих пор за Богданом приглядывать. Жил он в небольшом приселке около большого села. Видно, что полиция за ним присматривает, а взять боятся: пять обществ не шутка, а Богдана добром не выдадут. Потом как будто и следить перестали.

Только раз случилась в селе богатая свадьба. Из приселка все ушли смотреть на «веселье», и домашние Богдана тоже ушли. Вдруг подкатывает к его хате земская тройка, а в ней — становой и полицейские. Вошли в избу и говорят: «Собирайся, Богдан, поедem». Богдан не идет, те стали брать силой, Богдан отбивается. И взяли бы непременно, да как раз в это время мимо приселка из церкви ехала свадьба, и некоторые из поезжан видят: в пустой улице у хаты Богдана стоит тройка и около нее полицейские. И опять подозрительные громадяне усомнились: «Эге-ге. Это ж, видно, наш Богдан уже с полицией снюхался. Продал громадянское дело». И завернули две-три повозки в улицу, к Богдановой хате. Видят: волокет полиция Богдана, а тот не дается. Рубаху на нем порвали. «Так вот оно что! Ну, поезжайте себе, откуда приехали». Посадили станового в повозку, нахлестали лошадей, — «поезжай, покуда цел». После этого люди стали зорко присматривать за Богдановой хатой, чтоб его как-нибудь не выкрали. Даже караулы выставляли. А после и опять все затихло. Так затихло, что громадяне подумали: может, отступились...

Подошла в Радомысле ярмарка, и задумал Федор сходить на ярмарку. Думает себе: на ярмарке же многолюдство, тут его взять не осмелятся. Да на свою беду пошел в такое время, когда весь народ уже провалил. На дороге пусто, народу совсем мало. И вдруг видит Богдан: скачет тройка. Нагоняет его становой и два стражника. «Стой! Тебя нам и надо. Садись, а то плохо будет». Подхватили и повезли в город. Лошади летят, как птицы. «Пожалели бы коней, — говорит Богдан, — долго ли загнать!» А пристав усмехнулся и говорит: «Знаю, что тебе нужно: чтоб ваши люди меня остановили да в шею наклали. Пошел!..» И летят дальше...

За повозкой аж пыль столбом. Люди сторонятся. Увидят, что Богдан сидит между полицейскими, ударят об полы руками, а догнать уже не могут. Привезли стороной к тюрьме да тотчас же отправили дальше в Киев – так, в чем был, когда собрался на ярмарку... А из Киева скоро погнали с этапа на этап, пока пригнали вот сюда...

– Так-то, – закончил Богдан печально. – И пошел я по тюрьмам да по этапам... Пока сидел дома, то думал, что и весь порядочный народ дома, а в тюрьмах только воры и разбихаки. А как самого стали гонять из тюрьмы в тюрьму, то показалось мне, что и весь самый лучший народ по тюрьмам сидит...

Административный порядок действовал уже вовсю. И в киевской и в других тюрьмах Богдану пришлось видеть административно высылаемых без суда и следствия... Были тут и студенты, и курсистки, были земские гласные, был даже один председатель земской управы...

И все эти люди, как и сам Богдан, не совершили никакого преступления в обычном смысле. Тогда еще террористические покушения были редкими явлениями. Эти люди виновны только в том, что хотят лучших порядков. Теперь Богдан попал на край земли. И тут опять видит людей крестьянского мира, повинных в том, что верили в царя.

Некоторое время в избе стояло подавленное молчание. Первый нарушил его, к моему удивлению, мой хозяин Гавря. Он слез с полатей, прошел через избу, стал против меня и сказал своим нервным отчетливым голосом:

– А неладно, слышь, и царь-те делает...

Это был, очевидно, вывод стороннего наблюдателя...

Трудно описать впечатление рассказа на ходоков. Братья Санниковы были высланы сюда из Орловского уезда Вятской губернии, как люди, смутившие крестьянский мир по поводу тяжбы с лесным ведомством. Их история носила, по их рассказам, совершенно фантастический характер. Их давнюю коренную землю под лесом захватил в свою пользу «министр Финлянцев».

Насколько я мог понять, это было в то время, когда удельные леса причислялись к министерству финансов. В лесах, которые крестьяне считали своими, поставили межевые знаки с буквами «М. Ф.» («Министерство Финансов»). Мужики истолковали это в том смысле, что это какой-то министр Финлянцев позарился на их леса и, – своя рука владыка, – захватил их в свою личную пользу. Мужики не соглашались поступиться своим добром, шумели, сопротивлялись. Их усмиряли. Потом, – сила соломой ломит, – мир весь смирился. «Не дали рук» только два брата Санниковы. Их и выслали сюда, в эту глушь, вдаль от семейных. Оба они были уже старики с белыми бородами. Оба были многосемейные, и жизнь в ссылке отзывалась на них очень горько. Но они были уверены, что торжество злодея Финлянцева не может быть полным, пока они, два брата Санниковы, не смирятся и «не дадут рук». А они решили не смиряться: лучше умереть за мир в неволе. И они сознательно несли на своих старых плечах тяготу своего мира.

Орловец Кузьмин оставил позади себя какую-то историю в том же роде. Это был нестарый человек, с лицом, сильно изъеденным оспой, и с странной козлиной бородкой. Лицо его напоминало немного «Анчутку беспятого» (нечто вроде русского Мефистофеля), на нем вечно бродила хитрая улыбка, и он был глубоко уверен, что их дело не может не выгореть. Они послали ловких людей, которые теперь бродят вокруг царского дворца, высматривая только случай, чтобы подать просьбу в собственные руки... А для верности, чтоб этих людей не «изымали» и не выслали по этапу, они поехали в столицу с фальшивыми паспортами... Эту историю он, с хитрой улыбкой, рассказывал мне ранее. И вот теперь Богдан рассказывает, с какими хитростями и с какими усилиями он, наконец, дошел до царя и отдал ему в собственные руки – «крестьянскую правду»... И вот результаты.

Теперь, когда я вспоминаю этот день, закопченную избу Гаври Бисерова в дальних починках, группу ходоков, слушающих рассказ Богдана, и произвольную сентенцию Гаври, осудившего далекого царя, – мне кажется, точно я присутствовал в тот день при незаметном просачивании струйки того наводнения, которое в наши дни унесло трон Романовых. В те годы ходоки тучами летели в Петербург. Это было целое бытовое явление. Они шли к царю, освободившему народ, с надеждой, что он на их стороне, что он стоит за их правду.

А от министерств и от сената они получают лишь формальные ответы: недостает документа, пропущен срок обжалования, статьи такие-то и такие-то, им чуждые и непонятные. Конечно, часто представления этого крестьянского мира были совершенно фантастичны, и самому широкому государственному строю порой приходилось бы вступать с ними в столкновения.

«Народной правде», вынесенной из глубины прошлых веков, возникшей и сложившейся при других условиях, противостоял весь уклад современной жизни, основанной на началах римского права.

Это была, конечно, трагедия, но разрешить ее можно было только пристальным вниманием к глубоким народным запросам, широким просвещением и законностью.

Народ шел к фантастическому царю, измечтанному им образу... А в распоряжении самодержавия оказался самый легкий и неголоволомный ответ: на все крестьянские дела распространено применение административного порядка. Глубокое разногласие между народными взглядами и формальным правом отдано в руки исправников и жандармов. Цари сами разрушали романтическую легенду самодержавия, созданную вековой работой народного воображения.

Это, конечно, мне видно с такой ясностью теперь... Но и тогда я уже задумывался над этим явлением и начинал сознавать его трагическую сущность.

Итак, Г.Н. Мотовилов «верою и правдою» служил, по судебной части, «царю-реформатору», который, по народному мнению, все же «неладно делал» и, в итоге, «плохо кончил» – террористы взорвали его карету, а следом и его самого на Екатерининском канале, 1 марта 1881 года...:

Я еще помнил, хотя это было в детстве, радостное оживление первых годов после освобождения крестьян, вызванное им в лучших элементах общества. Оно продолжалось в 60-х и отчасти в начале 70-х годов. Но скоро оказалось, что Александр II был гораздо ниже начатого им дела и слишком скоро изменил ему. От молодого царя, произносившего освободительные речи, – к концу семидесятых годов остался жалкий, раскаивающийся и испуганный реакционер, говоривший с высоты престола: «Домовладельцы, смотрите за своими дворниками».*

Близко видеть его мне пришлось только один раз, совершенно случайно, но этот случай произвел на меня незабываемое впечатление. Это было вскоре после русско-турецкой войны. Я шел с Верой Зосимовной Поповой, с которой мы вместе работали в «Новостях», по Загородному проспекту на Гороховую, где была типография этой газеты.

* Отвечая на поздравления после неудачного покушения А.К. Соловьева (2 апреля 1879 г. стрелял на Дворцовой площади, но промахнулся), Александр II сказал: «Нужно, чтобы домовладельцы смотрели за своими дворниками и жильцами. Вы обязаны помогать полиции и не держать подозрительных людей. Посмотрите, что у нас делается. Скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице» – «Правительственный вестник». 1879, №77

Мы оживленно разговаривали и не заметили, что на улицах от Царскосельского вокзала были близко расставлены полицейские, которые делали нам знаки. Мы их тоже заметили не сразу и дошли до середины перекрестка, когда услышали быстрый грохот и увидели открытую царскую коляску, сворачивающую с Царскосельского на Гороховую от вокзала...

В одном из седоков я легко узнал царя, но мы остановились уже тогда, когда коляска свернула совсем близко, так, что промчалась, чуть не задев нас. Я был в высоких сапогах, блузе и широкополой шляпе. Моя спутница подстригала волосы. Обе наши фигуры могли показаться типичными, и, конечно, полиция сделала промах, не остановив нас на тротуаре. Теперь нам пришлось несколько отстраниться, и я с любопытством посмотрел на царя, сняв, конечно, шляпу для поклона. Царь сделал под козырек, повернув лицо, когда коляска пронесла его мимо. Меня поразило лицо этого несчастного человека, каким его описал Гаршин в «Записках рядового Иванова».

В нем не было уже ничего, напоминавшего величавые портреты. Оно было отекавшее, изборозженное морщинами, нездоровое и... несчастное. И когда он повернул голову, чтобы особо поклониться курсистке и студенту, мне показалось в этом что-то нарочитое. Говорили, что он отзывался очень тепло о деятельности курсисток и студентов-санитаров на театре военных действий.

Многое и тогда, и впоследствии глубоко меня возмущало в поведении этого царя в трудные годы борьбы. Говорили, что в нем была фамильная жестокость Романовых. Ни разу не промелькнуло с его стороны желание смягчить суровость казней и репрессий по отношению к своим противникам.

Наоборот, он лично увеличил наказания по большому процессу [(«193-х»)], где люди и без того понесли слишком суровые кары, допустил несправедливую казнь Лизогуба, незаконное заключение Чернышевского в Вилуйске....

И все-таки из-за этих действий царя, попавшего в руки неумных и злобных сатрапов, в моей памяти вставало жалкое лицо несчастного старика... Так начать и так кончить!.. Большинство нашего пермского кружка разделяло мою рефлексию и не видело причины для особенной радости. Но были и другие чувства. Жена одного ссыльного, человек вообще недурной, выражала злобную радость при мысли об окровавленных ногах царя и об его беспомощной просьбе: «Везите во дворец... Там – умереть». (В.Г. Короленко. История моего современника)